

Николай ГУМИЛЕВ

в воспоминаниях современников

Nikolai GUMILEV
REMEMBERED BY CONTEMPORARIES

EDITOR-COMPILER, AUTHOR OF PREFACE AND COMMENTARIES — VADIM KREID

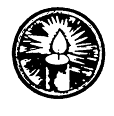
C.A.S.E. — THIRD WAVE
PARIS — NEW YORK

BLUE RIDER
DUSSELDORF

1989

Николай ГУМИЛЕВ
в воспоминаниях современников

РЕДАКТОР-СОСТАВИТЕЛЬ, АВТОР ПРЕДИСЛОВИЯ И КОММЕНТАРИЕВ – ВАДИМ КРЕЙД



ТРЕТЬЯ ВОЛНА
ПАРИЖ – НЬЮ-ЙОРК

ГОЛУБОЙ ВСАДНИК
ДЮССЕЛЬДОРФ

1989

Редактор – Александр Глезер
Художник – Виталий Длуги

ISBN: 0-9379-06-4
Library of Congress Catalog No. 87-34257

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Настоящее издание является первым сборником воспоминаний о Николае Степановиче Гумилеве. Оно готовится к печати, когда минуло сто лет со дня его рождения и шестьдесят шесть лет со времени трагической гибели, хотя было бы разумнее, полезней и справедливей, если бы подобная книга появилась, скажем, пятьюдесятью годами раньше. Цель этого издания – показать Гумилева как поэта и как живого человека, как личность в живом окружении, в общении, разговорах и ежедневной деятельности, – словом, сделать более близким для нас человека, славного своим литературным и жизненным подвигом, человека, прекрасно жившего, обогатившего русскую литературу, повлиявшего на современников и потомков, на сам процесс поэтического развития.

Читатель поступит мудро, если познакомится также и с комментариями, ибо в них содержится добавочный материал, не находимый в главной части этой книги. Мы старались включить важнейшие воспоминания и были ограничены лишь объемом и доступностью иных источников. Разумеется, мы не стали включать сюда те мемуары, которые вошли в четырехтомное собрание сочинений Гумилева или в недавно вышедшую книгу **Н.Гумилев, «Неизданное и несобранное»** *под редакцией М.Баскера и Ш.Греем.*

Тридцать очерков двадцати четырех авторов расположены здесь в хронологическом порядке, насколько это осуществимо в подобном издании. Например, в мемуарах Анны Гумилевой говорится обо всей жизни поэта, от рождения до смерти. Однако первая их личная встреча име-

ла место в 1909 году, и соответственно мы поместили ее очерк вслед за воспоминаниями Вл.Пяста, который описывает свои личные встречи с Гумилевым, начиная также с 1909 года, но несколькими месяцами раньше.

Первыми в книге идут воспоминания историка искусства и литературного критика Эриха Голлербаха, который начинает свой рассказ с гимназических лет Гумилева. И хотя Анна Гумилева в своих записках заглядывает еще в более далекое прошлое, но этот ретроспективный взгляд основан не на личной памяти, а на семейном предании. Рассказ Гумилевой непосредственен, лишен литературных претензий, интерпретации ее подчас чисто бытовые, но такой бытовой подход всегда был достоянием мемуарного жанра. Что же касается очерка Голлербаха, то он, напротив, написан литератором, причем не из числа «болельщиков» Гумилева. Голлербаху Гумилев не симпатичен, в чем-то даже смешон. Вместе с этим это воспоминания очевидца, наблюдательного и умного современника; тем-то они и важны.

Далее идут воспоминания Дмитрия Кленовского, неоднократно писавшего о Гумилеве в своих стихах. Кленовский поступил в гимназию — ту же самую, Николаевскую, царскосельскую, — когда Гумилев уже заканчивал ее. Его впечатления о поэте, только что выпустившем свой «Путь конквистадоров», остались «чисто внешними». Для более памятливого и более понятливого восприятия Кленовский был тогда еще слишком мал. Ценность его воспоминаний состоит скорее в описании окружения юного Гумилева — школы, учителей, города, быта и устоев жизни, уже давших трещину в 1905 году. Из этих тускловатых, но драгоценных всплесков памяти и состоят его мемуары.

Следующими приведены здесь страницы воспоминаний Андрея Белого. Они относятся к тому времени, когда, окончив гимназию, Гумилев уехал в Париж. Две очень краткие, но очень яркие сцены рисуют Гумилева в его повседневной жизни, его тягу к общению с «настоящими» поэтами, его первые травмы на литературном пути, основы

его характера, из которых вскоре выковалась цельная и сильная личность.

Хорошим дополнением к этим парижским воспоминаниям являются заметки забытого ныне поэта Александра Биска, опубликовавшего свои стихи в журнале «Сириус», который Гумилев на двадцать первом году своей жизни основал и издавал в Париже.

Затем мы переходим к очерку Алексея Толстого, познакомившегося с Гумилевым в начале 1908 г. Эти воспоминания, хотя и не во всем точны, в иных местах подлинно уникальны. Только из них, например, узнаем мы о попытке самоубийства. Ценно в рассказе Толстого и описание дуэли с Волошиным, причем оно увидено глазами непосредственного очевидца. Когда Толстой писал эти воспоминания, он еще не был «классиком советской литературы», жил в эмиграции и мог позволить себе роскошь свободного самовыражения. В СССР этот очерк не публиковался ни отдельно, ни в наиболее полном пятнадцатитомном собрании сочинений «советского графа».

С Сергеем Маковским Гумилев познакомился в самом начале 1909 г. Этот год в его биографии, в силу интенсивной насыщенности, может быть назван временем бури и натиска. 1909-ый год — это успех «Аполлона», сближение с Вячеславом Ивановым и Анненским, организация Академии стиха. Это приобретенная уверенность в себе как литературного критика, подготовка к печати «Жемчугов» и многое другое. Но это был также год потерь: закрылся «Остров», умер Иннокентий Анненский, закончили свое существование «Весы», которые фактически дали Гумилеву «диплом на поэта». Дуэль 22 ноября и события с ней связанные означали потерю нескольких друзей, в частности, Волошина и Дмитриевой.

Еще один очерк Маковского («Николай Гумилев по личным воспоминаниям») во многом уточняет и дополняет образ поэта. Сведения Маковского из первых рук. Он принадлежит к числу мемуаристов, писавших воспоминания на

основании многочисленных встреч, а не тех, для которых одна памятная встреча послужила основой для мемуаров.

Владимир Пяст, поэт-символист и талантливый критик, в близких отношениях с Гумилевым никогда не находился. Но с ним он встречался, в частности, в так называемой Про-академии на «башне» у Вячеслава Иванова. И если бы не рассказ Пяста, мы бы почти ничего не знали об этой Про-Академии, переросшей по инициативе Гумилева в «Общество ревнителей художественного слова».

Затем идут воспоминания Анны Гумилевой, о которых сказано было выше. И вслед за ними в данный сборник включен единственный среди наших авторов иноземный участник и свидетель русской литературной жизни серебряного века. Иоганнес фон Гюнтер, немецкий поэт и драматург, живший в Петербурге наездами, стал сотрудником «Аполлона», близко знал всю его редакцию, коротко был знаком с Гумилевым. Воспоминания эти несколько поверхностны, не во всем откровенны, но все же обладают качествами, о которых можно сказать, что само наличие таких мемуаров является их несомненным достоинством.

Георгий Адамович, поэт и литературный критик, судя по его воспоминаниям, впервые встретился в Гумилевым, еще будучи пятнадцатилетним мальчиком. Позднее он стал членом Цеха поэтов, участником ряда гумилевских начинаний. Но эта первая встреча осенью 1909 г. в кабинете Анненского осталась ему памятной на всю жизнь. Очерк Адамовича дополняет наши представления о взаимоотношениях Анненского и Гумилева и поясняет один существенный момент в поэтике Гумилева — его взгляд на адресат в стихотворении. Стихи, в соответствии с этим взглядом, могут быть обращены к людям, к самому себе или к Богу.

О дуэли Гумилева писали в своих воспоминаниях несколько авторов. Отрывок из мемуаров Волошина, противника Гумилева по дуэли, представляет особенный интерес. О взаимоотношениях, предшествующих дуэли, мы мало что

узнаем, но обстоятельства поединка описаны с деталями, не встречающимися у других авторов, хотя хронология в этих воспоминаниях в значительной степени перепутана. Для сравнения, особенно в плане хронологии, приведем здесь короткий отчет, напечатанный по свежим следам в газете «Новое время» в отделе происшествий: «22 ноября в Старой Деревне близ Петербурга, на том же месте, где недавно была дуэль между членами Г.Думы и гр. Уваровым, состоялась дуэль между литераторами — поэтами М.В. и Н.Г. Противники обменялись на расстоянии 25 шагов из гладкоствольных дуэльних пистолетов безрезультатными выстрелами. Причина дуэли — личное оскорбление. Полиция явилась на место уже после окончания дуэли. Составлен протокол».

Пресса охотно ухватилась за эту маленькую сенсацию. Заметка в «Новом времени» была из числа наиболее сдержанных. В других случаях журналисты писали не без злорадства. Известный фельетонист Вл.Азов зубоскалил в «Речи» по поводу этого злополучного конфликта: «Насчет дуэли? Превосходная вещь. В особенности зимою. Зимою какая же дуэль без коньяку и шампанского? И при том требуют самого лучшего, высших марок. Дуэли поддерживают винную торговлю... Все-таки фигурируешь в газетах: секундантами были такие-то. И при том без малейшей для себя опасности. Вообще это придает человеку известный вес».

Затем следуют воспоминания Андрея Белого, показывающие Гумилева в его отношениях с Вячеславом Ивановым. Его поэзия повлияла на Гумилева лишь кратковременно и весьма поверхностно. Однако его идеи сыграли в судьбе Гумилева роль более заметную, но как правило, негативную. Отталкиваясь от этих идей, Гумилев имел возможность с предельной отчетливостью осознать свою линию, свое направление и свою роль в русской литературе. Это же отталкивание привело Гумилева к созданию Цеха поэтов в противовес Академии стиха, где царил Вячеслав Иванов, а также и к созданию акмеизма как художественной системы, противопоставившей себя символизму, более

всего символизму именно того толка, который исповедовал и проповедовал Вяч. Иванов.

Следующие по времени воспоминания принадлежат перу художницы Веры Неведомской, соседки Гумилевых по их имению Слепнево, куда семья выезжала на лето. Знакомство с Неведомской произошло вскоре после того, как Гумилев и Ахматова вернулись из своего свадебного путешествия во Францию. Достоинство этих воспоминаний состоит в частности в том, что в них приводится пересказ пьесы Гумилева «Любовь-отравительница», неизвестной нам из других источников.

Чаще других мемуаристов писал о Гумилеве Георгий Иванов. В начале двадцатых годов он задумал о нем книгу. Замысел не осуществился. Но сведения, собранные для книги, позднее пригодились Г. Иванову для многих его воспоминаний. Он познакомился с Гумилевым в 1912 г. и стал его верным другом и последователем, впрочем, не весьма последовательным. Г. Иванов был слишком независим и исключительно талантлив, чтобы надолго оставаться чьим бы то ни было учеником. Здесь мы приведем отрывок из воспоминаний Г. Иванова, не вошедших ни в комментарии, ни в основной текст книги:

Однажды Гумилев прочел мне прокламацию, лично им написанную. Это было в кронштадтские дни. Прокламация призывала рабочих поддержать восставших матросов, говорилось в ней что-то о «Гришке Распутине» и «Гришке Зиновьеве». Написана она была довольно витиевато, но Гумилев находил, что это как раз язык «доступный рабочим массам». Я поспорил с ним немного, потом спросил: «Как же ты так свою рукопись отдашь? Хотя бы на машинке переписал. Ведь мало ли куда она может попасть».

– Не беспокойся, размножат на ротаторе, а рукопись вернут мне. У нас это дело хорошо поставлено.

Месяца через два, придя к Гумилеву, я застал его ка-

бинет весь разрытым. Бумаги навалены на полу, книги вынуты из шкафов. Он в этих грудах рукописей и книг искал чего-то. – Помнишь ту прокламацию? Рукопись мне вернули. Сунул куда-то, куда не помню. И вот не могу найти. Пустяк, конечно, но досадно. И куда я мог ее деть?

Он порылся еще, потом махнул рукой, улыбнулся. – Черт с ней! Если придут с обыском, вряд ли найдут в этом хламе. Раньше все мои черновики придется перечитать. Терпения не хватит.

«Терпения» по-видимому хватило. «Сочинял прокламации, призывавшие к свержению советской власти»...

Нашли, значит. Или может быть один из тех двух, о которых Гумилев говорил: «верю, как самому себе». И где теперь этот проклятый клочок бумаги, который в марте 1921 года держал я в руках...

Из воспоминаний Бенедикта Лившица мы можем почерпнуть подробности, касающиеся отношений Гумилева с футуристами. Гумилев сознавал себя их литературным противником, однако жизненные ситуации сталкивали его с ними не столь уж редко. Вслед за этим в нашем сборнике приводятся воспоминания Георгия Адамовича. Мы видим Гумилева в созданном им Цехе поэтов, в его отношении к поэзии Ахматовой и в отношении к Блоку, поэту и человеку. Затем следует рецензия Вл. Шкловского на «Костер» Гумилева. Написана она человеком, встречавшимся с Гумилевым лично. Отзыв Вл. Шкловского содержит несколько мемуарных штрихов, и поэтому мы посчитали уместным включить эту рецензию в книгу мемуарного характера. Такова же статья Николая Минского: строго говоря, по жанру это рецензия на вышедший в августе 1921 г. «Огненный столп». Но это такая рецензия, которая дала ее автору повод к дельным и детальным воспоминаниям.

Николай Оцуп писал о Гумилеве почти так же много,

как и Г.Иванов. О Гумилеве Оцуп писал докторскую диссертацию. Но здесь нас интересует Оцуп как мемуарист. Его знакомство с Гумилевым продолжалось с 1918 по 1921 год. Как человек на всю жизнь полюбивший поэзию Гумилева и как исследователь его творчества Оцуп был одним из наиболее осведомленных людей когда-либо писавших о Гумилеве. Его воспоминания всегда будут оставаться одной из важных частей «гумилевианы».

Знакомство Л.Страховского с Гумилевым, напротив, было кратковременным. Зато эпизод, рассказанный Страховским, — один из самых волнующих во всех биографии поэта. Относится он к маю 1918 г., когда Гумилев только что вернулся в Советский Петроград после годичного пребывания за границей. Он выступил 13 мая с чтением стихов на том же литературном утреннике, где жена Блока читала злосчастные «Двенадцать», и затем после перерыва выступил и сам Блок. Об отношениях двух крупнейших поэтов своего времени написано сравнительно много. Но, пожалуй, наиболее ярким в этой области остается очерк Ходасевича «Гумилев и Блок». Более ранний вариант этого же очерка цитируется в комментариях.

С Андреем Левинсоном, плодовитым художественным критиком и переводчиком, Гумилева объединяла работа в «Аполлоне», а позднее в издательстве «Всемирная литература». Левинсон обратил внимание на творчество поэта еще в начале 1909 г. и опубликовал в «Современном мире» содержательную рецензию на «Романтические Цветы». После гибели Гумилева был Левинсон одним из первых, кто откликнулся в печати на весть о трагедии, постигшей нашу литературу. Он писал о Гумилеве неоднократно, выступил с лекцией о нем в Сорбонне, а в 1922 году в «Современных записках», лучшем русском зарубежном журнале, опубликовал свой очерк «Гумилев», включенный в настоящее издание. А.Левинсон четко формулирует свое понимание Гумилева поэта и человека: «Мерой вещей была для него по-

эзия... Музыка сфер — прообразом стихотворной ритмики».

Затем в этой книге помещена забытая, извлеченная из старой периодики, страничка воспоминаний журналиста Петра Рысса и следом за ней — воспоминания Вс. Рождественского, правоверного советского поэта, в юности столь многим обязанного Гумилеву, но «благоразумно» отрекшегося от учителя.

Напротив, воспоминания Немировича-Данченко дают яркий портрет Гумилева и сообщают о малоизвестных фактах биографии, например, о желании бежать из советского рая через эстонскую границу.

Эти сведения дополняются заметкой С.Познера, напечатанной в «Последних новостях» через несколько дней после того, как за границей стало известно о казни поэта. Подробности ареста и сопутствующих обстоятельств читатель найдет в приведенной здесь главе из забытой книги А.Амфитеатрова «Горестные заметы» и в меньшей степени в очерке Адамовича «Памяти Гумилева». Этот очерк, заключительный в нашей книге, заканчивается очень верными словами: «Ранняя насильственная смерть дала толчок к расширению поэтической славы Гумилева... Стихи его читаются не одними литературными специалистами или поэтами: их читает рядовой читатель и приучается любить эти стихи, мужественные, умные, стройные, благородные, человечные — в лучшем смысле слова».

Издавая эту книгу, мы думаем о том, что в своих культурных начинаниях на благо свободной России эмиграция опять опережает метрополию. Несмотря на реабилитацию Гумилева, издание подобного тома в Советском Союзе все еще невозможное дело. Пятнадцать из двадцати четырех авторов, включенных в эту книгу, — эмигранты. Из числа неэмигрантов Пяст, Лившиц — умышленно забытые имена. Их книги шестьдесят лет ждут своего переиздания, в некоторых случаях — первого издания. Почти то же самое можно сказать о Волошине и Белом. Конечно, придет время и напечатают, например, запрещенные мемуары вполне

советского Алексея Толстого. Но процесс реабилитации будет полным только тогда, когда откроют страшные архивы Таганцевского дела, которое в любом случае не будет забыто, пока в России жива любовь к поэзии.

Вадим Крейд
12 июня 1987 г.

ЭРИХ ГОЛЛЕРБАХ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Н.С. ГУМИЛЕВЕ

Неисправимый романтик, бродяга-авантюрист, "конквистадор", неутомимый искатель опасностей и сильных ощущений, – таков был он.

Многие зачитываются в детстве Майн-Ридом, Жюлем Верном, Гюставом Эмаром, но почти никто не осуществляет впоследствии, в своей "взрослой" жизни, героического авантюризма, толкающего на опасные затеи, далекие экспедиции.

Он осуществил. Упрекали его в позерстве, в чудачестве. А ему просто всю жизнь было шестнадцать лет. Любовь, смерть и стихи. В шестнадцать лет мы знаем, что это прекраснее всего на свете. Потом – забываем: дела, делишки, мелочи повседневной жизни убивают романтические "фантазии". Забываем. Но он не забыл, не забывал всю жизнь.

Из-за деревьев порою не видел леса: стихи заслоняли поэзию, стихи были для него дороже поэзии. Он делал их, – мастерил.

Мои первые воспоминания о Николае Степановиче относятся к той поре, когда он был учеником Царскосельской Николаевской гимназии, а я учеником Реального училища в том же Царском Селе. Вернее, от этого времени у меня сохранились не воспоминания, а мимолетные и смутные впечатления, – лично знакомы мы тогда не были. Он уже кончал гимназию, имел вполне "взрослое" обличье, носил усики, франтил, – я же был еще малышом. Гумилев отличался от своих товарищей определенными литературными симпатиями, писал стихи, много читал. В остальном он поддерживал славные традиции лихих гимназистов – прежде всего усердно уха-

живал за барышнями. Живо представляю себе Гумилева, стоящего у подъезда Мариинской женской гимназии, откуда гурьбой выбегают в половине третьего розовощекие хохотушки, и "напевающего" своим особенным голосом: "Пойдемте в парк, погуляем, поболтаем".

После гимназии – Париж, Сорбонна. Учился он мало, больше жуировал, по собственному признанию. В Россию вернулся рафинированный эстет, настроенный до чрезвычайности "бальмонтонно".[1] Кажется, не было у него знакомой барышни, которой бы он не сообщал о своем желании "быть дерзким и смелым, из пышных гроздий венки свивать" и пр. Одна из наших общих знакомых рассказывала мне, как Н.С. вез ее куда-то на извозчике и полчаса настойчиво приглашал "быть, как солнце".

Увлечение Бальмонтом очень заметно отразилось на ранних стихах Гумилева. Позже он вполне освободился от этого влияния и Бальмонт для него стал чуть ли не синонимом дурного вкуса и пошлости, хотя больших заслуг поэта он никогда не отрицал.

На первых порах далеко не все литературные начинания Гумилева были удачны. Но он никогда не терялся, не падал духом. Это был необыкновенно самоуверенный и прямолинейный человек.

В одном из писем к *N. N.* (13 марта 1907 г., из Киева) А.А. Ахматова (тогда еще Горенко, не Гумилева) писала: "Зачем Гумилев взялся за 'Сириус'? Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчастиев наш Микола перенес и все понапрасну! Вы заметили, что сотрудники почти все так же известны и почтенны, как я? Я думаю, что нашло на Гумилева затмение от Господа. Бывает".

Выражения "известны" и "почтенны" нужно понимать здесь в ироническом смысле, так как Ахматова приобрела популярность позже Гумилева.

Неудачи и насмешки не могли смутить Н.С. – в нем самом было много иронии и к себе, и к другим, и еще больше жадного интереса к жизни. Он любил в жизни все красивое, жуткое, опасное, любил контрасты нежного и грубого, изысканного и простого. Персидские миниатюры и картины Фра Беато Анжелико нравились ему не меньше, чем охота на тигров. Если не ошибаюсь, единственное, к чему он был совершенно

равнодушен, это – музыка. Он ее не любил и не понимал, – не было "уха".

Повторяю, он влекся к страшной красоте, к пленительной опасности. Героизм казался ему вершиной духовности. Он играл со смертью так же, как играл с любовью. Пробовал топиться – не утонул. Вскрывал себе вены, чтобы истечь кровью, – и остался жив. Добровольцем пошел на войну в 1914 г., не понимая,

Как могли мы прежде жить в покое
И не ждать ни радостей, ни бед,
Не мечтать об огнезарном бое,
О рокочущей трубе побед...

Видел смерть лицом к лицу и уцелел. Шел навстречу опасности

И Святой Георгий тронул дважды
Пулею нетронутую грудь...

Одна лишь смерть казалась ему в ту пору достойной человека – смерть "под пулями во рвах спокойных".

Но смерть прошла мимо него, как миновала его и в Африке, в дебрях тропических лесов, в раскаленных просторах пустынь.

Увлекался наркотиками. Однажды попросил у меня трубку для курения опиума, потом раздобыл другую, "более удобную". Отравлялся дымом блаженного зелья. Многие смеялись над этими его "экспериментами".

Он же смеялся над современниками, благополучными обывателями. Отраду видел именно в том, что их только смешило. И закрепил это в стихах:

Я вежлив с жизнью современною,
Но между нами есть преграда,
Все, что смешит ее, надменную,
Моя единая отрада.

Затерянные, побледневшие ныне слова "победа, подвиг, слава" звучали в его душе "как громы медные, как голос Господа в пустыне".

Смеялись над ним: "ну, что нового придумал наш изысканный жираф?.." "Изысканный жираф" смотрел на нас холодно своими раскосыми, блеклыми глазами, улыбался иронически и сухо, шутил, а в душе злился,

"Как идол металлический
Среди фарфоровых игрушек".

Про него говорили: в Африке стрелял-стрелял, ни в одного носорога не попал; на войне стрелял-стрелял, ни одного немца не убил". Год тому назад стреляли в него... и попали...

Напряженно пытаюсь представить себе, как он умер, – и думаю: мужественно, с полным самообладанием. Не он ли уверял нас, что

"Людская кровь не святее
Изумрудного сока трав"?

— ......"И вот вся жизнь"...... Она кончилась для него, многокрасочная, многозвучная жизнь, почти одновременно со смертью близкого ему собрата по перу, Александра Александровича Блока, – всего на несколько недель позже. Я не сравниваю их, я только указываю на это не случайное совпадение. Блок был велик, Блок был гениален. Он был Пушкиным нашей эпохи. В нем было нечто божественное, и – не побоюсь выговорить до конца – он был полубогом, как Петрарка, Данте, Гете.

Гумилев не был ни в каком смысле велик. И не был гениален. Он был по характеру своего дарования полным антиподом Блока. Блок вещал, Гумилев придумывал, Блок творил, Гумилев изобретал, Блок был художником, артистом, Гумилев был *maitrе*'ом, мастером. Блок был больше поэтом, чем стихослагателем. Гумилев был версификатором *pur sang*, филологом *par exellence*. Будучи антиподами, полюсами одного и того же сфероида, они не могли не погибнуть почти одновременно. Ничего не значит, что между ними не было почти никакой внутренней связи: бывает связь по формальной необходимости, не менее прочная. Очень мало связи между цветком и пчелой, питающейся его соком, между кротом и солнцем. Но пчела питается соком цветка, но крот выползает по утрам из своей норы глядеть на восходящее солнце. Сладкая кровь цветка сохраняется в даре мудрых пчел. И в глазах даже мертвого крота отражается лучезарное солнце. .....

Вспоминаю, Гумилев говорил мне о Блоке: "Он лучший из людей. Не только лучший русский поэт, но и лучший из всех, кого я встречал в жизни. Джентльмен с головы до ног. Чистая, благородная душа. Но – он ничего не понимает в стихах, поверьте мне".

В этом – все, отсюда произрастают все параллели между Блоком и Гумилевым. Первый был влюблен в поэзию и, в сущности, равнодушен к стихам. Второй – наоборот. Мы не знаем, что происходит в мире тайных сил, в сфере неведомых событий. Может быть, та самая коса, которая скосила Блока, рукояткой своей ударила насмерть Гумилева: может быть, смертный час Блока – круглый, белый, как биллиардный шар, страшный и странный своей совершенной законченностью, гладким своим безличием – этот шаровидный час – этот смертельный шар, убив Блока, рикошетом убил Гумилева.

И оба знали, оба предсказали, как умрут.

Блок предсказал, что умрет у себя в постели:

"...просто в час тоски беззвездной,
В каких-то четырех стенах,
С необходимостью железной
Усну на белых простынях".

И предвидел свои похороны:

"Божья Матерь "Утоли мои печали"
Перед гробом шла, светла, тиха.
А за гробом в траурной вуали
Шла невеста, провожая жениха"...
– "Был он только литератор модный,
Только слов кощунственных творец..."

Шла за гробом Блока – жена его, шла мать. Но и невеста шла – Пречистая София-Мудрость. И если для встречных, для прохожих, "был он только литератор модный", то для нее, для Софии, это был жених. Прекрасный жених. Светлый рыцарь.

"И навстречу кланялись, крестили
Многодумный, многотрудный лоб.
А друзья и близкие пылили
На икону, на нее, на гроб"...

— "И венок случайный за венком"...

Смерть в постели. Гроб. Венки. Но прислушайтесь к другим словам, к этим уверенным, поступательным, мужественным анапестам, с перебивающимся от ликующего волнения ритмом:

"И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще,
Чтоб войти не во всем открытый,
Протестантский, прибранный рай,
А туда, где разбойник, мытарь
И блудница крикнут – вставай..."

Не было не только "врача и нотариуса", не было близких, родных... В последний, единственный час жизни – никого близкого. Вздрогнул ли он, зарыдал ли? Может быть, молча молился, вспоминая вещие свои слова:

"Я носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть"...

Вспоминается мне его голос – густой, какой-то тягучий и хмельной, прыгающий от низких баритональных нот к высоким, почти пискливым. Размерно, точно скандируя, он говорил "с чувством, толком, расстановкой": "нужно всегда идти по линии наибольшего сопротивления. Это мое правило.[2] Если приучить себя к этому, ничто не будет страшно".

Он и шел по линии наибольшего сопротивления, действуя, где нужно, локтями, наступая на ноги (говорю, конечно, метафорически). И потому имел немало недоброжелателей, почти врагов.

Возвращаюсь к личным воспоминаниям. В 1920-1921 гг. мы встречались с Н.С. многократно в Доме Литераторов, во "Всемирной Литературе". Беседовали обычно на литературные темы, о новых книгах, о критике. Однажды у нас завязался длинный разговор о Розанове, из которого выяснилось, что Н.С. не ценит, не любит и, по-моему, не понимает этого писателя. Но некоторые суждения Гумилева казались мне верными и меткими. Так об одном аккуратнейшем, механическом

человеке, проповедующем "иннормизм" и бунтарство, Гумилев сказал: "служил он в каком-то учреждении исправно и старательно, вдруг захотелось ему бунтовать; он посоветовался с Вяч. Ивановым, и тот благословил его на бунт, и вот стал К.А. бунтовать с 10-ти до 4-х, так же размеренно и безупречно, как служил в своей канцелярии. Он думает, что бунтует, а мне зевать хочется".

Гумилев не выносил критиков "семинарского" или "народнического" типа. "Знаете, – говорил он, – еще не так давно было два рода критиков; одни пили водочку, пели "*Gaudeamus igitur*" и презирали французский язык, другие читали Малларме, Метерлинка, Верлена и ненавидели первых за грязное белье и невежество. Так вот, честные народники – просто навоз, сейчас уже никому не нужный, – а из якобы "прогнивших декадентов вышла вся сегодняшняя литература".

Осенью 1920 г. мы встречались с Н.С. в "Доме Отдыха" (б. Чернова) на правом берегу Невы. Тут, наблюдая его в смешанном обществе рабочих, литераторов и "буржуазных" барышень, я удивлялся переменчивости его тона и всего поведения. С рабочими он вовсе не разговаривал, не замечал их (хотя выступал перед ними на эстраде Дома Отдыха со стихами, не имевшими большого успеха). С литературными собратьями он держался холодно, почти высокомерно, разговаривал ледяным тоном, иногда "забывал" здороваться.

С барышнями возился много и охотно, не в переносном, а в буквальном смысле: заставлял их визжать и хохотать до упаду, читал им стихи без конца, бегал с ними по саду и пр. Словом, ему было "шестнадцать лет".

Лично у меня сложились с Н.С. простые и добрые отношения, – их нельзя назвать дружбой, но мне кажется, в них была доля искренней симпатии и уважения. Оба мы были царскоселы, оба очень любили И.Ф. Анненского.[3] Политические убеждения Н.С. не были мне известны, да я ими и не интересовался. Только после смерти его я узнал, что он склонялся к монархическому строю, но говорил шутя, что непременно хотел бы иметь *императрицу*, а не императора.

В ноябре 1920 года я поместил в "Вестнике Литературы" статью о Н.С. по поводу 15-летия его литературной деятельности. Статья ему понравилась, мое замечание о его "бодлерианстве" показалось ему очень правильным. Вообще за эту статью он благодарил меня горячо и сердечно.

Спустя некоторое время я написал "портрет" Гумилева и дал ему прочесть.

Привожу эти стихи.

"Далеко, далеко на озере Чад
Изысканный бродит жираф...
"И я в родне гиппопотама..."
"Я простой индеец, задремавший
В священный вечер у ручья"...
Вижу свет на горе Фаворе
И безумно тоскую я..."

Не знаю, кто ты – набожный эстет
Или дикарь в пиджак переодетый?
Под звук органа или кастаньет
Слагаешь ты канцоны и сонеты?
Что, если вдруг, приняв Неву за Ганг,
Ты на фелуке уплывешь скользящей
Или метнешь свистящий бумеранг
В аэроплан, над городом парящий?
Тебе сродни изысканный жираф?
Гиппопотам медлительный и важный,
И в чаще трав таящийся удав,
И носорог свирепый и отважный.
Они нашли участье и приют
В твоих стихах узорных и чеканных.
И мандрагоры дышут и цветут
В созвучьях одурманенных и странных.
Но в голосе зловещем и хмельном,
В буддоподобных очертаньях лика
Сокрытая тоска о неземном
Глядит на нас растерянно и дико.
И как порыв к иному бытию,
Как зов нетленный в темном мире тленья,
Сияют в экзотическом раю
Анжелико безгрешные виденья.
И перед ними ниц склонясь, поэт
На каменном полу кладет поклоны,
Сливая серых глаз холодный свет
С коричневатым сумраком иконы.

"Портрет, портрет, и очень похожий портрет", – воскликнул Н.С., прочитав эти стихи: "Вы, вероятно, заметили во мне сочетание экзотики и православия"...

Словом, у Н.С. не было причин быть мною недовольным. Но вот случился казус, сразу омрачивший наши отношения.

Я напечатал рецензию о сборнике "Дракон", в которой не очень почтительно обошелся с произведениями Гумилева. Иронический тон рецензии подействовал на Н.С., как личное оскорбление. Он высказал мне свое неудовольствие в довольно резких выражениях. Так как разговор наш произошел при свидетелях (в столовой Дома литераторов) и вскоре по Петербургу начали циркулировать "свободные композиции" на тему этого разговора, то я, по совету некоторых литературных друзей, обратился к суду чести при Петербургском Отделении Всероссийского Союза Писателей с просьбой рассмотреть происшедшее столкновение, которое представляло не только личный, но и принципиально-этический интерес. Помню, что Н.С. заявил мне, что рецензия "гнусная", что я задел в ней г-жу Ирину Одоевцеву (по совести, рецензия была написана без всякой задней мысли), что я "не джентльмен". "Уверяю вас, – сказал Н.С., – что отныне ваша литературная карьера окончена, потому что я буду вам всюду вредить и во всех издательствах, где вы работаете, буду настаивать на том, чтобы вас не печатали, – во всяком случае, вместе со мной". Вскоре Н.С. действительно обратился к ныне покойному А.Е. Кауфману, редактору "Вестника Литературы", с таким требованием, но не встретил сочувствия, и стихи его появились в № 4-5 "Вестника" вместе с моей статьей (памяти А.А. Измайлова).

Н.С. сначала отказался явиться на суд чести, но потом его уговорили А.Л. Волынский и др. Этот суд чести, состоявший из А.Ф. Кони (председ.), В.П. Миролюбова, А.М. Ремизова и Вл. Каронина (Комарова) вынес резолюцию, как и полагается суду чести, двойственную и потому безобидную. Моя статья была признана действительно резкой и способной возбудить неудовольствие Гумилева, но было также признано, что она не давала Гумилеву основания употреблять при объяснении со мной обидные выражения. Кажется, Н.С. остался очень доволен приговором: при встрече со мной (мы после этого события "раззнакомились") он улыбался победоносно и насмешливо.

Летом 1921 года я потерял Гумилева из виду, а в августе на похоронах Блока узнал, что он арестован. Приблизительно в это же время я написал для "Жизни Искусства" рецензию о новой книжке стихов Гумилева "Шатер", и опять ироническую ("Путеводитель по Африке"). На этот раз было не до

шуток. Я справился в редакции об этой рецензии, и узнав, что она, по-видимому, пойти не может, успокоился. В конце августа, к великой досаде моей, рецензия о "Шатре" откуда-то выплыла и появилась в "Жизни Искусства".

В тот же самый день, когда она была напечатана, я обратил внимание на необычно большие скопления людей перед расклеенными на улице газетами. Подошел, взглянул в "Правду" и весь похолодел: Н.С. расстрелян...

ДМИТРИЙ КЛЕНОВСКИЙ

ПОЭТЫ ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ ГИМНАЗИИ

В "Городе Муз" – Царском Селе – долго, до самой революции, существовали бок-о-бок два совершенно несхожих мира. Один из них – торжественный мир пышных дворцов и огромных парков с прудами, лебедями, статуями, павильонами, мир, в котором, вопреки всякому здравому художественному смыслу, так гармонично уживались рядом классические колоннады, турецкие минареты и китайские пагоды. И второй мир (тут же, за углом!) – мир пыльного летом и заснеженного зимой полупровинциального гарнизонного городка с одноэтажными деревянными домиками за резными палисадниками, с марширующими в баню с вениками подмышкой гусарами в пешем строю, с белым собором на пустынной площади и со столь же пустынным гостиным двором, где единственная в городе книжная лавка Митрофанова торговала в сущности только раз в году – в августе, в день открытия местных учебных заведений. Эти два мира очень ладно уживались рядом, причем второй, старея, понемногу "врастал" в первый. И когда высокая белая гусарская лошадь, по старости лет "переведенная" из гвардии в извозчичьи оглобли, с неожиданной резвостью тряхнув стариной, лихо подкатывала к чугунным воротам парка – прыжок на столетье назад был как-то совершенно незаметен, как незаметно было потом возвращение в обыденность провинциальной (несмотря на близость столицы) современности.

Я не знаю, что сохранилось сейчас, после войны от Царского Села. Говорят, многое разрушено. Но если что и сохранилось, то границу между "старым" и "новым" было бы, вероятно, еще труднее провести, чем прежде. Ведь из "нового" за полустолетие многое стало "старым", не только внешне приобрело аромат старины, но превратилось исподволь в исторический памятник, реликвию, элизиум теней... Таково, напри-

мер, то неказистое казенное здание "Императорской Николаевской Царскосельской Гимназии", что высилось на углу не помню уже каких двух улиц. Архитектурной достопримечательности оно никак не представляло. Но через его классы, коридоры и кабинеты прошли такие замечательные люди нашего недавнего литературного прошлого, что, очутись я сейчас в Царском Селе, с таким же трепетом подошел бы к нему, с каким подходил когда-то к зданию пушкинского лицея.

***

Я был в младших классах Царскосельской Гимназии, когда Иннокентий Анненский заканчивал там свое директорское поприще, окончательно разваливая вверенное его попечению учебное заведение. В грязных классах, за изрезанными партами галдели и безобразничали усатые лодыри, ухитрявшиеся просидеть в каждом классе по два года, а то и больше. Учителя были под стать своим питомцам. Пьяненьким приходил в класс и уютно подхрапывал на кафедре отец дьякон. Хохлатой больной птицей хмурился из-под нависших седых бровей полусумасшедший учитель математики, Марьян Генрихович. Сам Анненский появлялся в коридорах раза два,три в неделю, не чаще, возвращаясь в свою директорскую квартиру с урока в выпускном классе, последнем доучивавшем отмененный уже о ту пору в классических гимназиях греческий язык.

Он выступал медленно и торжественно, с портфелем и греческими фолиантами подмышкой, никого не замечая, вдохновенно откинув голову, заложив правую руку за борт форменного сюртука. Мне он напоминал тогда Козьму Пруткова с того известного "портрета", каким обычно открывался томик его произведений. Анненский был окружен плотной, двигавшейся вместе с ним толпой гимназистов, любивших его за то, что с ним можно было совершенно не считаться. Стоял несусветный галдеж. Анненский не шел, а шествовал, медленно, с олимпийским спокойствием, с отсутствующим взглядом. Может быть, в эти минуты он слагал заключительные строки к своему знаменитому сонету:

"...Как серафим у Ботичелли,
Склонивший локон золотой
На гриф умолкшей виолончели".

Так или иначе, но среди смертных Анненского в те минуты не было. В стенах Царскосельской Гимназии находилась толь-

ко его официальная, облеченная в форменный сюртук, оболочка.

***

Стояла революционная зима 1905 года. Залетела революция и в стены Царскосельской Гимназии, залетела наивно и простодушно. Заперли в классе, забаррикадировав снаружи дверь циклопическими казенными шкафами, хорошенькую белокурую учительницу французского языка. То там, то тут на уроках лопались с треском электрические лампочки, специально приносимые из дому для этой цели. Девятым валом гимназического мятежа была "химическая обструкция" (так это тогда называлось): в коридорах стоял сизый туман и нестерпимо пахло серой. Появился Анненский, заложивший себе почему-то за высокий крахмальный воротничок белоснежный носовой платок. Впервые он выглядел озадаченным. Как и обычно, был окружен воющей, но очень мирно и дружелюбно к нему настроенной, гимназической толпой.

В этот день учеников распустили по домам. Гимназию на неопределенное время закрыли.

Когда, уже осенью, гимназия опять открыла свои двери, вернувшиеся в свою *alma mater* ученики были ошарашены ожидавшими их переменами. Коридоры и классы были чисто выбелены и увешаны географическими картами, гербариями, коллекциями бабочек. В застекленных шкафах ласкали взор чучела фазанов и хорьков, раскрашенные гипсовые головы зулусов и малайцев. В классах стояли новенькие светлые парты и озонирующие воздух елочки в вазонах. Полусумасшедший Мариан Генрихович, невоздержанный отец дьякон и слишком соблазнительная француженка – бесследно исчезли. Исчезли и усатые второгодники. Но не было больше и Анненского. Великая реформа явилась делом рук нового директора, Якова Георгиевича Моора, маленького, сухонького, строгого, но умного и толкового старика. Он привел с собою плеяду молодых, способных учителей, навел чистоту, порядок. Гимназия приняла благообразный вид.

Моор, фазаньи чучела, головы краснокожих, елочки в вазонах – все это произвело на молодые души потрясающее впечатление. Все приумолкли, присмирели, стали прилежнее учиться. Моор проходил по коридорам деловитым шагом, опустив голову, внимательно глядя себе под ноги. Гимназисты, стоя рядком у стен, почтительно расшаркивались. Если кто при-

ходил в гимназию в неряшливом виде, Моор подзывал его к кафедре и, подняв палец, стыдил перед всем классом, повышая на каждом слове свой тоненький голосок: "И это есть ученик Императорской Николаевской Царской Гимназии!!"

Его не любили, но боялись и слушались. Гимназия стала на хорошем счету. Появились в ней сыновья графа Гудовича, лейб-медика Боткина, свитских генералов.

Казалось, "подметено" было в стенах Царскосельской Гимназии так, что и пушинки прошлого не осталось. Но, – странное дело, – ни Моор, ни педагоги, ни штукатурщики, ни озонирующие воздух елочки не выветрили из этих стен духа той высокой поэзии, которая в них переночевала.

Ведь Иннокентий Анненский был не единственным поэтом Царскосельской Гимназии! В годы его директорства в ней учился Николай Гумилев, закончивший гимназию одновременно с уходом из нее Анненского и быстро завоевывавший себе в Петербурге литературную известность.

Хотя я уже писал в то время стихи и зачитывался поэтами, но Гумилевым едва ли бы заинтересовался. Помог случай.

Появилась у нас однажды в семье новая горничная, Зина, хорошенькая черноглазая девушка. О такой, примерно, как она, сказал в свое время Ходасевич:

"Высоких слов она не знает,
Но грудь бела и высока".

Перед тем, как поступить к нам, Зина служила у Гумилевых. И вот однажды, вся зардевшись, показала мне она свое сокровище: тщательно завернутую в бумагу книжечку. Это был "Путь конквистадоров" Гумилева с авторской надписью поэта – первый сборник его еще слабых, полудетских стихов. Книга все же очаровала меня, уже одним своим существованием. Еще гимназист, а напечатал книгу! Это подбадривало меня в моем собственном творчестве.

Думаю, что втайне Зина была влюблена в своего прежнего "молодого барина"... Книжечкой его и надписью на ней она гордилась явно. Может быть, никогда ничего гумилевского она больше и не прочла, но в те дни "высокое слово" коснулось ее немудреной девичьей души.

Я стал присматриваться к Гумилеву в гимназии. Но с опаской – ведь он был старше меня на 6 или 7 классов! Поэтому и не разглядел его, как следует... А если что и запомнил, так чисто внешнее. Помню, что был он всегда особенно чисто, даже франтовато, одет. В гимназическом журнальчике была на него карикатура: стоял он, прихорашиваясь, перед зеркалом, затянутый в мундирчик, в брюках со штрипками, в лакированных ботинках. Любил он быть на гимназических балах, энергично ухаживал за гимназистками. Но разве это важно? Важно то, что он сам, лучше всех других, рассказал о своих гимназических годах в единственном посвященном им стихотворении, рассказал о своих встречах с Анненским в его директорском кабинете:

”Я помню дни: я, робкий, торопливый,
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый,
Слегка седеющий поэт.

О, в сумрак отступающие вещи
И еле слышные духи,
И этот голос, нежный и зловещий,
Уже читающий стихи.

В них плакала какая-то обида,
Звенела медь и шла гроза.
А там, над шкафом, профиль Эврипида
Слепил горящие глаза”.

Здесь, в этом строгом кабинете, который почему-то представляется мне всегда каким-то огромным кипарисовым ларцом, происходили встречи мастера и ученика. И невольно думается: не так уж важно, пожалуй, что Анненский не справился со своими директорскими обязанностями по отношению к своим тремстам гимназистам; важно, что он исполнил свой высокий поэтический долг по отношению к одному из них. Да и не к одному только. Мне рассказывали, что когда на педагогическом совете гимназии стоял вопрос об исключении одного ученика за неуспеваемость, Анненский, выслушав доводы в пользу этой строгой меры, сказал:

– Да, да, господа! Все это верно! Но ведь он пишет стихи!

И юный поэт был спасен.

***

Шли годы. Не было уже ни Анненского, ни Гумилева в стенах Царскосельской Гимназии, но занесенный ими туда дух поэзии все еще их не покидал.

Давно был обезличен до неузнаваемости директорский кабинет Анненского, давно сгорели в гимназической топке изрезанные гумилевским ножом парты, но еще до самого октябрьского переворота сохранила Царскосельская Гимназия свои высокие поэтические традиции.

Сколько молодых поэтов росло под неодобрительным взглядом сугубо прозаического Моора! Конечно, с ним никто о стихах не советовался! Но музы, обходя его, еще долго бродили, "не понимая, что все это значит" (Гумилев), по классам и коридорам. Скрепя сердце, разрешил Моор художественные вечера, на которых ученики, кроме своих, непременно читали стихи Анненского. Издавался свой литературный журнальчик. Многие юные поэты подражали Гумилеву, но были и самостоятельные таланты.

Вспоминается мне Коковцев, способный, своеобразный поэт. И в жизни он был своеобразен. Когда на Страстной ученики говели в круглой гимназической церкви, Коковцев, большеголовый, с характерными, какими-то средневековыми чертами лица, становился впереди всех, истово крестился, долго, никого не замечая, молился, а время от времени падал ниц, касаясь лбом земли, и лежал так долго-долго. В этом не было рисовки, религиозность не была тогда в моде. Коковцева звало средневековье. Едва кончив гимназию, студентом, уехал он в Германию, бродил по старым ее городам, вдыхал готику. Вернулся он с книгой стихов "Скрипка ведьмы". Вскоре жизнь его трагически оборвалась: он умер от холеры.

Чуть ли не в каждом классе было одно время по Оцупу. Не помню точно, сколько их было, но что-то очень уж много. Из них двое, если не ошибаюсь, вышли на широкую литературную дорогу.

Был еще Всеволод Рождественский, хорошенький, большеглазый мальчик. Он посвятил впоследствии много задушевных стихов Царскому Селу. Рождественский опоздал к Ин. Анненскому лет на десять, вероятно даже вообще никогда его

в глаза не видал, но с нежностью называл его "мой директор". В стихах о Городе Муз Рождественский не злоупотреблял обычной бутафорией, не тревожил тени Камерона и Монферана и больше писал о том втором, провинциально-интимном мире Царского Села, где:

...каждый дом сутулится,
Как в сказке братьев Гримм . .

Где перед этими домиками зимою:

Дорожки воробьиные
Пересекают двор.

А если подойти к окну и заглянуть в него, то видно, как :

У Фаусек, у Ждановых
На нотную тетрадь
Склонен пробор каштановый,
А в кресле дремлет мать .

Для всех, кто знает Город Муз, царскосельские стихи Всев. Рождественского – источник светлой радости.

А сколько еще разных "мелких" поэтов росло в стенах Царскосельской Гимназии! Повернись иначе колесо истории, возможно иные из них выросли бы по-настоящему. Многих раздавила война, революция, социальный заказ. Интересные стихи писал Пунин, сын гимназического врача. Подавал надежды Влад. Ястребов, сын профессора; он ушел добровольцем на фронт и там погиб. Всех не перечесть! Многие имена выпали из памяти, многие подробности забыты...

***

После захвата власти большевиками поэтические традиции выветрились из стен Царскосельской гимназии. Не было там больше для них почвы... Сам Город Муз некоторое время прозябал под нелепым названием Детского Села, затем стал Пушкиным. Но одно только это славное имя можно "там" открыто упоминать из всех имен царскосельских поэтов. Имена трех других больших поэтов Города Муз – Анненского, Гумилева, Анны Ахматовой (связанной с Царским Селом и жизнью своей, и творчеством) – в стране Советов в той или иной степени под запретом.

Город Муз не только перестал быть колыбелью поэтов, его пытаются разрушить и как их некрополь. Но для всех, кому дорога русская поэзия, он сохранит навсегда это свое певучее имя. В послевоенных своих развалинах, в духовной своей нищете, унижении, стыде – он остался для нас городом не одного, но четырех поэтов, городом Высокого Слова, бессмертных строк, немолчно поющих книг.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

НА ЭКРАНЕ ГУМИЛЕВ

Однажды сидели за чаем; я, Гиппиус; резкий звонок; я – в переднюю – двери открыть: бледный юноша, с глазами гуся, рот полуоткрыв, вздернув носик, в цилиндре – шарк – в дверь.

– Вам кого?
– Вы... – дрожал с перепугу он, – Белый?
– Да!
– Вас, – он глазами тусклил, – я узнал.
– Вам – к кому?
– К Мережковскому, – с гордостью бросил он: с вызовом даже.

Явилась тут Гиппиус; стащив цилиндр, он отчетливо шаркнул; и тускло, немного гнусаво, сказал:

– Гумилев.
– А – вам что?
– Я... – он мямлил. – Меня... Мне письмо... Дал вам, – он спотыкался; и с силою вытолкнул: – Брюсов.

Цилиндр, зажимаемый черной перчаткой под бритым его подбородком, дрожал от волнения:

– Что вы?
– Поэт из "Весов".

Это вышло совсем не умно.

– Боря, – слышали?

Тут я замялся; признаться, – не слышал; поздней оказалось, что Брюсов стихи его принял и с ним в переписку вступил уже после того, как Москву я покинул; "шлеп", "шлеп" – шарки туфель: влетел Мережковский в переднюю, выпучась:

– Вы не по адресу... Мы тут стихами не интересуемся... Дело пустое – стихи.

– Почему? – с твердой тупостью непонимания выпалил юноша: в грязь не ударил. – Ведь великолепно у вас самих сказано! – И ударяясь в азарт, процитировал строчки, которые Мережковскому того времени – фига под нос; этот дерзкий, безусый, безбрадый малец начинал занимать:

– Вы напрасно: возможности есть и у вас, – он старался: попал-таки!

Гиппиус бросила:

– Сами-то вы о чем пишете? Ну? О козлах, что ли?

Мог бы ответить ей:

– О попугаях!

Дразнила беднягу, который преглупо стоял перед нею; впервые попавши в "Весы", шел от чистого сердца – к поэтам же; в стриженной бобриком узкой головке, в волосиках русых, бесцветных, в едва шепелявящем голосе кто бы узнал скоро крупного мастера, опытного педагога? Тут Гиппиус, взглядом меня приглашая потешиться "козлищем", посланным ей, показала лорнеткой на дверь:

– Уж идите.

Супруг ее, охнув, – "к чему это, Зина" – пустился отшлепывать туфлями в свой кабинет.

Николаю Степановичу, вероятно, запомнился вечер тот; все же, – он поводы подал к насмешке; ну, как это можно, усевшися сонным таким судаком, – равнодушно и мерно патетикой жарить; казался неискренним – от простодушия; каюсь, и я в издевательства Гиппиус внес свою лепту: ну, как не смеяться, когда он цитировал – мерно и важно:

– Уж бездна оскалилась пастью.

Сидел на диванчике, сжавши руками цилиндр, точно палка прямой, глядя в стену и соображая: смеются над ним или нет; вдруг он, сообразив, подтянулся: цилиндр церемонно прижав, суховато простился; и – вышел, запомнив в годах эту встречу.

***

До болезни своей я работал над "Кубком метелей"; без пыла доламывал фабулу парадоксальною формою; Блок мне предстал; я, охваченный добрым порывом, ему написал, полагая: он сердцем на сердце – откликнется.

Он же – молчал.

Уже с Мюнхена я наблюдал: психология оплотневала во мне в физиологию; огненное "домино", потухая, как уголь завеялось в серые пеплы, став недомоганием, сопровождавшим меня, ощущение твердого тела давило физически в определенных частях организма; однажды, проснувшись, я понял, что болен: едва сошел к завтраку.

Вечером с кряхтом пошел я за Гиппиус: ехать с ней вместе в театр "Антуан"; но не будучи в силах сидеть, из театра пополз, убоявшись взять фьякр, потому что сидеть было больно мне; утром же стало значительно хуже; но доктор сказал, что пустяк, что придется дней пять пострадать: до прокола; он, дав невозможный в условиях жизни отеля режим, удалился; решил быть стоическим, перемогая страдания, которые пухли от пухнущей опухоли: ни сидеть, ни лежать; и – поползав, повис между кресел, ногой опираясь на ногу; я спал на карачках, в подушку вонзаясь зубами. Как бред: Мережковские, два анархиста, Д.В. Философов ввалились ко мне; дебатировать вместе: Христос, или... бомба? Я, перемогая себя, кипятил воду к чаю и производил ряд движений, уже для меня невозможных; а ночью подушкой душил вырывающийся крик.

В канун нового года висел между кресел, вперясь в синий сумерок, черный вошел силуэт.

– Смерть!
Он сунул тетрадку: из синего сумрака:
– Это – стихи мои.

Я же, не в силах ему объяснить, что страдаю, просил его выйти движением руки.

Не везло с Гумилевым!

АЛЕКСАНДР БИСК

РУССКИЙ ПАРИЖ, 1906-1908 гг.

Не мудрствуя лукаво...

Настоящие записки представляют собой "малую историю". Когда подумаешь, сколько труда кладут исследователи, чтобы обнаружить новые материалы о жизни какого-нибудь третьестепенного поэта пушкинского времени, какие архивы приходится разворачивать, то поневоле решаешь, что самые незначительные факты из эпохи Серебряного Века нельзя отбросить, а нужно как-то сохранить для будущих поколений.

Если хочешь говорить только о том, чему свидетелем пришлось быть, – личность автора таких воспоминаний поневоле становится в центре событий, приходится упоминать о себе чаще, чем это "полагается".

Ничего сенсационного я не обещаю. Тем не менее, эпизоды из повседневной жизни, отрывки разговоров, короче: несколько анекдотов и сплетен – это долг "зажившегося" тем, кто ушел раньше меня.

***

...1906-й и следующие годы были эпохой похмелья после вспышки 1905 года, но в Париже еще царило революционное настроение. Минский читал на русских вечерах стихотворение, которое начиналось: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь". Я был совершенно вне политики, но, в виду того, что моя сестра была эсэркой, я читал сочиненное мной бравурное стихотворение "В борьбе обретаешь ты право свое".

Но были и другие вечера, более консервативные. На одном

из них одна высокопоставленная дама читала "стихи поэта Гумилева", где, помню, рифмовались "кольца" и "колокольца". Гумилев только недавно начал писать. Я читал там свои "Парижские Сонеты", и Гумилеву особенно понравились последние строчки одного из них:

Лютеция молчала, как и ныне,
И факелы чудовищные жгла.

Он пригласил меня участвовать в журнальчике, который он издавал.[1]

Он успел уже побывать в Африке, и спросил меня, люблю ли я путешествовать. Я ответил, что люблю, но для Африки у меня нет достаточно денег, на что Гумилев ответил: у меня тоже нет денег, а я вот путешествую.

Очень скоро я с Гумилевым рассорился из-за того, что он не прислал мне номера журнала, где были помещены мои стихи.[2]

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

Н.ГУМИЛЕВ

...Они шли мимо меня, все в белом, с покрытыми головами. Они медленно двигались по лазоревому полю. Я глядел на них – мне было покойно, я думал: "Так вот она, смерть". Потом я стал думать: "А может быть, это лишь последняя секунда моей жизни? Белые пройдут, лазоревое поле померкнет"... Я стал ждать этого угасания, но оно не наступало, – белые все так же плыли мимо глаз. Мне стало тревожно. Я сделал усилие, чтобы пошевелиться, и услышал стон. Белые поднимались и плыли теперь страшно высоко. Я начал понимать, что лежу навзничь и гляжу на облака. Сознание медленно возвращалось ко мне, была слабость и тошнота. С трудом наконец я приподнялся и оглянулся. Я увидел, что сижу в траве на верху крепостного рва в Булонском лесу. Рядом валялся воротник и галстук. Все вокруг – деревья, мансардные крыши, асфальтовые дороги, небо, облака – казались мне жесткими, пыльными, тошнотворными. Опираясь о землю, чтобы подняться совсем, я ощупал маленький, с широким горлышком пузырек, – он был раскрыт и пуст. В нем, вот уже год, я носил большой кусок цианистого калия, величиной с половину сахарного куска. Я начал вспоминать, как пришел сюда, как снял воротник и высыпал из пузырька на ладонь яд. Я знал, что, как только брошу его с ладони в рот, – мгновенно настанет неизвестное. Я бросил его в рот и прижал ладонь изо всей силы ко рту. Я помню шершавый вкус яда.

Вы спрашиваете, – зачем я хотел умереть? Я жил один, в гостинице, – привязалась мысль о смерти. Страх смерти мне был неприятен... Кроме того, здесь была одна девушка...

***

Мы сидели за столиком кафе, под каштанами, летом 908 года.[1] Гумилев рассказывал мне эту историю глуховатым, медлительным голосом. Он, как всегда, сидел прямо – длинный, деревянный, с большим носом, с надвинутым на глаза котелком. Длинные пальцы его рук лежали на набалдашнике трости. В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность, неповоротливость. Только рот у него был совсем мальчишеский, с нежной и ласковой улыбкой.

В этом кафе под каштанами мы познакомились и часто сходились и разговаривали – о стихах, о будущей нашей славе, о путешествиях в тропические страны, об обезьянках, о розысках остатков Атлантиды на островах близ южного полюса, о том, как было бы хорошо достать парусный корабль и плавать на нем под черным флагом...

Обо всех этих заманчивых вещах рассказывал мне Гумилев глуховатым голосом, сидя прямо, опираясь на трость. Лето было прелестное в Париже. Часто проходили дожди, и в лужах на асфальтовой площади отражались мансарды, деревья, прохожие и облака, – точно паруса кораблей, о которых мне рассказывал Гумилев.

***

Так я никогда и не узнал, из-за чего он тогда хотел умереть. Теперь окидываю взором его жизнь. Смерть всегда была вблизи него, думаю, что его возбуждала эта близость. Он был мужественен и упрям. В нем был постоянный налет печали и важности. Он был мечтателен и отважен – капитан призрачного корабля с облачными парусами. В нем соединялись мальчишество и воспитанность молодого человека, кончившего с медалью царскосельскую гимназию,[2] и бродячий дух, и непреклонный фанатизм будущего создателя Цеха поэтов. В следующем году мы снова встретились с Гумилевым в Петербурге и задумали издавать стихотворный журнал. Разумеется, он был назван "Остров"[3] Один инженер, любитель стихов, дал нам 200 рублей на издание. Бакст нарисовал обложку. Первый номер разошелся в количестве тридцати экземпляров. Второй – не хватило денег выкупить из типографии. Гумилев держался мужественно. Какими-то, до сих пор непостигаемыми для меня путями он уговорил директора Малого театра Глаголина отдать ему редакторство театральной афишки. Немедленно афишка

была превращена в еженедельный стихотворный журнал[4] и печаталась на верже. После выхода третьего номера Глаголину намылили голову, Гумилев получил отказ, но и на этот раз не упал духом. Он все так же – в узкой шубе со скунсовым воротником, в надвинутом на брови цилиндре – появлялся у меня на квартирке, и мы обсуждали дальнейшие планы завоевания русской литературы.

Часто в эту весну и я бывал у него в Царском, в его радушной, устоявшейся, хорошей, чиновничьей семье. В то время в Гумилева по-настоящему верил только его младший брат-гимназист[5] пятого класса, да может быть, говорящий попугай в большой клетке в столовой. К тому же времени относится и ручная белая мышь, которую Гумилев носил в кармане или в рукаве.

***

Летом этого года Гумилев приехал на взморье, близ Феодосии, в Коктебель. Мне кажется, что его влекла туда встреча с Д.[6], молодой девушкой, судьба которой впоследствии была так необычайна. С первых же дней Гумилев понял, что приехал напрасно: у Д. началась как раз в это время ее удивительная и короткая полоса жизни, сделавшая из нее одну из самых фантастических и печальных фигур в русской литературе.

Помню, – в теплую, звездную ночь я вышел на открытую веранду волошинского дома, у самого берега моря. В темноте, на полу, на ковре лежала Д. и в полголоса читала стихотворение. Мне запомнилась одна строчка, которую через два месяца я услышал совсем в иной оправе стихов, окруженных фантастикой и тайной.

Гумилев с иронией встретил любовную неудачу: в продолжении недели он занимался ловлей тарантулов. Его карманы были набиты пауками, посаженными в спичечные коробки. Он устраивал бои тарантулов. К нему было страшно подойти. Затем он заперся у себя в чердачной комнате дачи и написал замечательную, столь прославленную впоследствии поэму "Капитаны".[7] После этого он выпустил пауков и уехал.

***

Литературная осень 909 года началась шумно и занимательно. Открылся "Аполлон" с выставками и вечерами поэзии.

Замкнутые чтения о стихосложении, начатые весною на ”башне” у В.Иванова, были перенесены в ”Аполлон” и превращены в Академию Стиха. Появился Иннокентий Анненский, высокий, в красном жилете, прямой старик с головой Дон Кихота, с трудными и необыкновенными стихами и всевозможными чудачествами. Играл Скрябин. Из Москвы приезжал Белый с теорией поэтики в тысячу страниц. В пряной, изысканной и приподнятой атмосфере ”Аполлона” возникла поэтесса Черубина де Габриак. Ее никто не видел, лишь знали ее нежный и певучий голос по телефону. Ей посылали корректуры с золотым обрезом и корзины роз. Ее превосходные и волнующие стихи были смесью лжи, печали и чувственности. Я уже говорил, как случайно, по одной строчке, проник в эту тайну, и я утверждаю, что Черубина де Габриак действительно существовала, – ее земному бытию было три месяца. Те, – мужчина и женщина, между которыми она возникла, не сочиняли сами стихов, но записывали их под ее диктовку; постепенно начались признаки ее реального присутствия, наконец – они увидели ее однажды. Думаю, что это могло кончиться сумасшествием, если бы не неожиданно повернувшиеся события.

Мистификация, начатая с шутки, зашла слишком далеко, – пришлось раскрыть. В редакции ”Аполлона” настроение было, как перед грозой. И неожиданно для всех гроза разразилась над головой Гумилева. Здесь, конечно, не место рассказывать о том, чего сам Гумилев никогда не желал делать достоянием общества. Но я знаю и утверждаю, что обвинение, брошенное ему, – в произнесении им некоторых неосторожных слов – было ложно: слов этих он не произносил и произнести не мог. Однако из гордости и презрения он молчал, не отрицая обвинения, когда же была устроена очная ставка и он услышал на очной ставке ложь, то он из гордости и презрения подтвердил эту ложь. В Мариинском театре, наверху, в огромной, как площадь, мастерской Головина, в половине одиннадцатого, когда под колосниками, в черной пропасти сцены, раздавались звуки ”Орфея”, произошла тяжелая сцена в двух шагах от меня: поэт В., бросившись к Гумилеву, оскорбил его. К ним подбежали Анненский, Головин, В.Иванов. Но Гумилев, прямой, весь напряженный, заложив руки за спину и стиснув их, уже овладел собою. Здесь же он вызвал В. на дуэль.[8]

Весь следующий день между секундантами шли отчаянные переговоры. Гумилев предъявил требование стреляться в пяти шагах до смерти одного из противников. Он не шутил. Для него, конечно, изо всей этой путаницы, мистификации и лжи не было иного выхода, кроме смерти.

С большим трудом, под утро, секундантам В., – кн. Шервашидзе[9] и мне удалось уговорить секундантов Гумилева – Зноско-Боровского[10] и М.Кузмина[11] – стреляться на пятнадцати шагах. Но надо было уломать Гумилева. На это был потрачен еще день. Наконец, на рассвете третьего дня, наш автомобиль выехал за город по направлению к Новой Деревне. Дул мокрый морской ветер, и вдоль дороги свистели и мотались голые вербы. За городом мы нагнали автомобиль противников, застрявший в снегу. Мы позвали дворников с лопатами и все, общими усилиями, выставили машину из сугроба. Гумилев, спокойный и серьезный, заложив руки в карманы, следил за нашей работой, стоя в стороне.

Выехав за город, мы оставили на дороге автомобили и пошли на голое поле, где были свалки, занесенные снегом. Противники стояли поодаль, мы совещались, меня выбрали распорядителем дуэли. Когда я стал отсчитывать шаги, Гумилев, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я снова отмерил пятнадцать шагов, просил противников встать на места и начал заряжать пистолеты. Пыжей не оказалось, я разорвал платок и забил его вместо пыжей, Гумилеву я понес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным, черным силуэтом различимый в мгле рассвета. На нем был цилиндр и сюртук, шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь, – взял пистолет, и тогда только я заметил, что он, не отрываясь, с ледяной ненавистью глядит на В., стоявшего, расставив ноги, без шапки.

Передав второй пистолет В., я по правилам в последний раз предложил мириться. Но Гумилев перебил меня, сказав глухо и недовольно: "Я приехал драться, а не мириться". Тогда я просил приготовиться и начал громко считать: раз, два... (Кузмин, не в силах стоять, сел в снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком, чтобы не видеть ужасов)... – три! – крикнул я. У Гумилева блеснул красноватый свет и раздался выстрел. Прошло несколько секунд. Второго выстрела не последовало. Тогда Гумилев крикнул с бешенством: "Я требую, чтобы этот господин стрелял". В. проговорил в волнении: "У меня была осечка". – "Пускай он стреляет во второй раз, – крикнул опять Гумилев, – я требую этого..." В. поднял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожавшей руки пистолет и, целя в снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало палец. Гумилев продолжал неподвижно стоять: "Я требую третьего выстрела", – упря-

мо проговорил он. Мы начали совещаться и отказали. Гумилев поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к автомобилям.

***

С тех пор я мало встречал Гумилева. Он женился и уехал в Абиссинию. Сбылась мечта о тропических лесах, о пирогах, скользящих по голубым озерам, о стадах обезьян, о том задумчивом жирафе, который, поджидая его, много лет бродил одиноко по берегу озера Чад. Гумилев привез из Африки желтую лихорадку, прекрасные стихи, чучело убитого им черного ягуара и негрское оружие. В эту зиму он поднял знамя восстания против Академии Стиха, В.Иванова и символистов. Зимой 1910-11 года [12] им был основан первый Цех Поэтов. Он много писал и переводил. Его жизнь была размерена и покойна. Казалось, что путешествием в Африку он надолго утолил в себе жажду приключений. Он был строг и неумолим к молодым поэтам, он первый объявил стихосложение наукой и ремеслом, которому нужно так же учиться, как учатся музыке и живописи. Талант, чистое вдохновение должно было, по его пониманию, обладать совершенным аппаратом стихосложения, и он упорно и сурово учил молодых поэтов ремеслу. Результаты превзошли все ожидания. Через какие-нибудь пять лет в России повсюду в больших городах возникли, по примеру петербургского, цехи поэтов: отныне нельзя было уже более писать плохих стихов, уровень мастерства необычайно повысился, и те, у кого был талант, могли проявлять его в совершенной форме.

Когда началась мировая война, Гумилев записался добровольцем в кавалерию и ушел на фронт. О его приключениях ходили рассказы. Он получил три Георгия,[13] был тяжело ранен и привезен в Петербург. Здесь во время выздоровления он вторично собрал Цех. В шестнадцатом году он был послан в Париж,[14] и вернулся в Россию во время революции. В восемнадцатом году он в третий раз собрал Цех, работа которого продолжается и поныне. Я не знаю подробностей его убийства, но зная Гумилева, – знаю, что стоя у стены, он не подарил палачам даже взгляда смятения и страха. Мечтатель, романтик, патриот, суровый учитель, поэт... Хмурая тень его, негодуя, отлетела от обезображенной, окровавленной, страстно любимой им Родины...

Им были написаны книги стихов: "Путь конквистадоров",

"Романтические цветы", "Жемчуга", "Чужое небо", "Колчан", "Костер", "Шатер", "Мик" – африканская поэма, пьесы в стихах: "Гондла", "Дитя Аллаха", "Отравленная туника", книга китайских стихов: "Фарфоровый павильон". Готовились к печати книги стихов "Огненный столп","Посредине странствия земного"[15] и "Дракон" – поэма.

Свет твоей душе. Слава – твоему имени...

СЕРГЕЙ МАКОВСКИЙ

НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ (1886-1921)

С Гумилевым я познакомился в первых числах января 1909 года в Петербурге, на выставке "Салон".[1]

Эта выставка – "Живописи, графики, скульптуры и архитектуры", устроенная мною в музее и "Меньшиковских комнатах" Первого кадетского корпуса, оказалась провиденциальной для будущего "Аполлона". Я затеял ее по просьбе друзей-художников, оттого что Дягилев перестал пестовать "Мир Искусства" и кому-то надлежало "объединить" наиболее одаренных художников (после того, как по почину В.В. Верещагина и моему годом раньше были объединены наши историки искусства журналом "Старые годы").

Далось мне устройство "Салона" нелегко, но я был вознагражден успехом. На мое приглашение откликнулось около сорока художников (из разных обществ); было выставлено более шестисот произведений, картин и рисунков по преимуществу: одного Рериха, которым я увлекался в то время, пятьдесят вещей и между ними лучший его холст маслом – "Бой" (приобретен с выставки Третьяковской галереей); впервые выступили тогда прославившиеся впоследствии К.С. Петров-Водкин, В.В. Кандинский, Н.К. Чурлёнис; большое впечатление произвели предсмертные этюды Врубеля и "*Terror Antiquus*" Льва Бакста, самая значительная из его станковых композиций.

С этой символической картины-декорации Бакста, занявшей целую стену на выставке, началось увлечение передового Петербурга архаической Элладой; когда почти годом позже мне пришлось выбрать художника-графика для обложки "Аполлона", я обратился к Баксту, – весь первый год журнал выходил с его титульной виньеткой.

Так вот, за несколько дней до вернисажа (еще продолжалась развеска картин) в "секретарскую" постучался неведомый мне до того молодой человек – Михаил Константинович Ушков; приехал он из Царского Села, чтобы предложить мне выставить принадлежавший ему мрамор С.Н. Судьбинина; сам скульптор, живший тогда в Париже, просил его об этом.

С Ушковым мы тут же подружились. Он оценил немалый труд мой по устройству этого грандиозного смотра художников-модернистов и предложил помощь для осуществления дальнейших моих замыслов (художественного журнала и издательства), ничего не требуя взамен... В этом человеке, добрейшем и скромнейшем, ни капли не были ни эгоизма, ни честолюбия; от него веяло каким-то абсолютным бескорыстием и порядочностью (через год я с трудом убедил его подписывать "Аполлон" в качестве соиздателя*); моя дружба с Михаилом Константиновичем продолжалась и в эмиграции до самой его смерти.

На вернисаже "Салона" судьба свела меня и с другим царскоселом, Николаем Степановичем Гумилевым. Кто-то из писателей отрекомендовал его как автора "Романтических цветов". Юноша был тонок, строен, в элегантном университетском сюртуке с очень высоким, темносиним воротником (тогдашняя мода), и причесан на пробор тщательно. Но лицо его благообразием не отличалось: бесформенно-мягкий нос, толстоватые бледные губы и немного косящий взгляд (белые точеные руки я заметил не сразу). Портил его и недостаток речи: Николай Степанович плохо произносил некоторые буквы, както особенно заметно шепелявил, вместо "вчера" выходило у него – "вцера".

В следующий раз он принес мне свой сборник (а я дал ему в обмен только что вышедший второй томик моих "Страниц художественной критики"). Стихотворения показались мне довольно слабыми даже для ранней книжки. Однако за исключением одного – "Баллады": оно поразило меня трагическим тоном, вовсе не вязавшимся с тем впечатлением, какое оставил автор сборника, этот белобрысый самоуверенно-подтянутый юноша (ему было 22 года). К "Балладе" из "Романтических цветов" я еще вернусь, ее четырехстопные анапесты уди-

———

* Однако первый выпуск "Аполлона" вышел в издательстве Ефронов – "Якорь". Вследствии ухода А.Л. Волынского из сотрудников "Аполлона" Ефроны от дальнейшего издания отказались, я один продолжал дело, с помощью Ушкова.

вительно перекликаются с тем, что было написано Гумилевым в самом конце жизни.

Юный поэт-царскосел восторженно говорил об Иннокентии Анненском (незадолго перед тем вышли "Тихие песни"[2] Анненского, но я и не подозревал тогда, что псевдоним Ник-То принадлежит известному переводчику Эврипида, недавнему директору Царскосельской гимназии!). Гумилев бывал у него, помнил наизусть строфы из "трилистников" "Кипарисового ларца", с особой почтительностью отзывался о всеискушенности немолодого уже, но любившего юношески-пламенно новую поэзию лирика-эллиниста Анненского, и предложил повезти меня к нему в Царское Село.

Мое знакомство с Анненским, необыкновенное его обаяние и сочувствие моим журнальным замыслам (в связи с обещанной М.К. Ушковым помощью) решили вопрос об издании "Аполлона". К проекту журнала Гумилев отнесся со свойственным ему пылом. Мы стали встречаться все чаще, с ним и его друзьями – Михаилом Алексеевичем Кузминым, Алексеем Толстым, Ауслендером. Так образовался кружок, прозванный впоследствии секретарем журнала Е.А. Зноско-Боровским – "Молодая редакция". Гумилев горячо взялся за отбор материалов для первых выпусков "Аполлона", с полным бескорыстием и с примерной сговорчивостью. Мне он сразу понравился той серьезностью, с какой относился к стихам, вообще – к литературе, хотя и казался подчас чересчур мелочливо-принципиальным судьей. Зато никогда не изменял он своей принципиальности из личных соображений или "по дружбе", был ценителем на редкость честным и независимым.

Понравилось мне и то, что не принадлежал он, в сущности, ни к какому литературному толку. Его корежило от реалистов-бытовиков, наводнявших толстые журналы, но он считал необходимым бороться и с десятилетним "символическим пленением" русской поэзии, как он говорил. Об "акмеизме" еще не было речи, но несмотря на увлечение Брюсовым, Анненским, Сологубом и прославленными французскими символистами (Бодлером, Ренье, Верленом, Рембо), Гумилева тянуло прочь от мистических туманов модернизма.

Мне самому новый ежемесячник (посвященный главным образом искусствам изобразительным и критике, – на второй год пришлось пожертвовать всей беллетристической прозой) представлялся меньше всего примыкающим к одному из тогдашних передовых литературных "течений", будь то декадент-

ство московских "Весов" с Брюсовым у кормила, или богоискательство и мифотворчество петербургских новаторов (с Блоком, Вячеславом Ивановым, Мережковскими, Г.Чулковым). Гумилев верил в свою миссию реформатора, в нем ощущалась не только талантливость, но свежесть какой-то своей поэтической правды.

Стихи были всей его жизнью. Никогда не встречал я поэта до такой степени "стихомана". "Впечатления бытия" он ощущал постольку, поскольку они воплощались в метрические строки. Над этими строками (заботясь о новизне рифмы и неожиданной яркости эпитета) он привык работать упорно с отроческих лет. В связи отчасти с этим стихотворным фанатизмом, была известная ограниченность его мышления, прямолинейная подчас наивность суждений. Чеканные, красочно-звучные слова были для него духовным мерилом. При этом – неистовое самолюбие! Он никогда не пояснял своих мыслей, а "изрекал" их и спорил как-будто для того лишь, чтобы озадачить собеседника. Вообще было много детски-заносчивого, много какого-то мальчишеского озорства в его словесных "дерзаниях" (в критической прозе, в статьях это проявлялось куда меньше, несмотря на капризную остроту его литературных заметок).

Все это вызывало несколько ироническое отношение к Гумилеву со стороны его товарищей по перу. Многие попросту считали его "неумным"...

Особенно протестовал Вячеслав Иванов, авторитет для аполлоновцев непререкаемый. Сколько раз корил он меня за слабость к Николаю Степановичу! Удивлялся, как мог я поручить ему "Письма о русской поэзии", иначе говоря – дать возможность вести в журнале "свою линию". "Ведь он глуп, – говорил Вячеслав Иванов, – да и плохо образован, даже университета окончить не мог, языков не знает, мало начитан"... *

В этом, несомненно, была правда... Гумилев любил книгу, и мысли его большею частью были книжные, но точными знаниями он не обладал ни в какой области, а язык знал только один – русский, да и то с запинкой (писал не без орфографи-

-----

* С годами Вячеслав Иванов изменил свое мнение. Мне было приятно много позже (в 1935 г.) в его предисловии к сборнику стихов Ильи Голенищева-Кутузова (изд. "Парабола") прочесть о Гумилеве – "наша погибшая великая надежда".

ческих ошибок, не умел расставлять знаков препинания, приносил стихи и говорил: "а запятые расставьте сами!").[3] По-французски кое-как понимал, но в своих переводах французов (напр. Теофиля Готье) поражал иногда невероятными ляпсусами. Помню, принес он как-то один из своих переводов. Предпоследнюю строку в стихотворении Готье "*La mansarde*" (где сказано о старухе у окна – "*devant Minet, qu'elle chapitre*"), он перевел: "Читала из Четьи-Минеи"... Так и было опубликовано, за что переводчика жестоко высмеял Андрей Левинсон в "Речи" (Об этой "стреле" Левинсона напомнил мне, в письме о моей характеристике Гумилева, подтверждая мое мнение о его малообразованности – Георгий Иванов).

Тем не менее я Гумилеву верил; что-то в нем меня убеждало, и я отстаивал его во всех случаях, даже тогда, когда он сам, все решительнее возглашая *акмеизм* против символизма, захотел ничем не ограниченной деятельности, завел "Цех поэтов" и стал выпускать тонкими тетрадями свой собственный журнальчик "Гиперборей"*. "Письма о русской поэзии", тем не менее, он продолжал писать, даже (когда мог) в годы войны, на которую с примерным мужеством пошел добровольцем (один из всех сотрудников "Аполлона"). Жест был от чистого сердца, хотя доля позы, конечно, чувствовалась и тут. Позерство, желание удивить, играть роль – были его "второй натурой".

Вот почему мне кажется неверным сложившееся мнение о его поэзии, да и о нем самом (разве личность и творчество поэта не неразделимы?). Сложилось оно не на основании того, чем он был, а – чем быть хотел. О поэте надо судить по его *глубине*, по самой внутренней его сути, а не по его литературной позе...

Внимательно перечитав Гумилева и вспоминая о нашем восьмилетнем дружном сотрудничестве, я еще раз убедился, что настоящий Гумилев – вовсе не конквистадор, дерзкий завоеватель Божьего мира, певец земной красоты, т.е. не тот, кому поверило большинство читателей, особенно после того, как он был убит большевиками. Этим героическим его образом и до "Октября" заслонялся Гумилев-лирик, мечтатель, по сущности своей романтически-скорбный (несмотря на словесные бубны и кимвалы), всю жизнь не принимавший жизнь

---

* В котором появилась его короткая и, на мой взгляд, удачнейшая из драм в стихах – "Актеон" (заняла весь номер "Гиперборея").

такой, какая она есть, убегавший от нее в прошлое, в великолепие дальних веков, в пустынную Африку, в волшебство рыцарских времен и в мечты о Востоке "Тысячи и одной ночи".

Наперекор пиитическому унынию большинства русских поэтов, Гумилев хотел видеть себя "рыцарем счастья". Так и озаглавлено одно из предсмертных его стихотворений (в "Неизданном Гумилеве" Чеховского издательства) :

Как в этом мире дышится легко!
Скажите мне, кто жизнью недоволен,
Скажите, кто вздыхает глубоко,
Я каждого счастливым сделать волен.

. . . .

Пусть он придет! Я должен рассказать,
Я должен рассказать опять и снова,
Как сладко жить, как сладко побеждать
Моря и девушек, врагов и слово.

А если все-таки он не поймет,
Мою прекрасную не примет веру
И будет жаловаться в свой черед
На мировую скорбь, на боль – к барьеру!

Таким счастливым "бретером" и увидело его большинство критиков. Недавно попалась мне на глаза написанная перед самой революцией статья весьма осведомленного В.М. Жирмунского о поэтах, преодолевших символизм.[4] Вот как он характеризует гиперборейца Гумилева: "Уже в ранних стихах поэта можно увидеть черты, которые сделали его вождем и теоретиком нового направления. От других представителей поэзии "Гиперборея" Гумилева отличает его активная, откровенная и простая мужественность, его напряженная душевная энергия, его темперамент". "Его стихи бедны эмоциональным и музыкальным содержанием, он редко говорит о переживаниях интимных и личных: как большинство поэтов "Гиперборея", он избегает лирики любви и природы, слишком индивидуальных признаний и слишком тяжелого самоуглубления. Для выражения своего настроения – объективный мир зрительных образов, напряженных и ярких, он вводит в свои стихи повествовательный элемент и придает им характер полуэпический –"балладную" форму. Искание образов и форм, по своей силе и яркости соответствующих его мироощущению, влечет Гумилева к изображению экзотических стран, где в красоч-

ных и пестрых видениях он находит зрительное, объективное воплощение своей грезы. Муза Гумилева – это ”Муза дальних странствий”:

Я сегодня опять услышал
Как тяжелый якорь ползет,
И я видел, как в море вышел
Пятипалубный пароход.
Оттого и солнце дышит,
А земля говорит, поет...

Но действительно до конца, – продолжает Жирмунский, – муза Гумилева нашла себя в ”военных” стихах. Эти стрелы в ”Колчане” – самые острые. Здесь прямая, простая и напряженная мужественность поэта создала себе самое достойное и подходящее выражение. Война, как *серьезное*, строгое и святое дело, в котором вся сила отдельной души, вся ценность напряженной человеческой воли открывается перед лицом смерти. Глубоко религиозное чувство сопутствует поэту при исполнении воинского долга:

И воистину светло и свято
Дело величавое войны,
Серафимы ясны и крылаты,
За плечами воинов видны...

Четвертью века позже Гумилева окончательно героизировал Вячеслав Завалишин, написавший вступление к собранию его стихотворений, изданных (надо сказать, весьма небрежно) в Регенсбурге. Он замечает: ”Николай Гумилев вошел в историю русской литературы как знаменосец героической поэзии:

Я конквистадор в панцыре железном,
Я весело преследую звезду,
Я прохожу по пропастям и безднам
И отдыхаю в радостном саду...”

Эта характеристика неверна, если только не поверить поэту на слово, если вдуматься в скрытый смысл его строф (может быть, до конца и не сознанный им самим). Многие хоть и звучат на первый слух, как мажорные фанфары, но когда внимательнее их перечтешь, прикровенный смысл их кажется безнадежно печальным.

Таковы, в особенности, наиболее зрелые стихи Гумилева, которых не знал Жирмунский, когда писал свою статью о ”пре-

одолевших символизм": стихи сборников "К синей звезде" и "Огненный столп". Тут никак уж не скажешь, что Гумилев "избегает лирики любви", "слишком индивидуальных признаний и слишком тяжелого самоуглубления". В этих стихах он предстает нам не как конквистадор и Дон Жуан, а как поэт, замученный своей любовью-музой. Можно сказать, что в последние годы Гумилев только и писал о неутоленной и неутолимой жажде любви: почти все стихотворения приводят к одному и тому же "духовному тупику" – к страшной тайне сердца, к призраку девственной прелести, которому в этом мире воплотиться не суждено. Пусть темпераментный поэт продолжает "рваться в бой" с жизнью и смертью, – он раз и навсегда неизлечимо болен.

Стихи "К синей звезде" отчасти биографичны. Поэт рассказывает свою несчастливую любовь в Париже 1917 года, когда он, отвоевав на русском фронте, гусарским корнетом был командирован на салоникский фронт и попал в Париж (в распоряжение генерала Занкевича). Тут и приключилась с ним любовь, явившаяся косвенно причиной его смерти (Гумилев не вернулся бы, вероятно, в Россию весной 18-го года, если бы девушка, которой он сделал предложение в Париже, ответила ему согласием).

Целую книжку стихов посвятил он этой "любви несчастной Гумилева в год четвертый мировой войны". "Синей звездой" зовет он ее, "девушку с огромными глазами, девушку с искусными речами", Елену, жившую в Париже, в тупике "близ улицы Декамп", "милую девочку", с которой ему "нестерпимо больно". Он признается в страсти "без меры", в страсти, пропевшей "песней лебединой", что "печальней смерти и пьяней вина"; он называет себя "рабом истомленным" перед ее "мучительной, чудесной, неотвратимой красотой". И не о земном блаженстве грезит он, воспевая ту, которая стала его "безумием" или "дивной мудростью", а о преображенном, вечном союзе, соединяющем и землю, и ад, и Божьи небеса:

Если бы могла явиться мне
Молнией слепительной Господней,
И отныне я , горя в огне,
Вставшем до небес из преисподней...

Не отсюда ли впоследствии название сборника – "Огненный столп", где лирика любви приобретает некий эзотерический смысл?

Но все же не будем преувеличивать значения "несчастной" парижской страсти Гумилева. Стихи "К синей звезде", несомненно, искренни и отражают подлинную муку. Однако они остаются "стихами поэта", и неосторожно было бы их приравнивать к трагической исповеди. Гумилев был влюбчив до крайности. К тому же привык "побеждать"... Любовная неудача больно ущемила его самолюбие. Как поэт, как литератор прежде всего, он не мог не воспользоваться этим горьким опытом, чтобы подстегнуть вдохновение и выразить в гиперболических признаниях не только свое горе, но горе всех любивших неразделенной любовью.

С художественной точки зрения стихи "К синей звезде" не всегда безупречны; неудавшихся строк много. Но в каждом есть такие, что останутся в русской лирике, – их находишь, как драгоценные жемчужины в морских раковинах...

Все ли почитатели Гумилева прочли внимательно одно из последних его стихотворений (вошло в "Огненный столп"), названное поэтом "Дева-птица"? Нет сомнения: это все та же райская птица, что среди строф к "Синей звезде" появилась "из глубины осиянной". Но тут родина ее названа определеннее – долы баснословной Броселианы (т.е. баснословной страны из "Романов круглого стола", точнее – Броселианды), где волшебствовал Мерлин, сын лесной непорочной девы и самого диавола.*

Чтобы отнестись так или иначе к моему пониманию Гумилева-лирика, необходимо задуматься именно над этими стихами. Сам я прочел их, как следует, лишь в последние годы, долго после того, как они проникли в эмиграцию (вместе с приблизительно тогда же написанным и сразу прославленным "Заблудившимся трамваем").

Напомню их:

Пастух веселый
Поутру рано
Вывел коров в тернистые долы
Броселианы.

-----

* Недаром перед возвращением в Россию Гумилев усердно занимался французскими народными песнями. Они были изданы берлинским "Петрополисом" в 1923 году.

Паслись коровы,
И песню своих веселий
На тростниковой
Играл он свирели.

И вдруг за ветвями
Послышался голос, как будто не птичий,
Он видит птицу, как пламя,
С головкой милой, девичьей.

Прерывно пенье,
Так плачет во сне младенец,
В черных глазах томленье,
Как у восточных пленниц.

Пастух дивится
И смотрит зорко:
Такая красивая птица,
А смотрит горько.

Ее ответу
Он внемлет, смущенный:
– Мне подобных нету
На земле зеленой,

– Хоть мальчик-птица,
Исполненный дивных желаний,
И должен родиться
В Броселиане.

– Но злая
Судьба нам не даст наслажденья,
Подумай пастух, должна я
Умереть до его рожденья.

– И вот мне не любы
Ни солнце, ни месяц высокий,
Никому не нужны мои губы
И бледные щеки.

– Но всего мне жальче,
Хоть и всего дороже,
Что Птица-мальчик
Будет печальным тоже.

– Он станет порхать по лугу,
Садиться на вязы эти
И звать подругу,
Которой уж нет на свете.

Пастух, ты, наверно, грубый.
Ну, что ж я терпеть умею,
Подойди, поцелуй мои губы
И хрупкую шею.

– Ты сам захочешь жениться,
У тебя будут дети,
И память о Деве-птице
Долетит до поздних столетий.

Пастух вдыхает запах
Кожи, солнцем нагретой,
Слышит, на птичьих лапах
Звенят золотые браслеты.

Вот уж он в исступленьи,
Что делает, сам не знает,
Загорелые его колени
Красные перья попирают.

Только раз застонала птица,
Раз один застонала,
И в груди ее сердце биться
Вдруг перестало.

Она не воскреснет,
Глаза помутнели,
И грустные песни
Над нею играет пастух на свирели.

С вечерней прохладой
Встают седые туманы,
И гонит он стадо
Из Броселианы.

Стихотворение это неожиданно сложно... К кому оно обращено? Кто эта птица "как пламя", плачущая в ветвях и отдающаяся заметившему ее случайно пастуху? Почему именно к нему обратилась птица, чтобы умереть от его поцелуя? И о какой "птице-мальчике" печалится она, предсказывая свою

смерть "до его рождения"? Почему наконец ей, птице "с головкой милой, девичьей", всего жальче, хоть и всего дороже, что он, птица-мальчик, "будет печальным тоже"?

Очень сложно построена эта запутанная криптограмма в романтично-метерлинковском стиле... Но в конце концов дешифровка вероятна, если хорошо знать Гумилева и сердцем почувствовать его как лирика-романтика, всю жизнь влюбленного в свою Музу и ждавшего чуда – всеразрешающей женской любви. Дева-птица и есть таинственная его вдохновительница, его духовная мать, и одновременно – та девушка, к которой он рвется душой. "Пастух" и "птица-мальчик" – сам он, не узнающий своей музы, потому что встретил ее, еще "не родившись" как вещий поэт, а только беспечно поющий "песню своих веселий". В долах Броселианы лишь безотчетно подпадает он под ее чары и "что делает, сам не знает", убивая ее поцелуем. Но убитая им птица позовет его из другого, преображенного мира, и тогда станет он "звать подругу, которой уж нет на свете".

Напомню еще раз одно из самых молодых его стихотворений – "Балладу" (сборник "Романтические цветы"). Оно помещено первым после вводного сонета с заключительными строками:

Пусть смерть приходит, я зову любую!
Я с нею буду биться до конца.
И, может быть, рукою мертвеца
Я лилию добуду голубую...

Гумилеву было всего лет двадцать, когда он сочинил эту "Балладу", похожую романтическим поъемом на его предсмертную "Деву-птицу". Да и вся "декорация" стихотворения разве не из той же сказки?

Пять коней подарил мне мой друг Люцифер
И одно золотое с рубином кольцо,
Чтобы мог я спускаться в глубины пещер
И увидел небес молодое лицо.

. . . .

Там на высях сознанья – безумье и снег,
Но коней я ударил свистящим бичом,
И на выси сознанья направил их бег
И увидел там деву с печальным лицом.

. . . .

И, смеясь надо мной, презирая меня,
Люцифер распахнул мне ворота во тьму,
Люцифер подарил мне шестого коня –
И Отчаянье было названье ему.

Не буду перечислять других стихотворений, где упорно повторяется тот же образ, тот же символ из "святая святых" встревоженной души поэта, те же зовы к любви недостижимой, те же предчувствия безвременной смерти, та же печаль, переходящая в Отчаянье (это слово он пишет с прописной буквы), печаль броселиандского "грубого пастуха", убившего своим поцелуем Деву-птицу, за что "злая судьба" не даст ему наслажденья, а "шестой конь", подаренный ему Люцифером, унесет во тьму, в смерть...

Через все его книги проходит мысль о смерти, о "страшной" смерти. Это навязчивый его призрак. Недаром первое же, вступительное стихотворение "Жемчугов", сравнивая свою поэзию с волшебной скрипкой, он кончает строками:

На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача.

Продолжим перелистывание "Жемчугов"... В "Поединке" выделяются такие строфы:

Я пал... и молнии победной
Сверкнул и в тело впился нож...
Тебе восторг – мой стон последний,
Моя прерывистая дрожь.

. . . .

И над равниной дымно-белой,
Мерцая шлемом золотым,
Найдешь мой труп окоченелый
И снова склонишься над ним.

Стихотворение "В пустыне" – начинается с той же гибели:

Давно вода в мехах иссякла,
Но, как собака, я умру...

Мечтая о прошлых столетиях, видит он какого-то старого

"товарища", "древнего ловчего", утонувшего когда-то, и кончает стихотворение обращением к нему:

Скоро увижусь с тобою, как прежде,
В полях неведомой страны.

Эту страну, в другом стихотворении ("В пути") он окрестит "областию уныния и слез" и "оголенным утесом". Тут же стихотворение, посвященное "светлой памяти И.Ф. Анненского", "Семирамида", он заключает признанием более, чем безотрадным:

И в сумеречном ужасе от лунного взгляда,
От цепких лунных сетей,
Мне хочется броситься из этого сада
С высоты семисот локтей.

Поэт воистину вправе, с полной искренностью утверждать:

В мой мозг, в мой гордый мозг собрались думы,
Как воры ночью в тихий мрак предместий...

и в заключение:

И думы, воры в тишине предместий
Как нищего во мгле, меня задушат.

Единственным утешением от этих злых дум было для Гумилева искусство, поэзия, а родоначальником ее представлялся ему дух печально-строгий, учитель красоты (как Лермонтову и французским "проклятым поэтам"), принявший имя утренней звезды. Отсюда – такое языческое восприятие жизни "по ту сторону добра и зла". Недаром, как Адам, что "тонет душою в распутстве и неге", но "клонит колена и грезит о Боге", молясь "Смерти, богине усталых", он хочет быть, как боги, которым "все позволено", хоть и задумывается подчас о христианском завете, – напомню заключительное шестистишье сонета "Потомки Каина" (из "Жемчугов"):

Но почему мы клонимся без сил,
Нам кажется, что кто-то нас забыл,
Нам ясен ужас древнего соблазна,
Когда случайно чья-нибудь рука
Две жердочки, две травки, два древка
Соединит на миг крестообразно?

Эти строки относятся к году нашего знакомства (1909). Тогда писал он с воодушевлением своих талантливых (внушенных Бодлером), но несколько трескучих "Капитанов" и готовился, по примеру Рембо, к поездке в Абиссинию. Тогда он еще не был женат на Анне Андреевне Горенко (ставшей Ахматовой), но знал ее уж давно. После более трех лет колебаний он наконец женился. Свадьба состоялась в 1910 году. Я встретил молодых тогда в Париже. Затем мы вместе возвращались в Петербург.

В железнодорожном вагоне, под укачивающий стук колес, легче всего разговориться "по душе". Анна Андреевна, хорошо помню, меня сразу заинтересовала, и не только в качестве законной жены Гумилева, повесы из повес, у которого на моих глазах столько завязывалось и развязывалось романов "без последствий", — но весь облик тогдашней Ахматовой, высокой, худенькой, тихой, очень бледной, с печальной складкой рта, вызывал не то растроганное любопытство, не то жалость. По тому, как разговаривал с ней Гумилев, чувствовалось, что он ее полюбил серьезно и гордится ею. Не раз и до того он рассказывал мне о своем жениховстве. Говорил и впоследствии об этой своей единственной настоящей любви...

Что она была единственной — в этом я и теперь убежден, хотя за десять последующих лет столько "возлюбленных" оказалось на пути Гумилева; его преходящим увлечениям и счета нет!

Поэтому никогда не верил я в серьезность его парижской неудачливой страсти к "Елене" из "Синей звезды", хотя посвящено ей двадцать пять стихотворений (и многое внушено ею же в последней его драме "Отравленная туника").

Ахматовой (насколько помню) он посвятил открыто всего одно стихотворение, зато сколько стихотворений, куда более выразительных, сочинил, не называя ее, но они явно относятся к ней и к ней одной.[5] Перечитывая эти стихи, можно восстановить драму, разлучившую их так скоро после брака, и те противоречивые чувства, какими Гумилев не переставал мучить и ее, и себя; в стихах он рассказал свою борьбу с ней и несравненное ее очарование, каясь в своей вине перед нею, в вине безумного Наля, проигравшего в кости свою Дамаянти:

Сказала ты, задумчивая, строго:
— "Я верила, любила слишком много,

А ухожу, не веря, не любя,
И пред лицом Всевидящего Бога,
Быть может, самое себя губя,
Навек я отрекаюсь от тебя".

Твоих волос не смел поцеловать я,
Ни даже сжать холодных, тонких рук.
Я сам себе был гадок, как паук,
Меня пугал и мучил каждый звук.
И ты ушла, в простом и темном платье,
Похожая на древнее распятье.

Я не хочу слишком уточнять перипетий семейной драмы Гумилевых. К тому же каждому, знающему стихи, какими начинается "Чужое небо" и каких много в сборниках Ахматовой – "Вечер" и "Четки", не трудно восстановить эту драму и судить о том, насколько в этих стихах все автобиографично. Но несмотря на "камуфляж" некоторых строк, стихи говорят сами за себя. Напомню только о Гумилевском портрете – "Она", который он мог написать, конечно, только с Ахматовой:

Я знаю женщину: молчание,
Усталость горькая от слов,
Живет в таинственном мерцаньи
Ее расширенных зрачков.

Неслышный и неторопливый,
Так странно плавен шаг ее,
Назвать ее нельзя красивой,
Но в ней все счастие мое.

И конец:

Она светла в часы томлений
И держит молнии в руке,
И четки сны ее, как тени
На райском огненном песке.

Этот портрет дополняется другим, насмешливо-заостренным, и рисуя не идеализованную, а бытовую Ахматову, он выдает уже наметившуюся трещину в их любви. Приведу лишь первую и последнюю строфы:

Из логова змиева,

Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью,
А думал забавницу,
Гадал – своенравницу.
Веселую птицу-певунью.

. . . .

Молчит – только ежится
И все ей неможется,
Мне жалко ее, виноватую,
Как птицу подбитую,
Березу подрытую,
Над участью, Богом заклятую.

Эти стихи (вошедшие в сборник "Чужое небо") написаны вскоре после возвращения Гумилева из африканского путешествия.[6] Помню, он был одержим впечатлениями от Сахары и подтропического леса и с мальчишеской гордостью показывал свои "трофеи" – вывезенные из "колдовской" страны Абиссинии слоновые клыки, пятнистые шкуры гепардов и картины-иконы на кустарных тканях, напоминающие большеголовые романские примитивы. Только и говорил об опасных охотах, о чернокожих колдунах и о созвездиях южного неба – там, в Африке, доисторической родине человечества, что висит "исполинской грушей" "на дереве древнем Евразии, где

...Солнце на глади воздушных зеркал
Пишет кистью лучистой миражи...

Но житейской действительности никакими миражами не заменить, когда "дома" молодая жена тоскует в одиночестве, да еще такая "особенная", как Ахматова...[7] Нелегко поэту примирять поэтическое "своеволие", жажду новых и новых впечатлений, с семейной оседлостью и с любовью, которая тоже, по-видимому, была нужна ему, как воздух... С этой задачей Гумилев не справился, он переоценил свои силы и недооценил женщины, умевшей прощать, но не менее гордой и своевольной, чем он.

Отстаивая свою "свободу", он на целый день уезжал из Царского, где-то пропадал до поздней ночи и даже не утаивал своих "побед"... Ахматова страдала глубоко. В ее стихах, тогда написанных, но появившихся в печати несколько позже (вошли в сборники "Вечер" и "Четки"), звучит и боль от ее заброшенности, и ревнивое томление по мужу:

...Знаю: гадая, не мне обрывать,
Нежный цветок маргаритку,
Должен на этой земле испытать
Каждый любовную пытку.

Жгу до зари на окошке свечу
И ни о ком не тоскую,
Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, как целуют другую.

Анна Андреевна неизменно любила мужа, а он? Любил и он... насколько мог. Но занятый собою, своими стихами и успехами, заперев в клетку ее, пленную птицу, он свысока утверждал свое мужское превосходство, следуя Нитше, сказавшему (в "Заратустре", кажется): "Мужчина – воин, а женщина для отдохновения воина"... Подчас муж-воин проявлял и жестокость, в которой потом каялся.

А она жаловалась:

...Рассветает. И над кузницей
Подымается дымок.
А со мной, печальной узницей,
Ты опять побыть не мог.

Для тебя я долю хмурую,
Долю-муку приняла.
Или любишь белокурую,
Или рыжая мила?

Как мне скрыть вас, стоны звонкие!
В сердце темный, душный хмель.
А лучи ложатся тонкие
На несмятую постель.

Повторяю, она все прощала. Ее любовь побеждала страдание – разве муж не друг навеки, посланный Богом? И в нескольких словах, с такой характеризующей ее простотой, она рассказывает и о неверности мужа, и о своей всепрощающей нежности:

У меня есть улыбка одна.
Так. Движенье, чуть видное губ.
Для тебя я ее берегу –
Ведь она мне любовью дана.

Все равно, что ты наглый и злой,
Все равно, что ты любишь других,
Предо мной золотой аналой
И со мной сероглазый жених.

Но всему приходит конец, даже любовному долготерпению. Случилось то, что должно было случиться. После одного из своих "возвращений" убедился ли он в том, что она встретила "того, другого", которого он называет преступным за то, что он вечность променял на час –

Принявши дерзко за оковы,
Мечты, связующие нас...

или это одна "литература", а все кокетства Ахматовой и даже умственные увлечения ничем серьезным не кончались, и не было вовсе "того другого"?

Как бы то ни было, но уже задолго до войны Гумилев почувствовал, что теряет жену, почувствовал с раскаянной тоской и пил "с улыбкой" отравленную чашу, приняв ее из рук любимых, как заслуженную кару, ощущая ее "смертельный хмель", обещал покорность и соглашался на счастье жены с другим:

Знай, я больше не буду жестоким,
Будь счастливой, с кем хочешь, хоть с ним.
Я уеду далеким, далеким
И не буду печальным и злым.

Теперь, стоя у догорающего камина и говоря ей о своих подвигах, он отдается одной печали:

Древний я открыл храм из-под песка,
Именем твоим названа река,

И в стране озер семь больших племен
Слушались меня, чтили мой закон.

Но теперь я слаб, как во власти сна,
И больна душа, тягостно больна.

Я узнал, узнал, что такое страх,
Заключенный здесь в четырех стенах;

Даже блеск ружья, даже плеск волны
Эту цепь порвать ныне не вольны.

И тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.

Развивалась эта драма любви на моих глазах. Женившись, я поселился тоже в Царском Селе: в отсутствие Гумилева навещал Ахматову, всегда какую-то загадочно-печальную и вызывающую к себе нежное сочувствие. Как-то Гумилев был в отъезде, зашла она к моей жене, читала стихи. Она еще не печаталась в журналах, Гумилев "не позволял".[8] Прослушав некоторые из ее стихотворений, я тотчас предложил поместить их в "Аполлоне". Она колебалась: что скажет Николай Степанович, когда вернется? Он был решительно против ее писательства. Но я настаивал: "Хорошо, беру на себя всю ответственность. Разрешаю вам говорить, что эти строфы я попросту выкрал из вашего альбома и напечатал самовластно".

Так и условились... Стихи Ахматовой, как появились в "Аполлоне",[9] вызвали столько похвал, что Гумилеву, вернувшемуся из "дальних странствий", осталось только примириться с *fait accompli*. Позже он первый восхищался талантом жены и, хотя всегда относился ревниво к ее успеху, считал ее лучшей своей ученицей-акмеисткой.

Но тут акмеизм — отмечу в двух словах — пожалуй, ни при чем. Дарование Ахматовой (очень большое), созревавшее в тишине и безвестности (она писала рифмованные строки с малых лет), в гумилевской выучке не нуждалось. Вкус у нее куда безусловней его вкуса, поэтический слух, не говоря об уме, гораздо тоньше. Ее строки всегда поют, и в них глубоко пережитого чувства больше, чем внешнего блеска.

Родившегося зимой 1912 года у Анны Андреевны сына,[10] которого крестили Львом, выняньчила мать Гумилева, Анна Ивановна (в "Слепневе", родовом именьице Тверской губернии, унаследованном ею и старшей сестрой Варварой от брата Льва Ивановича Львова, адмирала флота в отставке*).

Ахматова в стихах называла себя "дурной матерью", но всею своей последующей жизнью она показала, что это неправ-

---

*Анна Ивановна Львова вышла замуж за военного врача Гумилева. Его фамилия произносилась первоначально с ударением на первом слоге — Гумилев (от humilis; отец был священником). Николай Степанович не мог терпеть, когда его в гимназии вызывали с этим ударением на первом слоге и не вставал с места.

да. Она любила сына самоотверженно; скорее Гумилев мог считать себя ”дурным отцом”, хотя еще в 1918 году, в Лондоне, покупал Левушке игрушки, – ведь это ему не помешало сейчас же по возвращении в Россию развестись с Анной Андреевной и жениться на Анне Николаевне Энгельгардт, молодой, хорошенькой, но умственно незначительной девушке, у которой вскоре родилась дочь.

С тех пор все более звучат в его стихах, когда вдумаешься в тайный их смысл, все та же обида и тот же зов к ней, развенчанной любви, и стремление преодолеть ее всепримиряющей правдой иного мира. С этой мыслью написаны последние стихотворения ”Костра” (может быть, лучшие из всех – ”Юг”, ”О тебе”, ”Эзбекие”).[11]

Муку раненой любви выдают не только лирические стихи Гумилева, но и проза, и написанные стихами драмы. Одной и той же темой сквозят анапесты ”Гондлы” и ямбы ”Отравленной туники”, и рассказы из сборника ”Тень от пальмы”* (первые три новеллы посвящены Ахматовой, тогда еще Анне Андреевне Горенко): ”Принцесса Зара”, ”Черный Дик”, ”Лесной диавол”, ”Скрипка Страдивариуса” и др. Везде – та же роковая антиномия: свет и тьма, любовь возвышенная и страсть яростно-грубая, тайна девственной прелести и уродство плоти, поэзия мечты и действительность.

Излюбленный герой Гумилева-драматурга – поэт-калека, обиженный судьбой лебеденок, но гений и прозорливец, бессильный на жизненном пиру и побеждающий жизнь своей жертвенностью, уходя –

...от смерти, от жизни,
Брат мой, слышишь ли речи мои? –
К неземной, к лебединой отчизне
По свободному морю любви.

Ему, покаранному в земном существовании поэту, мерещатся ”девушки странно-прекрасные и странно бледные со строго опущенными глазами и сомкнутыми алыми устами”; они ”выше гурий, выше ангелов, они, как души в седьмом кругу блаженств”, они печальны и улыбаются рыцарю-поэту

---

* Посмертное издание Центральн. Кооперативн. Изд-ства ”Мысль”, Петроград, 1922.

с безнадежной любовью, и он упивается "неиссякаемым мучительным вином чистой девичьей скорби..."

Здесь стирается граница между реальностью и приоткрытой духу небесной державой. Поэту, как безумному скрипачу Паоло Беллитини из рассказа "Скрипка Страдивариуса", "ясно все, чем он томился еще так недавно, и другое, о чем он мог бы томиться, и то, что было недоступно"... Но при мысли, что кто-то другой, после него, сумеет приручить волшебную скрипку, Паоло Беллитини решает уничтожить ее: "Старый мэтр вздрогнул... нет, никто и никогда больше не коснется ее, такой любимой, такой бессильной! И глухо зазвучали неистовые удары каблука и легкие стоны разбиваемой скрипки".

Так, злобным исступлением кончается эта повесть любви скрипача-поэта, хоть и молился он часами Распятому: кончается убийством! Не достигнув высшей гармонии, он в конце концов уступает льстивым козням Денницы.

Драматические герои Гумилева, и Гондла, и Имр, тоже кончают век убийством... самоубийством. Поэт казнит их с глубоким убеждением, так же, как говорит о смерти в одном из стихотворений "Колчана": "Правдивее смерть, а жизнь бормочет ложь". Недаром еще в первой юности "шестого коня", подаренного ему Люцифером, он назвал "Отчаяньем". Как ни настраивал себя Гумилев религиозно, как ни хотел верить, не мудрствуя лукаво, как ни обожествлял природу и первоначального Адама, образ и подобие Божье, – есть что-то безблагодатное в его творчестве. От света серафических высей его безотчетно тянет к стихийной жестокости творения и к первобытным страстям человека-зверя, к насилию, к крови, ужасу и гибели.

Удивительна в Гумилеве эта дисгармония. Она ощущалась и в житейской, и в писательской его личности. Для меня оставалось проблемой и то, почему смешно-претенциозный в жизни (особенно в литературных спорах), он был так обдуманно-меток и осторожен в своих критических статьях. Его "Письма о русской поэзии", печатавшиеся из месяца в месяц в "Аполлоне" (были изданы при большевиках отдельной книгой*) представляют собрание остроумных замечаний и критических оценок, прочесть которые не мешало бы никому из поэтов.

-----

* Изд. Центр. Коопер. Из-ва "Мысль", 1922 и 1923, с введением Георгия Иванова.

И похвалить, и выбранить он умел с исчерпывающим лаконизмом и, я бы сказал, с изящной недоговоренностью.

Еще известнее он как теоретик поэзии антисимволист, создатель литературной школы, учивший молодых наших пиитов писать стихи, ментор "Цеха поэтов". Новизна его с этой точки зрения даже преувеличена. На самом деле, отталкиваясь от символизма, свою поэтику Гумилев не определял положительными признаками, его "акмеизм" сводился к указаниям на то, чего, по его мнению, *не надо* допускать в поэзии, т.е. определяется отрицательно. Во всяком случае, самый термин — небезусловен: "акмэ" (с греческого "вершина", предельное заострение), по существу — не путь к школьной новизне: ведь слово всегда ложно, в идеале, достигать наивысшей выразительности, в любой поэзии.

Вот почему под флагом "акмеизма" могли выступать такие ничем друг на друга не похожие поэты, как Городецкий и Осип Мандельштам, Ахматова и тот же Гумилев: их связывает общее отношение к "изреченному слову", но не стиль. Из мира нездешних сущностей Гумилев звал поэтов обратно к земной реальности и, следовательно, к предметным образам, прочь от подобий с неясным потусторонним содержанием. Но это его несогласие с Андреем Белым и Вячеславом Ивановым (прежде всего) не есть еще новая концепция поэзии.

Так же верно и другое: отрицание символизма, навеянного декадентским Западом "конца века", восстанавливало прерванную традицию, возвращало русское слово к отечественным истокам. Реалистическая всем своим погружением в имманентный мир русская поэзия, не выносящая искусственности метафорических эффектов, не могла не захиреть от привитой ей трансцендентности и мистики. Расти дальше в атмосфере магии и теософских вещаний было трудно. Роль Гумилева тут несомненна. И конечно, отнюдь не Блок и не Вячеслав Иванов — зачинатели нашей поэзии XX-го века (с советской вкупе, несмотря на "социалистический реализм" и маяковщину), а именно — стихотворцы, прошедшие "Цех поэтов".

Сам Гумилев в первой книжке "Аполлона" за 1913 год так сказал об "акмеизме": "Русский символизм направил свои главные силы в область неведомого. Попеременно он братался то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом. Между тем, непознаваемое по самому смыслу этого слова нельзя познать... Все попытки в этом направлении — нецеломудренны. Детски-мудрое, до боли сладкое ощущение собст-

венного незнания – вот то, что нам дает неведомое" (здесь Гумилев как бы заимствует мысль у богослова XV века Николая Кузанского: *doctu ignoratio*). "Разумеется, познание Бога, прекрасная дама Теологии, остается на своем престоле, но ни низводить ее до степени литературы, ни литературу поднимать в ее алмазный холод акмеисты не хотят". "Романский дух, – говорит он дальше, – слишком любит стихию света, разделяющую предметы, четко вырисовывающую линию; эта же символическая связанность всех образов и вещей, изменчивость их облика, могла родиться в туманной мгле германских лесов... Новое течение... отдает решительно предпочтение романскому духу перед германским".

Городецкий, разделявший взгляды Гумилева из приверженности к народно-русскому стилю, так дополнил его размышления о символизме: "Борьба за *этот* мир, звучащий и красочный, имеющий формы, вес и время, за нашу планету Землю... После всяких "неприятий" мир бесповоротно принят акмеизмом во всей совокупности красот и безобразий"... Искусство есть прочность. Символизм принципиально пренебрегает этими законами искусства. Символисты старались использовать текучесть слова... усиливая ее всеми мерами и тем самым нарушили царственную прерогативу искусства – быть спокойным во всех положениях"...

Гумилев тут же, помнится мне, приводил переведенные им строки Теофила Готье [12] –

Созданье тем прекрасней,
Чем взятый матерьял
Бесстрастней, –
Стих, мрамор иль металл!

Замечу к слову, что Готье был для него идеалом поэта. В девятом выпуске "Аполлона" за 1911 год он поместил восторженную статью о французском парнасце, которого усердно переводил.

Гумилев настолько восхищался французским Учителем, что хотел быть похожим на него и недостатками. Готье не понимал музыки. Не раз говорил мне Николай Степанович не без гордости, что и для него симфонический оркестр не больше, как "неприятный шум".

Для "Аполлона" его мысли, прочь от туманной символики, не явились новостью. Первым высказал их несколькими

годами раньше, хотя обращался не столько к поэтам, сколько к прозаикам, один из ближайших ко мне аполлоновцев – М.А. Кузмин. В 1910 году в "Аполлоне" появилась его статья, озаглавленная "О прекрасной ясности". Она звучит и теперь, через полвека без малого, что была написана как наставление, к которому следовало бы прислушаться многим из русских авторов и в наши дни. "Оглядываясь, мы видим, – говорит Кузмин, – что периоды творчества, стремящегося к ясности, непоколебимо стоят, словно маяки, идущие к одной цели, и напор разрушительного прибоя придает только новую глянцевитость вечным камням и приносит новые драгоценности в сокровищницу, которую сам пытался низвергнуть. Есть художники, несущие людям хаос, недоумевающий ужас и расщепленность своего духа, и есть другие, дающие миру свою стройность. Нет особенной надобности говорить, насколько вторые при равенстве таланта, выше и целительнее первых"...

Самым парадоксальным из основоположников акмеизма был Осип Мандельштам; он изменил ему в конце творческой жизни для поэзии менее всего созвучной кузминскому "кларизму", но еще в 22-м году, следуя за Гумилевым, написал статью "О природе слова"*, в которой подымает на смех речевые неясности поэтической символики и мистики. Вот эта злая характеристика "литургического слова" символистов: "Все преходящее есть только подобие. Возьмем, к примеру, розу и солнце, голубку и девушку. Ничего настоящего, подлинного. Страшный контреданс "соответствий", кивающих друг на друга. Вечное подмигивание. Ни одного ясного слова, только намеки, недоговаривания. Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой... Жорж Данден открыл на старости лет, что он говорил всю жизнь прозой. Русские символисты открыли такую же прозу, изначальную, образную природу слова. Они запечатали все слова, все образы, предназначив их исключительно для литургического употребления. Получилось крайне неудобно – ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь. Человек больше не хозяин у себя дома. Ему приходится жить не то в церкви, не то в священной роще друидов, хозяйскому глазу человека не на чем отдохнуть, не на чем успокоиться. Вся утварь взбунтовалась. Метла просится на шабаш, печной горшок не хочет больше варить, а

-----

* "Истоки", 1922.

требует себе абсолютного значения (как будто варить не абсолютное значение)..."

Все это очень близко к тому, что проповедовал Гумилев на собраниях "Цеха поэтов". Они возникли вскоре после того, как начал издаваться "Аполлон" (в конце 1909 года)[13] и устраивались Гумилевым и Городецким то у них на дому, то у Михаила Леонидовича Лозинского, секретаря "Аполлона" (после ухода Зноско-Боровского), прекрасного поэта, переводчика Данте, незаменимого помощника моего в журнальной работе, то – еще где-то, и носили характер тесных кружковых сборищ. Если память не изменяет мне, в их первоначальный состав входило человек двенадцать. Кроме самого Гумилева и Городецкого, "синдиков", Дм.В. Кузьмин-Караваев (умерший два года тому о.Дмитрий, еще в России он перешел в католицизм и принял сан священника; он считался в "цехе" казначеем), его жена, урожденная Пиленко, Елизавета Юрьевна (в эмиграции ставшая матерью Марией и мученически погибшая в Германии), Анна Ахматова, М.Л. Лозинский, гр. В.А. Комаровский, Василий Гиппиус (автор замечательной работы о Гоголе), Пяст, М.Л. Моравская, Нарбут, Зенкевич, Осип Мандельштам и, несколько позже, Георгий Иванов. Никаких особых докладов на этих собраниях не читалось. Все ограничивалось чтением стихов и критическим разбором, причем Гумилев проводил свою "акмеистическую" точку зрения на качество прочитанных строчек. Как главное требование выдвигалась их смысловая ясность, определенность без тумана намекающих слов и двоящихся понятий, столь любезных символистам. Гумилев корил их стиль эпиграмической строкой:

Некто, некогда, нечто, негде узрел...

Журнал Цеха – "Гиперборей" выходил всего два года (1911 и 1912).[14] Вспоминается несколько тонких выпусков, находивших у "цехистов" горячий отклик. Собрания продолжались и после революции, при большевиках, в обновленном составе. Петербургский "Дом искусств" предоставил Гумилеву студию, куда девицы и юноши потекли толпой "учиться писать стихи". Гумилев в качестве верного последователя Валерия Брюсова все больше верил, что работа над стихом, упражнение, технический опыт, словом – ремесло поэзии, восполняет недостаток того, что принято называть вдохновением. Но эта несомненно хорошая школа для самокритики и для выработки стилистических приемов, не могла, конечно, заменить того, что дается подсознательным творческим процессом.

О результатах студийной работы после революции я судить не могу. Знаю о ней, и то весьма приблизительно, с чужих слов, со слов одной из бывших "студиек", моей парижской знакомой. По-прежнему молодые поэты читали стихи, которые критически обсуждались, а Гумилев высказывал свое мнение "мэтра". Моя знакомая назвала мне несколько имен из неофитов Студии: Ирину Одоевцеву (исключительно одаренную), Н.Оцупа, Н.Берберову, Рождественского, А.Евреинову-Кашину, В.Лурье.

Курьезное совпадение. Тотчас после "Февральской", в апреле 1917 года, я уехал из Петербурга в Крым, будучи уверен, что никогда не вернусь, и предоставил журнальное помещение "Аполлона" на Разъезжей улице и мою личную квартиру на Ивановской – со всем, что в них оставалось, в полное распоряжение (через секретаря редакции Лозинского) аполлоновцам. Насколько мне известно, чуть ли не первыми переехали в мою квартиру Ахматова со своим другом – Шилейко, ученым ассириологом, сотрудником "Аполлона", давно и безнадежно, как мне казалось, ее любившим. Они въехали, а затем в той же квартире, по возвращении из Лондона (зимой 1918 года), поселился будто бы Гумилев, женившийся перед тем на Энгельгарт. Но молодая чета не прожила в моих комнатах до трагической смерти Николая Степановича. В наступившие голодные и холодные года большевики вселили в бывшую мою квартиру каких-то прачек, которые постепенно сожгли, чтобы не замерзнуть, всю мебель и заодно, на растопку, библиотеку и личный архив (так дымом и ушла прошлая жизнь!).

В какой-то из своих статей (помнится, об Эмиле Верхарне) Георгий Чулков говорит: "Понять поэта значит разгадать его любовь. О совершенстве мастера мы судим по многим признакам, но о значительности его только по одному: любовь, страсть или влюбленность художника предопределяет высоту и глубину его поэтического дара". С этой точки зрения Гумилев – несомненнейший из поэтов нашего века: его сущность – любовь к поэзии, к женщине, к миру, к родине. Он не был мыслителем, не обладал умом, проникающим в глуби стоящих перед человечеством вопросов. Да и жизненный путь свой кончил он действительно слишком рано, никак не принадлежа к гениальным скороспелкам, как Лермонтов, например (с которым, однако, у него много общего – и гордыня, и *Minderwärtigkeitskomplex,* и любовная мука, и порывание к небу, и предчувствие ранней смерти). Как стихотворец он не был одарен сверх меры: рифмованные строки переходят у него частенько

в надуманное рифмотворчество. Но рядом с этим иногда целые стихотворения достигают прелести совершеннейших образцов русской лирики. Одним из таких стихотворений, прочитанных мною недавно*), я и закончу мои воспоминания о Гумилеве, верном аполлоновце, спутнике моем когда-то в России, – он был предан ей и умер так же, как жил, не изменив ее правде:

С той поры, как я, еще ребенком,
Стоя в церкви, сладко трепетал
Перед профилем девичьим, тонким,
Пел псалмы, молился и мечтал,

И до сей поры, когда во храме
Всемогущей памяти моей
Светят освещенными свечами
Столько губ манящих и очей,

Не знавал я ни такого гнета,
Ни такого сладкого огня,
Словно обо мне ты знаешь что-то,
Что навек сокрыто от меня.

Ты пришла ко мне, как ангел боли,
В блеске необорной красоты,
Ты дала неволю слаще воли,
Смертной скорбью истомила... Ты

Рассказала о своей печали,
Подарила белую сирень,
И зато стихи мои звучали,
Пели о тебе и ночь, и день.

Пусть же сердце бьется, словно птица,
Пусть же смерть ко мне нисходит... Ах,
Сохрани меня, моя царица,
В ослепительных таких цепях.

-----

* Оно извлечено из альбома Гумилева, подаренного им Б.Н. Анрепу, который их передал Г.П. Струве для опубликования ("Новый журнал, 1944, VIII).

СЕРГЕЙ МАКОВСКИЙ

НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ ПО ЛИЧНЫМ ВОСПОМИНАНИЯМ

Наследственность, бытовая среда, эпоха – вот слагаемые, создающие писателя. Но и от многого побочного, более или менее случайного, зависит итог – творческий подвиг писателя; эти биографические "случайности" мы называем обобщенно писательской судьбой. Тут на первом месте – любовь и любви писателя, в особенности – поэта.

Гумилев-поэт – явление многогранное, его поэзия сложна, как вся создавшая ее эпоха, когда многое начиналось в России и многое навсегда кончилось. В Гумилеве было много противоречивости, лучше сказать – двойственности: легкомысленным озорством просвечивает его трагичная неудовлетворенность, рисовкой, подчас цинизмом, окрашены нежнейшая лирика и драматические поэмы, и даже воинская его доблесть. И всегда грусть, часто несознательная, подспудная, сквозь иронию, насмешку и бравурную похвальбу, в мажорном ключе – затаенное предчувствие гибели.

По наследству от предков Гумилев не получил ни красоты, ни физической силы, ни цветущего здоровья. Казался почти хилым.[1] Может быть, это отчасти и вызвало ставшую его "второй натурой" позу мужественной неколебимости. Держался он навытяжку, поворачивая голову медленно и ступал твердо, всей ступней, хоть и косолапил слегка; говорил картавя, не выговаривая ни "л", ни "р", с остановками, словно задерживая слова, чтобы они звучали внушительнее.

Был ростом высок и строен, но лицом некрасив, хотя и не настолько, как рассказала недавно в "На берегах Невы", вспоминая о последних его годах в Петербурге, И.В. Одоевцева, бывшая его ученица. Я-то подружился с ним десятью годами

раньше, когда он не стриг волос по-солдатски под гребенку, а тщательно приглаживал густые светло-каштановые пряди. Бровей и тогда почти не было, но чуть прищуренные и косившие серые глаза с длинными светлыми ресницами, видимо, обвораживали женщин, успех у начинающих поэтесс, его учениц, он имел несомненно. Принимал их раза два в неделю в "Аполлоне", в секретарской, рядом с моим редакционным кабинетом, когда отсутствовал М.Л. Лозинский (секретарь редакции); подчас я оказывался невольной преградой для его дон-жуанской предприимчивости...

Николай Степанович Гумилев – уроженец Кронштадта. Отец его, Степан Алексеевич,[2] был военным врачом, служил в Балтийском флоте. Женат два раза. От первого брака осталась дочь Александра, по мужу Сверчкова. У нее была дочь Маруся, а сына ее, Николая, все называли "Колей маленьким"; был он юношей мечтательным и сумасбродным и отличным наездником (с ним в 1907 году путешествовал Николай Степанович в Африку).[3]

Н.Гумилев – младший сын от второго брака Степана Алексеевича с Анной Ивановной Львовой, происходившей из семьи мелкопоместных дворян Тверской губернии Бежецкого уезда.[4] Старшего брата звали Дмитрием, он женился на Анне Андреевне Фрейганг.

Родовое именьице называлось "Слепнёво" (в пятнадцати верстах от города Бежецка), полученное Анной Ивановной и старшей ее сестрой Варварой (в замужестве Лампе) по наследству от отца их, "адмирала торгового флота" в отставке.

По рождении младшего сына, Николая, 16 апреля 1886 г., отец приобрел особнячок в Царском Селе и перебрался в него с семьей в чине "статского советника". Раннее детство поэта прошло в Царском. Девяти лет он был переведен в петербургскую гимназию Гуревича (1895 г.), а еще через три года, когда семья перебралась на Кавказ, в Тифлис, двенадцатилетнего поэта определили в тифлисскую гимназию: пробыл он в ней шесть лет,[5] учился плохо, в семнадцать лет едва добрел до шестого класса. Зато в 1902 году вышло в "Тифлисском Листке" его стихотворение – "Я в лес бежал из городов". Помещал он и раньше стихи (правда, слабые) в разных гимназических журнальчиках.

Возвратясь великовозрастным гимназистом в Царское село (1903 г.), Николай Степанович не без труда окончил царско-

сельскую Николаевскую гимназию (1906 г.), где еще директорствовал тогда Иннокентий Анненский, сыгравший такую роль в дальнейшей жизни поэта. Получив аттестат зрелости, Гумилев поехал в Париж.

Я не убежден, что Гумилев успел до этого времени сблизиться с Иннокентием Федоровичем как многообещающий поэт, – так удостоверяет Н. Оцуп в своей книге "Современники". Мне кажутся явно приукрашенными эти "воспоминания": автору их и было-то в 1903 году всего девять лет от роду.[6]

Никогда не слышал я ни от Гумилева, ни от Анненского о давнишней их близости. Неправдоподобным кажется мне, чтобы Анненский, ревниво оберегавший свою музу от слуха "непосвященного" и особенно удрученный тогда службой, своим "постылым" и "тягостным делом", как он жаловался в письме кому-то из друзей, находил время для ничем еще своего таланта не выразившего гимназиста и, сразу отгадав его дарование, "с вниманием следил за его первыми литературными трудами" и убеждался постепенно, "что он имеет дело с подлинным поэтом". Не миф ли это? Если Иннокентию Федоровичу за эти годы и довелось читать стихи Гумилева, то вряд ли обратил он на них особое внимание. В первый сборник "Путь конквистадоров" Николай Степанович поместил лучшие из своих гимназических строк, но в них никак не чувствуется учебы у Анненского, хоть и сквозят они переводами Бодлера, Анри де Ренье, Верлена и др. Впоследствии Гумилев не включал эти "пробы пера" в свои сборники.

Во время своей первой поездки в Париж Гумилев начал было выпускать русский журнальчик "Сириус", где напечатал несколько своих стихотворений (под псевдонимом), затем он ненадолго съездил в Африку, о которой с детства грезил, в Египет и Судан и, возвратясь в Париж, издал вторую книжку стихов "Романтические цветы" (1907 г.).[7] Лишь два- три стихотворения заслуживают внимания в этой пейзажной по преимуществу лирике, хотя в ней и живет уже будущий поэт "дальних странствий" и любовных приключений – задор его парадоксальных метафор и звон романтических перебоев, влюбленность в парнасскую словесную живопись и зачарованность Левантом... Иностранных языков Гумилев не знал, но вслед за Валерием Брюсовым, Анненским, Коневским, гр. Василием Комаровским с помощью словаря и подстрочников приобщался к красочной пышности Леконта де Лилля, Эредиа, Бодлера, Теофиля Готье, прославлял их, переводил ревностно, особенно – послед-

него (позже выпустил отдельной книжкой "Эмали и камеи", – 1914 г.).

Тогда же сочинил он первые рассказы прозой – "Тень от пальмы"; написаны они в 1907 году, первые три – посвящены Анне Андреевне Горенко, его будущей жене (Ахматовой). Ею он увлекался давно, еще гимназистом. Была она тремя годами моложе, родилась на Большом Фонтане, под Одессой. Отец ее был инженер-механик. Ребенком ее отвезли родители в Царское Село (1903 г.) и определили в женскую гимназию, где она и училась до шестнадцати лет, но окончила среднее образование в Фундуклеевской гимназии в Киеве (1907 г.), куда перебралась семья Горенко. В Киеве же поступила Анна Андреевна ненадолго на Высшие Женские курсы; наконец, в 1907 году переехала она с семьей опять на север и поступила на Петербургские литературные курсы Раева.

Так коротко говорит о своей юности Ахматова в предисловии к избранным своим стихам, вышедшим в 1961 году. Следовательно, в Царском Селе, девочкой, она могла встречать Гумилева, после приезда его из тифлисской гимназии, с 1903 до 1906 г. Вероятно, в 1907 году летом Гумилев съездил к Горенко на берег Черного моря, под Севастополем. Там, близ древнего Херсонеса, обычно проводили Горенко летние месяцы. Тогда-то, вероятно, и стал Николай Степанович подумывать о женитьбе на Анне Андреевне... Однако долго не решался.

Ахматова с молодых лет писала стихи, но из скромности редко кому их показывала. К тому же Гумилев, которого она сразу полюбила ("как сорок тысяч сестер", – из ее стихотворения "Гамлет"), не сочувствовал ее писательству, "не женское это дело", – заявлял он (не дело для его жены, во всяком случае: в любви он был эгоистом безусловным). Вероятно, между ними уже тогда началась глухая борьба. Вспоминая одно из еще добрачных свиданий с Гумилевым, Ахматова не удержалась от признания:

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот.
Я сбежала, перил не касаясь,
И бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: "Шутка
Все что было. Уйдешь, я умру".
Улыбнулся спокойно и жутко,
И сказал мне: "Не стой на ветру".

А вот, после их последней встречи пятью годами позже, ставшая знаменитой ахматовская строфа:

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки...

Печататься в серьезных журналах Гумилев жене "не позволял"; после их брака мне стоило много усилий уговорить Анну Ахматову поместить несколько стихотворений в "Аполлоне" (1910).

В 1907 году Николай Степанович уже провозглашал себя, хоть и без особого права, "мэтром", выпустил две книжки стихов и готовил третью и четвертую: "Жемчуга" и "Чужое небо".[8] Многие из более зрелых произведений в этих книгах были хорошо известны "царскосельскому Малларме" Анненскому.

Первое чтение Гумилевым своих "Капитанов", поэмы, навеянной Бодлером и Анри де Ренье, состоялось при мне. Анненскому понравился буквенный звон этих стихов: звуки разлетающиеся, как брызги морских волн, гремящая инструментальная насыщенность рифмованных строф:

И, взойдя на трепещущий мостик,
Вспоминает покинутый порт,
Отряхая ударами трости
Клочья пены с высоких ботфорт,

Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так, что сыплется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет.

Гумилев был тогда "своим человеком" у Анненских и запросто приводил к ним своих друзей и знакомых.

Я познакомился с Гумилевым 1-го января 1909 года, на вернисаже петербургской выставки – "Салон 1909 года", устроенный мной в помещении музея Первого кадетского корпуса (бывшего Меншиковского дворца). Гумилев вернулся перед тем из Парижа; проживая вместе с матерью и младшим братом Дмитрием в Царском, он поступил в Петербургский университет (на романо-германское отделение филологического факультета).[9]

Он был в форме: в длинном студенческом сюртуке "в талию", с высоким темносиним воротником (по моде того времени). Подтянутый, тщательно причесанный (с пробором), совсем не отвечал он обычному еще тогда типу длинноволосого "студиозуса", но не проявлял и пошловатости "белоподкладочника". Он был нарядно независим в движениях, в манере подавать руку.

С Гумилевым сразу разговорились мы о поэзии и о проекте нового литературного журнала; от многих писателей уже слышал он о моем намерении "продолжить" дягилевский "Мир Искусства". Тут же поднес он мне свои "Романтические цветы" и предложил повести к Иннокентию Анненскому. Возлагая большие надежды на помощь Анненского писательской молодежи, Гумилев отзывался восторженно об авторе "Тихих песен" (о котором, каюсь, я почти еще ничего не знал).

Гумилев стал ежедневно заходить и нравился мне все больше. Нравилась мне его спокойная горделивость, нежелание откровенничать с первым встречным, чувство достоинства, которого, надо сказать, часто не достает русским. Нас сближало, несмотря на разницу лет, общее увлечение французами-новаторами и вера в русских модернистов. Постепенно Гумилев перезнакомил меня со своими приятелями – Алексеем Толстым (в то время он писал только стихи), с Ауслендером, Городецким... Михаила Кузмина я встречал и раньше.

Спустя немного времени, когда улеглась первая выставочная суетня, я приехал, помнится, – с целой компанией молодых людей – к тому, которого впоследствии, в "Колчане", Гумилев назвал "последним из царскосельских лебедей", – к Анненскому.

Со времени отставки от директорства Иннокентий Анненский продолжал жить в Царском с семьей в им нанятом двухэтажном, выкрашенном в фисташковый цвет доме с небольшим садом. Первая комната прямо из сеней, просторная проходная гостиная (невысокий потолок, книжные этажерки, угловой диван, высоченные стенные часы с маятником и сипло гремящим каждые пятнадцать минут боем) выдавала свое "казенное" происхождение. В ней посетители задерживались редко, разве какое-нибудь литературное собрание. Направо была узкая темноватая столовая и очень светлый рабочий кабинет Анненского: полка во всю длину комнаты для томиков излюбленных авторов, фотографические учебные группы около бюста Эврипида.

Напротив, перед письменным столом, в широкие окна глядели из палисадника тощие березки, кусты сирени и черемухи. Выше, по винтовой лесенке, обширная библиотека Анненского продолжалась в шкафных комнатах, среди которых была одна, "заветная", куда поэт мог уйти от гомона молодых гостей. По крайней мере, так я думал, замечая иногда "исчезновение" Иннокентия Федоровича и его возвращение, такое же внезапное, с лицом задумчиво-отсутствующим.

Анненский стоял в стороне от соревнования литературных школ. Не был ни с Бальмонтом, ни с Валерием Брюсовым в поисках сверхчеловеческого дерзания. Он был символистом в духе французских эстетов, но не поэтом-мистиком, заразившимся от Владимира Соловьева софийной мудростью. В известной мере был он и русским парнасцем, и декадентом, и лириком, близким к Фету, Тютчеву, Константину Случевскому и автору "Кому на Руси жить хорошо". Ему пришлось многое поднять на плечи, чтобы уравнять русскую поэзию с "последними словами" Запада.

Анненский оказал мне решающую моральную поддержку в эти первые полгода создавания "Аполлона". Я не хочу преуменьшать роли Гумилева в этот начальный период журнала. Он не только свел меня с Анненским, но радостно согласился во всем содействовать моей журнальной затее. Если и возникали между нами несогласия, например, о привлечении Блока в число "ближайших" сотрудников (по предложению Вячеслава Иванова), то Гумилев соглашался и с этим по-товарищески простодушно... Мы стали встречаться почти ежедневно. Завязалась моя дружба и с приятелями Николая Степановича – Алешей Толстым, Ауслендером, Городецким и остальною "молодежью", которой я раньше не встречал. Уже тогда Гумилев над ними главенствовал, держал себя авторитетом в области стихотворного умения, критиком непогрешимым. Мне нравилась его независимость и самоуверенное мужество. Чувствовалась сквозь гумилевскую гордыню необыкновенная его интуиция, быстрота, с какой он схватывал чужую мысль, новое для него разумение, все равно – будь то стилистическая тонкость или научное открытие, о каком прежде он ничего не знал,– тотчас усвоит и обратит в видение упрощенно-яркое и подыщет к нему слова, бьющие в цель, без обиняков.

Я прощал ему его наивную прямолинейность, так же, как и позу, потому что за мальчишеской его "простотой" проступало что-то совсем иного порядка – мука непонятости, одино-

кости, самоуязвленного сознания своих несовершенств физических и духовных: он был и некрасив, и неспособен к наукам, не обладал памятью, не мог научиться, как следует, ни одному языку (даже по-русски был малограмотен). И в то же время — как страстно хотел он — в жизни, в глазах почитателей, последователей и особенно женщин, быть большим, непобедимым, противоборствующим житейской пошлости, жалким будням "жизни сей", чуть ли не волшебником,чудотворцем. Чувствовалось в нем и сознание долга по отношению к своей стране.

Из всех моих спутников, в эти первые годы "Аполлона", Гумилев был наиболее энергичным и организующим помощником, ничуть не завистливым, благодушно-доброжелательным к "малым сим", хоть и неукоснительно строгим, когда от поблажек автору мог произойти ущерб поэзии. Он был принципиален, настойчиво негибок в восприятии чужого творчества и в воспитании собственной воли, в "победах" над встречавшимися на его пути женщинами и в любви к чему-то несказанному, что для него воплощалось в образе недосягаемо-прекрасной девушки, благословенной молодой колдуньи... И тут, в страстях Гумилева и в его женолюбивом романтизме, начинался другой Гумилев, тот, который оставил глубокий след в своей лирике и лирических драмах и в насыщенной волшебством Востока прозе.

С отрочества, видимо, развил он свою волю к самоутверждению, к игре в поэта властного, все по-своему познающего, в повелительного почти-чародея. У поэта-чародея не должно было быть ни оседлости, ни удовлетворенной самоограниченности супружеской любви, он "пленяет и покоряет", на все смеет дерзнуть, уходит от жалкой действительности и скитается в странах неведомых, в неоткрытых "Америках", по землям и морям еще не загрязненным цивилизацией, в мирах первородного Адама, что сродни "нездешней отчизне"; в своем одиноком к ней восхождении он преображает явь чудом своего творчества, покоряя красивых девушек в предчувствии небесных гурий...

Этого Гумилева я почти не знал, когда мы приступили к общей редакционной работе. Лишь после нашумевшей в Петербурге дуэли его с Волошиным, с которым он дружил вначале, открылся мне этот второй его лик. Он еще не был тогда женат на А.А. Горенко; в "Романтических цветах" только намечался его задорно-фантастический эротизм.

Но пафос всепобедной мужественности, доводящей поэта

до демонического неистовства, выступал уже в рассказах, написанных после первой "Африки", лирической прозой. Недаром третий сборник его стихов "Жемчуга" (1907-1910) начинается с посвященного Валерию Брюсову стихотворения "Волшебная скрипка":

Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки,
У того исчез навеки безмятежный свет очей.
Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
Бродят бешеные волки по дороге скрипачей...

А вот последние строки этого, написанного уже в предвидении смерти, восьмистопного хорея (с женской цезурой после четвертой стопы):

На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ,
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!

Так не только писалось ему смолоду, так хотел он жить! Но в жизни, на самом деле, мечтал он не разрушать, а творить, совершенствовать свое искусство и учить, покорять, вызывать к себе поклонение.

Всем нам, однако, самоуверенное тщеславие Гумилева только помогало в общем сотрудничестве. Себя в большинстве случаев он "плохо слышал", но других умел ценить и наставлять с удивительно тонким беспристрастием. Я понял это и меня не смущало ироническое отношение к нему аполлоновцев. Не удалось и Вячеславу Иванову (только позже оценившему автора "Огненного столпа") убедить меня не поручать ему в "Аполлоне" "Писем о русской поэзии". Будущее доказало мою правоту. Вряд ли кто-нибудь сейчас, полувеком позже, станет оспаривать критическое "шестое чувство" Гумилева. Его промахи были редки. С формальной точки зрения, во всяком случае, прогнозы его оказались верны. Умнейший и самый пронзительный из русских ценителей поэзии, Владислав Ходасевич в своем "Некрополе" так отзывается об его критике: "Он обладал отличным литературным вкусом, несколько поверхностным, но в известном смысле непогрешимым. К стихам подходил формально, но в этой области был и зорок, и тонок. В механику стиха он проникал, как мало кто".

Тогда, еще перед выходом первой книжки "Аполлона", выяснилась еще одна задача для дела успешного объединения поэтов. О ее разрешении больше всех заботился Вячеслав Иванов. Он давно мечтал собрания на его "башне" (которые отни-

мали много времени и становились непосильной обузой для его скромного бюджета) приспособить к какому-нибудь другому литературному очагу. И тут Гумилев со своей "молодежью" очень делу помог. Несмотря на несогласие с Вячеславом Ивановым в отношении целей поэзии и самого стиля российского словотворчества, он принял деятельное участие в создании "Общества ревнителей художественного слова" при "Аполлоне".

В сущности, это общество и создало тот литературный фон, на котором разроссся журнал. Учреждение такого общества вовсе не было делом простым в то время – усмирения Столыпиным "первой" революции. Тут пригодились мои связи в бюрократическом мире. Мы отправились втроем в градоначальство: Анненский, Вячеслав Иванов и я. Все было улажено в несколько минут (я хорошо знал тогдашнего градоначальника).

Тотчас начались поэтические собрания Общества уже в редакции "Аполлона", и на них успел выступить несколько раз с блеском Иннокентий Анненский. Тогда же был избран нами, членами-учредителями Общества, возглавляющий комитет из шести писателей. Кроме нас троих, вошли в него Блок, Михаил Кузмин и Гумилев (когда Анненского не стало, его заменил профессор Зелинский, а несколько позже к нам присоединился профессор Федор Браун). Все это – без всяких личных заминок, отчасти благодаря Гумилеву. Общество сразу расцвело.

Тут, кстати, во имя восстановления исторической точности, необходимо исправить более чем неточность одного из биографов Гумилева – Глеба Струве. В своей вышедшей в 1952 году книжке, озаглавленной "Неизданный Гумилев", он так излагает учреждение "Общества ревнителей художественного слова": "По почину Гумилева в Петербурге, под руководством Вячеслава Иванова и при ближайшем участии Н.В. Недоброво и В.А. Чудовского, была организована "Академия стиха", позднее переименованная в "Общество ревнителей художественного слова".

Не понимаю, почему понадобилось Глебу Струве (в 1952 году) переиначивать ход событий, еще памятных многим петербуржцам. Ума не приложу. Если для того, чтобы не упоминать имени Анненского и моего, в угоду каким-то соображениям, то проще было совсем не говорить о том, как создалась "Поэтическая академия" при "Аполлоне". Ведь В.Чудовский появился в журнале больше чем на год позже учреждения Общества, лишь после того, как ушел первоначальный секретарь журнала Е.А. Зноско-Боровский и был заменен М.Л. Лозинским (с

которым свел меня тот же Гумилев). Царскосел Н.В. Недоброво, насколько я помню, стал появляться в "Обществе ревнителей" уже после смерти Анненского.

Скажу кстати, что и Струве, и Н.Оцуп (хорошо осведомленные о Гумилеве и о самом тесном его участии в "Аполлоне", целых восемь лет!) упоминает лишь вскользь о его сотрудничестве со мной, умалчивая почему-то и об очень существенных событиях в жизни поэта, например — о столкновении его с Максимильяном Волошиным (зимой 1909 года) из-за выдуманной Волошиным "Черубины де Габриак", Дмитриевой (о чем я подробно рассказал в "Портретах современников").

Весной 1910 года Николай Степанович женился на Анне Андреевне Горенко и увез жену в Париж. В Париже они отдались всей душой музеям города-светоча и французской литературе. Он готовил к печати "Жемчуга".[10] Осенью 1910 года, на обратном моем пути из Парижа в Петербург, случайно оказались мы в том же международном вагоне. Молодые тоже возвращались из Парижа, делились впечатлениями об оперных и балетных спектаклях Дягилева.[11]

Под укачивающий стук вагонных колес легче всего разговориться по душе. Анна Андреевна, хорошо помню, меня сразу заинтересовала, и не только как законная жена Гумилева, повесы из повес, у кого на моих глазах столько завязывалось и развязывалось романов "без последствий", но весь облик тогдашней Ахматовой, высокой, худенькой, тихой, очень бледной, с печальной складкой и атласной челкой на лбу (по парижской моде) был привлекателен. По тому, как разговаривал с ней Гумилев, чувствовалось, что он полюбил ее серьезно и горд ею. Не раз до того он рассказывал мне о своем жениховстве. Говорил и впоследствии об этой своей настоящей любви... с отроческих лет.

В этот год мы встречались часто. Драма их любви стала развиваться на моих глазах... Женившись, я поселился тоже в Царском, познакомил Ахматову с моей женой, постоянно видел Гумилевых в эту напряженно-деятельную зиму. Когда Николай Степанович, после года приблизительно брачной жизни опять уехал в дальнее странствие,[12] Анна Андреевна как-то зашла к нам, читала стихи. Она еще не печаталась "всерьез" (были помещены ее стихи под псевдонимом лишь в какой-то киевской газете и в парижском "Сириусе"), Гумилев "не позволял".[13]

Прослушав несколько стихотворений, я тотчас предложил

поместить их в "Аполлоне". Она колебалась: "Что скажет Николай Степанович, когда вернется?" Он продолжал быть решительно против ее писательства. Но я настаивал: "Хорошо, беру на себя всю ответственность. Разрешаю вам говорить, что эти строки я попросту выкрал из вашей тетрадки и напечатал самовластно". Так и условились... Стихи Ахматовой, как только появились в "Аполлоне", вызвали столько похвал, что Гумилеву, вернувшемуся из Абиссинии, оставалось только примириться с фактом. Позже он первый восхищался ею, считал ее лучшей своей ученицей.

Только 15 июля 1911 года, в день именин Владимира Дмитриевича Кузьмина-Караваева (женатого на Екатерине Дмитриевне Бушен), в его усадьбе Борисково (по соседству со Слепневым), Гумилев представил свою молодую жену родным и друзьям. У Кузьминых-Караваевых была дочь Екатерина и три сына – Дмитрий (принявший после революции католическое священство), Борис и Михаил. Жена Дмитрия – Елизавета Юрьевна, рожденная Пиленко, художница и поэтесса, автор "Скифских черепков" – высокая, румяная, в полном обаянии своей живой поэтической натуры – была несколькими годами раньше одним из первых увлечений Гумилева, а позже – одной из первых его "цехисток".*

Тогда же в Борисково приехали из Слепнева и две дочери А.Д. Кузьмина-Караваева – Мария и Ольга, приходившиеся по матери двоюродными племянницами Гумилеву, знавшие его с детства и с ним "на ты". Обе сестры – прелестные, светловолосые – как бы дополняли друг друга. Маша, спокойная, тихая, цветущей внешности русская красавица, с чудесным цветом лица, и только выступавший по вечерам лихорадочный румянец говорил о ее больных легких. Ольга (ныне княгиня Оболенская) более оживленная, более блестящая, очаровывала всех своим большим и очень красивым голосом.

———

* Она была еще гимназисткой, когда Гумилев, изображавший из себя рокового обольстителя, написал обращенные к ней стихи:

Это было не раз, это было не раз
В нашей битве глухой и упорной:
Как всегда, от меня ты теперь отреклась,
Завтра, знаю, вернешься покорной.
Но зато не дивись, мой враждующий друг,
Враг мой, схваченный тайной любовью,
Если стоны любви будут стонами мук,
Поцелуи окрашены кровью...[14]

Приехали в Борисково и соседи Неведомские – Владимир Неведомский, владелец Подобина, со своим братом Николаем, и его молодая жена Вера Алексеевна, рожденная Королькова, художница, ученица Д.Н. Кардовского, знаменитая в Петербурге и в Тверской губернии своими удивительными светло-зелеными глазами и рыжими волосами редкого золотого отлива.

Вместе с тонкой, горбоносой, немного таинственно замкнутой Анной Андреевной – какой женский цветник для соблазна влюбчивого Гумилева!

Слепнево никакими деревенскими красотами не отличалось. Скромная усадьба: дом деревянный обычного типа во вкусе бесстильных построек конца прошлого века.Терраса садового фасада выходила на круглую поляну, посреди рос высокий дуб... "Единственного в этом парке дуба", – писала Ахматова. Старый парк был окружен земляным валом. По боковой стороне его шла дорога. В одном направлении вела она в Борисково Кузьминых-Караваевых, в другом – в Подобино к Неведомским. За дорогой, отдельно от парка огород и фруктовый сад.

Анна Андреевна не слишком пришлась ко двору в провинциальном уюте слепневской усадьбы. Вся уже отдаваясь поэзии, русской и иностранной, и во власти своей только пробудившейся музы, она любила уединяться в березовые рощи и васильковые поля, не принимала участия в "играх", что затевал ее муж. После Черного моря и Днепра и Царского с несравненным дворцовым парком Ахматовой не слишком нравилось великорусское захолустье с ржаными нивами, кузницей рядом, речкой в низких берегах и грибной сыростью чернолесья. Вот как рисует она в том же предисловии к своим избранным стихам пейзаж приютившего ее деревенского уголка: ..."Это – не живописное место: распаханные ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, "воротца", хлеба, хлеба... Там я написала почти всю "Белую стаю"...*

Но хуже было то, что она сразу стала ревновать мужа. Не

---

*Гумилев писал о Слепневе:

Дом косой, двухэтажный,
И тут же рига, скотный двор,
Где у корыта гуси важно
Ведут немолчный разговор.

щадил он ее самолюбия. Любя и его, и его стихи, не умела она мириться с его мужским самоутверждением. Гумилев продолжал вести себя по-холостяцки, не стесняясь присутствием жены. Не прошло и одного брачного года, а он уж с мальчишеским задором увивался за всеми слепневскими девушками.

Ахматова рассказала свою ревность в стихах:

...Рассветает. И над кузницей
Подымается дымок.
А со мной, печальной узницей,
Ты опять побыть не мог.

Для тебя я долю хмурую,
Долю-муку приняла.
Или любишь белокурую,
Или рыжая мила?

Как мне скрыть вас, струны звонкие!
В сердце темный, душный хмель.
А лучи ложатся тонкие
На несмятую постель.

И еще:

...Жгу до зари на окошке свечу
И ни о ком не тоскую,
Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, как целуют другую!

Если в этих стихах есть, как будто, намек и на Машу Кузьмину-Караваеву, то намек несправедливый: она-то, религиозная и рассудочно-строгая, цветущая на вид, но раненная неизлечимым недугом, менее всего была повинна перед Анной Андреевной. Гумилев относился к Маше с нежностью почти благоговейной, только притворялся повесой. К ней написано, как я узнал от художника Д.Бушена, двоюродного брата Маши, стихотворение "Девушке". Этот "портрет" появился позже в "Чужом небе". Он типичен для поэта начала века, говорившего о любви по-бальмонтовски — "будем, как солнце!". Стараясь всячески играть в героя-покорителя, Гумилев влюбился, однако, в Машу с необычной для него нежностью.

ДЕВУШКЕ

Мне не нравится томность

Ваших скрещенных рук,
И спокойная скромность,
И стыдливый испуг.
Героиня романов Тургенева,
Вы надменны, нежны и чисты,
В вас так много безбурно-осеннего
От аллеи, где кружат листы.
Никогда ничему не поверите
Прежде, чем не сочтете, не смерите,
Никогда никуда не пойдете,
Коль на карте путей не найдете.
И вам чужд тот безумный охотник,
Что, взойдя на нагую скалу,
В пьяном счастье, в тоске безотчетной
Прямо в солнце пускает стрелу.[15]

Совсем по-другому звучат позднейшие стихи, обращенные уже к памяти М.А. Кузьминой-Караваевой* – "Родос" (вошли также в "Чужое небо") :

...Наше бремя, тяжелое бремя:
Труд зловещий дала нам судьба.
Чтоб прославить на краткое время,
Нет, не нас, только наши гроба.

В каждом взгляде тоска без просвета,
В каждом вздохе томительный крик, –
Высыхать в глубине кабинета
Перед полными грудами книг.

Мы идем сквозь туманные годы,
Смерти чувствуя веянье роз,
У веков, у пространств, у природы,
Отвоевывать древний Родос... [16]

Почему "Родос"? Здесь приоткрывается другой лик Гумилева. Родос – символ ушедших веков, веков веры и рыцарского подвига, это цитадель "посвященных небу сердец", что не стремятся "ни к славе, ни к счастью". Эту вышнюю любовь поэт

* Она скончалась в самом начале 1912 г. в Италии, в Оспидалетти, 22-х лет от роду, похоронена в Бежецке, в монастыре.

воспевает, как слияние земли и неба, как видение волшебно-страдальческой красоты.

В одном из последних своих стихотворений ”Заблудившийся трамвай” (из ”Огненного столпа”) Гумилев так вспоминает ”Машеньку”, ирреалистически смешивая времена и места действия:

...А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон...
”Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!”

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла!

Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренной косой
Шел представляться императрице
И не увиделся вновь с тобой.

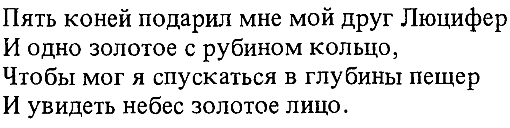
И в предпоследней строфе:

Верной твердынею православья
Врезан Исаакий в вышине,
Там отслужу молебен о здравье
Машеньки и панихиду по мне...

Мне кажется, что Машу находим мы и в Деве-Птице (написана тогда же, в 1917 году, когда Гумилев увлекался фольклором Бретани):

...И вдруг за ветвями
Послышался голос, как будто не птичий,
Он видит птицу, как пламя,
С головой милой, девичьей...

Но в образе этой птицы поэт видит не только обреченную на раннюю смерть Машу, а также и других ”райских птиц”, в которых преображал он девушек, вызывавших в нем сладостное мечтание и предчувствие рока. Уже свои ”Романтические Цветы” начинает он с ”Баллады”, похожей романтическим своим подъемом на предсмертную ”Деву-Птицу”:



Пять коней подарил мне мой друг Люцифер
И одно золотое с рубином кольцо,
Чтобы мог я спускаться в глубины пещер
И увидеть небес золотое лицо.

. . . .

Там на высях сознанья – безумье и снег,
Но коней я ударил свистящим бичом,
И на выси сознанья направил их бег
И увидел там деву с печальным лицом...

В этой "деве" мерещится и тогдашняя невеста его Анна Андреевна Горенко. И о своей последней парижской несчастной любви говорит он так же, как о трепещущей "птице райской" ("К синей звезде"):

И умер я... и видел пламя
Невиданное никогда,
Пред ослепленными глазами
Светилась синяя звезда.

. . . .

И вдруг из глуби осиянной
Вошел обратно мир земной,
Ты птицей раненой нежданно
Затрепетала предо мной...

Но тогда (первый год в Царском и в Слепневе) жене своей он отвечает на жалобы насмешливо-весело, называя ее "птицей подбитой":

Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.
Я думал забавницу,
Гадал – своенравницу,
Веселую птицу,певунью.

. . . .

Молчит – только ежится
И все ей неможется.
Мне жалко ее, виноватую,
Как птицу подбитую,

Березу подрытую
Над участью, Богом заклятую.

Ей же, однако, поздней, посвятил он совсем другие строфы. Портрет "Она" мог быть написан только с Ахматовой:

Я знаю женщину: молчанье,
Усталость горькая от слов,
Живет в таинственном мерцаньи
Ее расширенных зрачков.

Неслышный и неторопливый,
Так странно плавен шаг ее,
Нельзя назвать ее красивой,
Но в ней все счастие мое...

Трещина в их любви обозначилась с первого года брака. Они были слишком "разные". В плане поэтическом, может быть, только дополняли друг друга, но в жизни... С отрочества Гумилев мнил себя "конквистадором". После поездки в Африку пышным цветом расцвели его экзотические восторги, и так хотелось ему увлечь жену мечтой о далеком волшебстве мира, о красоте пустынь под небом южного полушария с созвездием "Креста", и о первобытном человеке, божественно-сильном, неистертом так называемой цивилизацией, живущем в согласии с природой и ее тайнами. От Анны Андреевны он требовал поклонения себе и покорности, не допуская мысли, что она существо самостоятельное и равноправное. Любил ее, но не сумел понять. Она была мнительно-горда и умна, умнее его; не смешивала личной жизни с поэтическим бредом. При внешней хрупкости была сильна волей, здравым смыслом и трудолюбием. Коса нашла на камень. Возвратясь из Слепнева в Царское, он только и мечтал умчаться поскорее в новое "странствие" и, недолго думая, исчез опять на несколько месяцев в Абиссинию. Вернулся с почти готовым к печати сборником "Чужое небо".

Тогда, после этого второго путешествия, впервые попал я к нему в царскосельский дом, где жили его мать, Анна Ивановна, и другие Гумилевы, в верхнем этаже. Молодые занимали четыре комнаты – в нижнем. Чтобы попасть на их половину, надо было пройти довольно большую пустынную гостиную (с окнами на улицу и на двор), где никто не засиживался. Первая комната, библиотека Гумилева, была полна книг, стоящих на полках и повсюду набросанных. Тут же – широкий диван, на

котором он спал. Рядом в темносиней комнате стояла кушетка Ахматовой. В третьей, выходившей окнами во двор, висели полотна Александры Экстер, подарки ее Гумилеву. В этой комнате стояла мебель стиль-модерн, в остальных – старосветская мебель красного дерева, а вовсе не карельской березы, как вспоминает Г.Месняев в "Возрождении" № 119. Четвертая комната, окнами тоже во двор, служила Гумилеву рабочим кабинетом: мне запомнился поместительный письменный стол и стены, сплошь покрытые "абиссинскими картинами", среди которых были навешаны широкие браслеты слоновой кости.

Гумилев был еще "одержим" впечатлениями от Сахары и подтропического леса; с ребяческой гордостью показывал он свои "трофеи", вывезенные из "колдовской" страны: слоновые клыки, пятнистые шкуры гепардов и картины-иконы на кустарных тканях, некое подобие большеголовых романских примитивов. Только и говорил он об опасных охотах, о темнокожих колдунах, о крокодилах и бегемотах – там, в Африке, доисторической родине человечества, что висит "исполинской грушей" на дереве древней Евразии.

Анну Андреевну не очень увлекала эта экзотическая бутафория. На жизнь она смотрела проще и глубже. К тому же во время отсутствия мужа она сама выработалась в поэта вдохновенно-законченного, хоть и по-женски ограниченного собой, своею болью. Гумилев должен был признать право ее на звание поэта, но продолжал раздражаться все больше ее равнодушием к его конквистадорству. Никакой блеск собственных его рифм и метафор не помог убедить ее, что нельзя вить семейное гнездо, когда на очереди высокие поэтические задачи. Помощница нужна ему, нужен оруженосец, спутник верный, любовь самоотреченная нужна, а не женская, ревнивая, к себе самой обращенная воля. Что делать? Он даже готов покаяться, обуздать свой нрав, только бы чувствовать ее частью самого себя, воплощенной грезой своей... Но она безучастна, хотя еще любит его, – чужда ему и завоеванной им славе. Стоя у догорающего камина и рассказывая о своих африканских приключениях, он горько осознает это:

...Древний я открыл храм из-под песка,
Именем моим названа река.
И в стране озер семь больших племен
Слушались меня, чтили мой закон.
Но теперь я слаб, как во власти сна,
И больна душа, тягостно больна.

Я узнал, узнал, что такое страх,
Заключенный здесь, в четырех стенах,
Даже блеск ружья, даже плеск волны
Эту цепь порвать ныне не вольны.
И тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.

Не помню, чтобы в это время он кем-нибудь сильно увлекался. Это были годы неистовой богемы в Петербурге, литературной кружковщины, борьбы поэтических направлений, возникновения всяких крайностей и пряностей и в живописи, и в театре, и в поэзии. Оглушительно трубили в свои рекламные трубы футуристы и кубофутуристы, "бубновые валеты" и "ослиные хвосты" и пр. Всюду можно было встретить Гумилевых, вместе и в одиночку, на маскарадных вечерах и в кабачках, особенно – в "Бродячей собаке" Пронина. В эту пору многие из бывавших в "Аполлоне" увлекались Ахматовой, уже знаменитостью, но не заметил я, чтобы она серьезно кем-нибудь увлекалась, как случилось позже... Анна Андреевна признавалась, что в угаре кабачка "Бродячей собаки" ей бывало приятно, с жалостью о нем вспоминает и в своей недавно опубликованной "Поэме без героя". Однако это ночное "веселье" не упрочило ее близости с мужем, связь могла разорваться от первого "случая".

Зимой того же (1912-го) [17] года родился у них сын, крещен Львом. Тяжелые роды прошли ночью в одной из петербургских клиник. Был ли доволен Гумилев этим "прибавлением семейства"? От его троюродного брата Д.В. Кузьмина-Караваева (в священстве отца Дмитрия) я слышал довольно жуткий рассказ об этой ночи. Будто бы Гумилев, настаивая на своем презрении к "брачным узам", кутил до утра с троюродным братом, шатаясь по разным веселым учреждениям, ни разу не справился о жене по телефону, пил в обществе каких-то девиц. По словам отца Дмитрия, все это имело вид неумно-самолюбивой позы, было желанием не быть "как все"...

После родов Анна Андреевна стала готовить к печати "Белую стаю"[18] и вновь уединилась, а он выхлопотал себе командировку от Академии Наук – возглавляющим этнографическую экспедицию на Сомали. Но оставаться долго без влюбленности Гумилев не мог, и "случай" послал ему опять несчастливую любовь, девушку не менее красивую и умственно-яркую, чем прежние любви – Татьяну Александровну А.[19] Не берусь утверждать, что увлечение было взаимно... Во всяком случае,

опять, в третий раз, через Париж и Марсель, Гумилев отправился в африканское странствие.

"1913 год был решающим в судьбе Гумилева и Ахматовой, – говорил Н.Оцуп в своей книге "Литературные очерки", – она пережила сильное чувство к знаменитому современнику с коротким звонким именем". Это тоже вымысел. "Аполлон" не мог бы не знать, если бы что-нибудь подобное было. Ахматова только один раз зашла к Блоку по делу и об этом свидании написала стихи. Если в этот "решающий год" увлекалась кем-нибудь, то не "современником с коротким звонким именем". Она расставалась с мужем покорно и скорбно.

Вдали от жены и сына, в это путешествие, окончившееся для него неблагополучно, малярией, Гумилев как будто стосковался по жизни "дома", и не без волнения поспешил в Слепнево. Но тут определенно выяснилось, что разрыв наступил. В одном из наиболее ярких своих стихотворений – "Пятистопные Ямбы" ("Колчан") он так признается в своей печали от разрыва с женой:

Ты, для кого искал я на Леванте
Нетленный пурпур королевских мантий,
Я проиграл тебя, как Дамаянти,
Когда-то проиграл безумный Наль,
Взлетели кости, звонкие, как сталь,
Упали кости – и была печаль.

Сказала ты, задумчиво и строго:
"Я верила, любила слишком много,
А ухожу, не веря, не любя,
И пред лицом Всевидящего Бога,
Быть может, самое себя губя,
Навек я отрекаюсь от тебя.

Твоих волос не смел поцеловать я,
Ни даже сжать холодных, тонких рук.
И сам себе был гадок, как паук,
Меня пугал и мучил каждый звук,
И ты ушла, в простом и темном платье
Похожая на древнее распятье.

Наступило лето 1914 года. Война. Большинство аполлоновцев были мобилизованы, но почти все призванные, надев военную форму, продолжали работать по-прежнему, как-то "устраиваясь" в тылу. Один Гумилев, имевший все права, как "бело-

билетчик", не быть мобилизованным, решил во что бы то ни стало идти на войну. Он поступил вольноопределяющимся в Ее Величества лейб-гвардии Уланский полк.

Не раз встречался я с ним летом 1915 и 1916 гг., когда он приезжал с фронта в отпуск, гордясь двумя солдатскими "Георгиями" (золотой, 4-й степени) за отличие в боях. Он бывал в "Аполлоне", завтракал у меня, писал очередные "Письма о русской поэзии", посетил Слепнево, где подрастал Левушка.

В 1915 году – новое увлечение аполлоновцев, под влиянием Гордона Крэга, выписанного Художественным театром для постановки "Гамлета". Вместе с Сазоновым, режиссером и артистом Александринского театра, и его женой, Ю.Л. Сазоновой-Слонимской, я затеял кукольный театрик для тесного круга друзей. Большой двусветный зал в своем особняке на Английской набережной отдал нам на некоторое время дruживший со мной Ф.Гауш, художник-пейзажист. Решено было для начала поставить пьесу собственного изделия, поручив дело приятелю моему Фоме Гартману, небезызвестному композитору балета "Аленький цветочек". Обращаться с куклами "на нитках" никто из нас не умел, привлечен был специалист-кукольник, крестьянин, в семье которого сохранилась традиция этого театрального фольклора.

Спектакль прошел с успехом. На премьере собрался художественный "весь Петербург". Подготовлялась постановка новой пьесы. Мы мечтали о гетовском "Фаусте", которым прославился кукольный театр в Дрездене, а пока что сочинить пьесу для второго спектакля я попросил Гумилева, давно грезившего о своем "театре". Он взялся за дело с большим воодушевлением и в несколько недель состряпал марионеточную драму "Дитя Аллаха". Для музыкального сопровождения я пригласил начинающего композитора, москвича А.Лурье. Но дело, из-за оборота, который приняла война, на этом и застряло. Все же "Дитя Аллаха" было напечатано в "Аполлоне". Пьеса Гумилева, по совести говоря, мне не слишком нравилась. Она мало сценична, разговоров больше, чем действия, но некоторые пассажи забавно-остроумны и лирически ярки.

До того Гумилев уже испробовал свои силы драматурга в короткой мифологической трагедии, которую критика не заметила, "Актеон". Глеб Струве заявил, что "Актеон" никогда не был напечатан. Между тем я имел в руках третий выпуск "Гиперборея", [20] целиком посвященный гумилевскому "Ак-

теону" (издание "Цеха", 1915 г.). Мало того, эту поэму-трагедию, написанную под влиянием Иннокентия Анненского, я считаю большей удачей Гумилева, чем позднейшие лирические его трагедии: "Гондла" и "Отравленная туника".

Во время второго отпуска, после того, как он был произведен за отличие в боях в унтер-офицеры, Николай Степанович получил разрешение сдать экзамены на офицерский чин. Вскоре он был переведен из улан в Александрийские Ее Величества гусары прапорщиком. Новая форма ему нравилась, напоминала о царскосельском Пушкине. Весной того же года, в мае, получил он по своему желанию командировку от Временного правительства в русский экспедиционный корпус на Салоникский фронт. Путь лежал через Финляндию, Норвегию, Лондон, Париж, Марсель и т.д. Но с 17 февраля 1917 года изменилось многое не только в России. Союзники отказались от наступления в Эгейском море, и Гумилев, приехав из Лондона в Париж, был оставлен в распоряжении генерала Занкевича. Гумилеву было предложено принять другое назначение. Он избрал "месопотамский" или "персидский" фронт. Чтобы получить транзитные визы, надо было вернуться в Лондон за инструкциями военного начальства. Но в Париже он завяз... опять из-за несчастной любви! О ней рассказано им очень пламенно в стихах "К синей звезде" (впоследствии эти стихи вошли частью в "Шатер", частью в "Огненный Столп").

Целую зиму, забыв все на свете, он старался пленить красивую русскую девушку из дворянской семьи, рассказывая ей и стихами, и прозой о своих дальних странствиях и подвигах. Но и парижская "райская птица" оказалась рассудочно-осторожной. Предложение его она отвергла и предпочла бедному поэту статного, красивого и "вовсе обыкновенного" американца с достатком, за которого и вышла замуж. Действительность снова "одернула" поэта, Дон-Кихот не обрел Дульцинеи... Упорствуя, писал он ей одно объяснение в любви за другим, хотел верить чуду. И все-таки пришлось сдаться.

Грезя о неземном блаженстве, Гумилев говорит о своей страсти "без меры", что "печальней смерти, пьяней вина". Любовь стала для него "безумием", "дивной мудростью" и, обращаясь к девушке "с огромными глазами" и "с искусными речами", говорит он о вечном союзе с ней, соединяющем землю и ад и Божье небо:

Если ты могла явиться мне
Молнией слепительной Господней,

И отныне я горю в огне,
Вставши для небес из преисподней.

(Отсюда и заглавие последнего сборника "Огненный столп").

Независимо даже от силы его чувства к "Синей звезде", эта неудача была для него не только любовным поражением, она связывалась с его предчувствием близкой и страшной смерти:

Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из другой страны...
И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще...

Все же не надо преувеличивать значения "несчастной" парижской страсти Гумилева. Стихи "К синей звезде" искренни и отражают подлинную муку, однако, остаются "стихами поэта", и неосторожно было бы приравнивать их к трагической исповеди. Любовная неудача больно ущемила его самолюбие, но как поэт, как литератор прежде всего, он не мог не воспользоваться горьким опытом, дабы подстегнуть вдохновение и выразить в гиперболических признаниях не только свое горе, но горе всех любивших неразделенной любовью. С точки зрения формальной, стихи "К синей звезде" часто небезупречны, неудавшихся строк много. Но в каждом есть такие строки, что останутся в русской лирике.

Нежность и безысходная грусть, с легкой усмешкой по своему адресу, переходит то и дело в трагическое вещание. И трагизм этой любви – не в ней самой, а в том, что она неразлучна с мыслью о смерти. К смерти возвращается поэт со зловещим постоянством. Каждый день его "как мертвец спокойный"; он искупает "вольной скорбью"; он принимает одно, "не споря", – "тихий, тихий золотой покой, да двенадцать тысяч футов моря" над своей "пробитой головой"; он добавляет в другом стихотворении:

И не узнаешь никогда ты,
Чтоб в сердце не вошла тревога,
В какой болотине проклятой
Моя окончилась дорога.

И врывается в эту тему страшной смерти (невольно мере-

щится: предчувствие!) другая тема – тема возникающей из света, райски-прекрасной, но раненой птицы. Может быть не все почитатели Гумилева прочли внимательно одно из последних его стихотворений "Дева-Птица" – та, что среди строф "К синей звезде" появилась "из глубины осиянной". Тут родина ее определенно названа – долы баснословной Броселианы (т.е. баснословной страны из "Романов круглого стола", точнее – Броселианды), где волшебствовал Мерлин, сын лесной непорочной девы и самого дьявола.

Эта райская раненая птица, "как пламя" – больше, чем случайная метафора. В лирике Гумилева она занимает центральное место, вскрывая духовную глубину его; она светится сквозь все его творчество и придает, в конце концов, мистический смысл его поэзии, на первый взгляд такой внешне-выпуклой, красочно описательной, подчас и мишурно-блещущей. Чтобы отнестись так или иначе к моему пониманию Гумилева-лирика, необходимо задуматься именно над этим образом.

Очень сложно построена эта запутанная криптограмма в романтично-метерлинковском стиле (под влиянием "Романов круглого стола"). Но в конце концов разгадывание возможно, если сердцем почувствовать Гумилева, как лирика-романтика, влюбленного в свою Музу и ждавшего чуда – всеразрешающей женской любви. Дева-Птица – это его вдохновительница, духовная мать, и одновременно – та девушка, к которой он рвется душой, он, "пастух", не узнающий своей Музы, потому что встретил ее, еще "не родившись", как вещий поэт, а только беспечно поющий "песню своих веселий". В долах Броселианды лишь безотчетно подпадает он под ее чары и "что делает, сам не знает", убивая ее поцелуем. Но убитая им птица позовет его из другого, преображенного мира. Она-то и есть гумилевская настоящая Муза; его "поэтическое нутро" ни в чем так не сказалось, как в стихах о любви, приближающей сердце к вечности. Так было с первых "проб пера", с юношеских его песен. Хотя и стал он сразу в оппозицию к символизму, к "Прекрасной Даме" Блока, к волошинской "Царевне Таиах" и к "Царице Сивилле" Вячеслава Иванова, по существу потусторонний эрос у них общий. Но Гумилев был слишком гордо самолюбив, чтобы не "грести против течения".

Было, слов нет, много напускного в его повелительной мужественности, в героической патетике "Жемчугов" и "Шатра", в его отрицании метафизических глубин и "туманной мглы германских лесов". Гумилевская Птица родилась все-таки в мифической Броселианде... Были для него лишь известного рода са-

мозащитой гимны телесной мощи, бесстрашной борьбе с людьми и стихиями, гимны радостной отваге. На самом деле, физически слабый и предчувствовавший раннюю смерть поэт, с отрочества падкий на волшебства Денницы, но с совестью религиозной, оглядывающийся на Христа, поэт с упорной волей, но жалостливый и нежный, как Мерлин из Броселианды, – мечтал об одном, о вечном союзе со своей Вивианой...

Не буду перечислять стихотворений, где упорно повторяется тот же образ, тот же символ из "святая-святых" встревоженной души поэта, те же зовы к любви недостижимой, те же предчувствия безвременной смерти, та же печаль, переходящая в Отчаянье (это слово он пишет с прописной буквы), печаль броселианского "Пастуха", убившего поцелуем Деву, за что "злая судьба" не даст ему наслаждения, а "шестой конь", подаренный Люцифером, унесет во тьму, в смерть.

В Лондоне, в начале мая, представившись военному начальству, Гумилев навещал своего друга Н.Б. Анрепа, покупал игрушки Левушке, хлопотал о транзитных визах в Россию, приводил в порядок рукописи. Анрепу оставил целый архив. В архиве оказались служебные документы, георгиевские кресты, готовые к печати стихи "К вечерней звезде" и почти законченная рукопись "Отравленной туники".

Путь в Россию лежал на север – Норвегия, Белое море, Мурманск.

В Царском Селе все, как будто, оставалось по-прежнему, но Анны Андреевны там уже не было. Приходилось начинать новую жизнь в трудных условиях. Все же тогда энергичному писателю была еще возможность работать с известной независимостью. Гумилев стал сразу зарабатывать, читая литературные лекции в самых разнообразных учреждениях: в Тенишевском училище на Моховой, в Пролеткульте, в Балтфлоте, он возобновил Цех поэтов, куда стала стекаться молодежь. В это время он развелся с Анной Андреевной и женился на Асе, Анне Николаевне Энгельгардт, начинавшей писательнице – румяной, с пушистыми белокурыми волосами и голубыми наивными глазами. Сначала Гумилев поселился в квартире ее родителей (когда они уехали куда-то). Когда родилась у них дочь, Лена, он отослал жену с дочерью к своей матери, Анне Ивановне, в Слепнево, где легче было добывать продукты питания. Затем он переехал на мою бывшую квартиру на Ивановской улице, вероятно, с разрешения М.Л. Лозинского, секретаря "Аполлона", которому я предоставил право распоряжаться ею.

А.Н. Энгельгардт простодушно полюбила Гумилева, во всем подчинялась ему, после рождения дочери ухитрялась приезжать к нему из деревни, посещала изредка "Цех" (но не была на панихиде по нем, на которую пришел почти весь литературный Петербург, в том числе и Анна Ахматова). Анне Николаевне посвящен последний сборник стихов Гумилева "Огненный Столп".

За эти два петербургские года Гумилев выпустил еще три книги: "Мик", африканская поэма (1918), "Дитя Аллаха", арабская сказка (1918); кроме того, он обработал перевод поэмы "Гильгамеш" (вавилонский эпос) известного ассириолога Бориса Шилейко (1919).

Когда зимой 1920 года жизнь стала невыносимой в квартире на Ивановской от холода, Николаю Степановичу удалось переехать в "Дом Искусств", бывший дом Елисеева, на углу Невского и Мойки, где судьба соединила писателей, литературных и художественных деятелей, многих из состава сотрудников "Аполлона". За время пребывания Гумилева на фронте репутация его, как писателя, значительно выросла; он не чувствовал себя, вернувшись в русский литературный мир, одиноким. Почти вся группировавшаяся вокруг него в "Аполлоне" талантливая молодежь осталась при новой власти привилегированным меньшинством. Многие не связанные политикой сотрудники "Аполлона" могли служить власти, не вызывая особых подозрений, в то время как большинство сотрудников других журналов примыкали так или иначе к политическим партиям. Большевикам нужны были люди европейски образованные. Этим объясняется, что в "Доме Искусств" оказалось немало аполлоновцев или примыкавших к ним художественных деятелей.

В 1921 году только малое меньшинство эмигрировало, рискуя жизнью (в первую очередь – Мережковские и Философов), не допускавшие никаких компромиссов с большевиками.

Гумилев менее всего думал куда-нибудь "бежать", он продолжал упорно свою поэтическую линию, борясь с символистами и всякими "декадентами", вроде Маяковского, Хлебникова и пр.

Выразительнее всех и очень колко, по обыкновению, рассказал об этом Владислав Ходасевич в своей книге "Некрополь".

Раньше Ходасевич не был знаком с Гумилевым. Как-то "представился" ему случай и он получил у него "аудиенцию".

Гумилев жил еще в моей квартире, до переселения в "Дом Искусств". "Он меня пригласил к себе, – рассказывает Ходасевич, – встретил так, словно это было свидание двух монархов. В его торжественной учтивости было нечто столь неестественное, что сперва я подумал – не шутит ли он? Пришлось, однако, и мне взять примерно такой же тон: всякий другой был бы фамильярностью... В опустелом, холодном, пропахшем воблою Петербурге, оба голодные, исхудалые, в истрепанных пиджаках и дырявых штиблетах, среди нетопленного и неубранного кабинета, сидели мы и беседовали с высокомерной важностью..."

Там же Ходасевич рассказывает об аресте Гумилева 3-го августа и об его расстреле 25-го августа. С большим волнением прочел я следующую страницу "Некрополя":

"В конце лета я стал собираться в деревню на отдых. В среду 3-го августа мне предстояло уехать. Вечером накануне отъезда я пошел проститься кое с кем из соседей по "Дому Искусств". Уже часов в десять постучался к Гумилеву. Он был дома"... "Прощаясь, я попросил разрешения принести ему на следующий день кое-какие вещи на сохранение. Когда на утро, в условленный час, я с вещами подошел к дверям Гумилева, мне на стук никто не ответил. В столовой служитель Ефим сообщил мне, что ночью Гумилева арестовали и увели. Итак, я был последним, кто видел его на воле"... "Я пошел к себе и застал там поэтессу Надежду Павлович, общую нашу с Блоком приятельницу. Она только что прибежала от Блока, красная от жары и запухшая от слез. Она сказала мне, что у Блока началась агония. Как водится, я стал утешать ее, обнадеживать. Тогда в последнем отчаянии, она подбежала ко мне и, захлебываясь слезами, сказала: – Ничего вы не знаете... никому не говорите... уже несколько дней... он сошел с ума!" Через несколько дней, когда я был уже в деревне, Андрей Белый известил меня о кончине Блока. 14-го числа, в воскресенье, отслужили мы по нем панихиду..."

Поразительное совпадение! Оба, Гумилев и Блок, вместе выбыли из строя, исчезли 3-го августа, один в застенок (неизвестно, что вынес он во время двухнедельного допроса), другой, Блок, исчез в безумие. В этом одновременном исчезновении – какая жуткая "символика"! Почти всю жизнь Блок и Гумилев враждовали, хоть личной неприязни, на моей памяти, между ними не было; друг друга "не любили", но встречаясь в "Аполлоне", заседая в комитете "Поэтической академии", ни разу ни тот, ни другой не проявил открыто этой нелюбви. И после революции они много работали вместе, с трудом добывая

пропитание, и в то же время – как были чужды друг другу мыслями, вкусом, мироощущением, отношением к России, всем, что создает писательскую личность! Они были "антиномичны", а русская действительность все время их сталкивала. До последних лет соперничая, может быть, и не без взаимной зависти, они в тот же день ушли из жизни. Надо ли говорить, что это соревнование продолжается и после их смерти: русские стихолюбы до сей поры – или "блокисты", или "гумилисты".

В какой-то из своих статей (помнится, об Эмиле Верхарне) Георгий Чулков говорит: "Понять поэта, значит разгадать его любовь. О совершенстве мастера мы судим по многим признакам, но о значительности его только по одному: любовь, страсть или влюбленность художника предопределяют высоту и глубину его поэтического дара". С этой точки зрения Гумилев – несомненнейший из поэтов нашего века: его сущность – любовь к поэзии, к женщине, к миру, к родине. Он не был мыслителем, не обладал умом, проникающим в глуби стоящих перед человечеством вопросов. Да и жизненный путь кончил он действительно слишком рано, никак не принадлежа к гениям, как, например, Лермонтов (с которым, однако, у него много общего – и гордыня, и комплекс малоценности, и любовные муки, и порывание к небу, и предчувствие ранней смерти); даром стихослагательства он не был наделен сверх меры. Но рядом с этим, иногда целые стихотворения Гумилева достигают прелести лучших образцов русской лирики.

Если забыть о пресловутом термине "акмеизм", которым Гумилев отстаивал себя, свою писательскую новизну, в борьбе с символистами (особенно с Блоком), если вслушаться в его стихи без предвзятости, то станет очевидным, что многие его строфы близки к модернизму символическому. Недаром высоко чтил он Иннокентия Анненского. Стихи Гумилева из парнасски-агностических, из образных описаний Африки в духе Леконта де Лилля и Эредиа, становятся символическими в самом глубоком смысле, когда выражают волнение любви или предчувствие иного мира, или отчаяние от сознания бренности земного бытия. Даже сюрреалистом кажется он, если угодно, к концу жизни (последние стихотворения, попавшие в "Колчан", "Костер" и "Огненный столп", как "Фра Беато Анжелико", "Эзбекие", "Шестое чувство", "Заблудившийся трамвай", "Дева-Птица" и др.).

Насколько эти поздние стихи лучше тех, что сочинял Гумилев "дальних странствий", и добавлю – Гумилев трагедий "Гондла" и "Отравленная туника"!

Ранняя смерть Николая Степановича – большая потеря для русской поэзии.

За все печали, радости и бредни,
Как подобает мужу, заплачу
Непоправимой гибелью последней, –

говорит Гумилев в одном из предсмертных своих стихотворений – "Память". Причины этой гибели до сих пор не вполне еще выяснены. За что был он убит 25 августа 1921 года, после трехнедельного ареста, вместе с другими участниками так называемого "Таганцевского заговора" (между ними – Таганцев, сын директора гимназии, князь Ухтомский, сопровождавший когда-то Николая II в Японию, и ряд других монархически настроенных "заговорщиков")? Многие в то время мечтали в Петербурге о восстановлении Романовской монархии, не одна возникала контрреволюционная организация, и конечно, в каждую просачивались провокаторы. Никто не догадывался, что Гумилев состоит в тайном обществе, замышлявшем переворот, хотя Николай Степанович, бывавший всюду, где мог найти слушателей (даже в самых "советских" кругах), не скрывал своих убеждений. Он самоуверенно воображал, что прямота, даже безбоязненная дерзость – лучшая защита от большевистской подозрительности. К тому же, он был доверчив, не видел в каждом встречном соглядатая. Вероятно, к нему подослан был советский агент, притворившийся другом, и Гумилев говорил "другу" то, что было говорить смертельно опасно. Веря в свою "звезду", он был неосторожен...

В начале июля 1921 года в Крым отправился поезд красного адмирала Немица, бывшего царского адмирала, человека образованного и обаятельного. Поезд был набит военными, Гумилев выхлопотал себе право проехать на нем до Севастополя и обратно. В Севастополе допечатывалась последняя его книга стихов "Огненный Столп". Деньги на это издание он нашел, по-видимому, у кого-то из крымских моряков.

В поезде Немица атмосфера, вероятно, была ему дружелюбная, полуграмотные "красные" слушали внимательно и сочувственно его "африканские" стихи. Он играл с ними в карты, шутил, много пил... Через неделю, как ни в чем не бывало, вернулся в Петербург, продолжал свою деятельность лектора, наставителя поэтов... Ночью на 3-е августа люди в кожаных куртках куда-то повели его, позволив ему из книг взять с собой Библию и Одиссею. Никто его не видел больше. В конце месяца, в "Петроградской Правде" был напечатал список расстрелянных

"таганцевцев", с указанием "кто и за что". О Гумилеве сказано было, что он поэт, член правления горьковской "Мировой литературы", беспартийный и бывший военный, участвовал в составлении прокламаций, обещал присоединить к таганцевской организации группу интеллигентов в случае восстания, получал деньги на технические надобности организации.

Вот как заключает свой рассказ о смерти Гумилева и Блока Владислав Ходасевич, бывший тогда в деревне: "В начале сентября мы узнали, что Гумилев убит. Письма из Петербурга шли мрачные, с полунамеками, с умолчаниями. Когда вернулся я в город, там еще не опомнились после этих смертей. В начале 1922 г., когда театр, о котором перед арестом много хлопотал Гумилев, поставил его пьесу "Гондла", на генеральной репетиции, а потом и на первом представлении, публика стала вызывать: – Автора! Пьесу велели снять с репертуара".

ВЛАДИМИР ПЯСТ

ВСТРЕЧИ

...Первая моя "вылазка" состоялась на квартире у Вячеслава Иванова, незадолго перед тем похоронившего свою жену, чей большой портрет в траурной рамке висел в одной из комнат "башни", – на собрании "Про-Академии". Так назывался нами впоследствии тот весенний курс лекций по стихосложению, который прочел Вячеслав Иванов у себя на квартире, – и который послужил началом вынесенной на большой простор с осени "Академии Художественного Слова".

Незадолго до того времени[1] приехал из-за границы выпустивший там несколько сборников своих стихов, царскосел по рождению и первоначальному образованию, поэт Н.С. Гумилев. Приехав, он сделал визиты тем из петербургских поэтов, которых считал более близкими себе по творческим устремлениям. В числе их был и П.П. Потемкин,[2] тогда уже собиравшийся издавать сборник своих стихов и дебютировавший в отдельном издании стихотворным переводом "Танца Мертвых"[3] Франка Ведекинда. Потемкин прожил в детстве некоторое время в Риге и считал себя связанным с немецким языком и культурой; не бросая шахмат, он бросил к этому времени естественные науки и в университете стал числиться на том же романо-германском отделении, которое выбрал для себя в конце концов и я, на котором были и впервые в ту весну появившийся на горизонте О.Мандельштам и Н.С. Гумилев. Все, кроме Потемкина-германиста, были романистами. Зловещее предсказание А.А. Блока об участи Потемкина не сбылось: актером он не стал; но в "Сатирикон" поступил, и довольно-таки обидел Блока не вполне приличною, действительно, подписью под достаточно злою карикатурою художника Ремизова (Ре-Ми):

Пускай глаза метелью вспучены,
И "Незнакомка" – детский писк,
Все ж в небо ко всему приученный
Бессмысленный кривится диск.

Более бранчливо, чем остроумно!

В это же время на литературном горизонте впервые появился и Алексей Н.Толстой, старательно скупавший первую свою книгу стихов в книжных магазинах, где она почему-то была выставлена на видном месте витрин, и предавал ее всесожжению. Вот эти три молодых поэта осознали себя недостаточно владеющими своим ремеслом, – и решили обратиться за наукою к старшим. Похвальный пример, достойный всяческого подражания! Они посетили следующих трех "мэтров": Вячеслава Иванова, Максимилиана Волошина (еще далеко не признанного в ту пору!) и пожилого, но стоявшего вдалеке от широких литературных путей – И.Ф. Анненского. К тому времени, кажется, была выпущена им только одна книга стихов – да и то под псевдонимом Ник Т-о, – который можно было расшифровать как, хотя бы, "Николай Терещенко". А между тем, это был последний год довольно долгой жизни почтенного поэта, "под знаком" которого действовало все восходившее в те годы поэтическое творчество: акмеисты и первые футуристы. Признаться, я лично ни разу об И.Ф. Анненском до этой весны и не слыхал. Всех трех поэтов "молодые" попросили прочесть по циклу лекций на тему о поэзии; лекции последних двух почему-то не состоялись, зато Вяч.Иванов оказался, как говорят теперь, "выполнившим на 100% свое задание".

В квартире на "башне" бывало по вечерам в ту весну тихо и печально, – но царствовала кипучая работа. Появилась большая аспидная доска; мел в руках лектора; заслышались звуки "божественной эллинской речи": раскрылись тайны анапестов, пеонов и эпитритов, "народов" и "экзодов". Все это ожило и в музыке русских, как классических, так и современных стихов. Своим эллинистическим подходом к сути русской просодии Вячеслав Иванов, правда, полил несколько воды на мельницу довольно скучных воскрешателей античных ритмов в русских звуках, – вроде М.Л. Гофмана, издававшего тогда книгу "Гимны и оды", ничем не замечательную, кроме того, что вся она была написана алкеевыми, сапфическими или архилоховыми строфами, – без достаточной тонкости в передачи их музыки. Но в общем, лекции "Про-Академии", записанные целиком Б.С. Мосоловым, составили бы превосходное введение в энциклопедию русского стиха...

...Помню также доклад профессора Фаддея Францевича Зелинского о передаче русским стихом античных размеров и чтение его своих переводов Софокла, а также и опытов других размеров, например, "голиямба":

Два раза женщина умеет в жизни быть милой:
В день свадьбы, и когда ее кладут в землю.

Потом начались вечера диспутов; оппонентами выступали и Анненский, и Вяч. Иванов. О природе русского спондея говорилось много; слова Анненского, да и "практика его", на мой, по крайней мере, взгляд, были наиболее мудрыми и верными. Но полемика по этому вопросу отвлекла бы меня в сторону, слишком мало интересную для неспециалиста-читателя. Все трое диспутантов были великолепны и величавы, как старшины-архонты. Молодежь играла роль хора, вопреки обычаю греческих трагедий, безмолвного и безгласного. Это спустя уже так с год, Н.В. Недоброво, Н.С. Гумилев, – да еще живший в ту пору некоторое количество лет или месяцев в Петербурге Максимилиан Волошин – представлявший собою, так сказать, среднее (вместе с Кузьминым) поколение между родившимися в 50-60 годах старшими и тремя – младшими (год рождения которых приходился около 1886), – только эти трое из более молодых принимали участие в диспутах не только в качестве "вопрошателей", но и "высказывателей". Впрочем, через два года произошло в стенах Академии нечто вроде революции,[4] но об этом в своем месте.

...На первых же осенних собраниях Академии[5] стала появляться очень стройная, очень юная женщина в темном наряде... Нам была она известна в качестве "жены Гумилева". Еще летом прошел слух, что Гумилев женился и – против всякого ожидания – "на самой обыкновенной барышне". Так почему-то говорили. Очевидно, от него, уже совершившего первое свое путешествие в Абиссинию, ожидалось, что он привезет в качестве жены зулуску или, по крайней мере, мулатку; очевидно, подходящей к нему считалась только экзотическая невеста. Иначе бы, конечно, об Анне Ахматовой никому бы не пришло в голову сказать, что она – "самая обыкновенная женщина"...

Эта "самая обыкновенная женщина", как вскоре выяснилось, пишет "для себя" стихи. "Комплиментщик" Вячеслав Иванов заставил ее однажды выступить "в неофициальной части программы" заседания Академии. Я помню стихи, которые сказала Анна Ахматова, – т.е. помню, что среди них было:

У пруда русалку кликаю,
А русалка умерла...

Это стихотворение, кажется, и все другие, читанные Ахматовой в тот вечер, были в скором времени напечатаны. Между тем, как слышно было, она вообще только что начала писать стихи. Дело в том, что эта "самая обыкновенная барышня" – сразу, выросши, выросла поэтессой, – и с первых шагов стала в ряды наиболее признанных, определившихся русских поэтов.

...Незадолго до этого уже был я на новой квартире Городецкого на Фонтанке, – в передней ее был нарисован огромный хвостатый "чертяка", указывавший пальцем на надпись: Не кури! – Был я по специальному приглашению – повестке, написанной рукою Гумилева, на "первое собрание Цеха Поэтов".

Осень 1911 года – историческая дата для "акмеистов". На этом собрании была изложена[6] вскоре напечатанная в "Аполлоне" декларация "Акмеизма, адамизма то ж", – этой диады, первой части которой преимущественным исполнителем был Гумилев, – второй же – Городецкий. Исторически это может быть, было действительно так, что вот двум молодым поэтам не захотелось быть в числе "эпигонов", – и в лице возглавляемого ими "Цеха" хотелось создать "фермент брожения", перекидывавшийся на "слишком академическую" Академию. Действительно, оба они, в особенности Гумилев, всем своим творчеством, "корнями", так сказать, "вросли" в "символизм". Тех, кого они тянули к себе, в частности, Ахматову и Мандельштама, только тогда начинавших, но начинавших прекрасно, – нисколько не волновали честолюбивые стремления всегда стоять на "вершинах" ("акмэ") и всему сущему давать новые имена (как "Адам").

Однако впоследствии у этих четырех и, пожалуй, у Зенкевича, действительно начинали просачиваться в поэзию не бывшие в ней у их предшественников черты. В 1914 г. уже можно было говорить серьезно об этом направлении, как об отдельном от символического. Та только их беда, что в эту же пору уже бурно вырывались новые потомки прежних модернистов – футуристы, о которых будет речь впереди.

Цех поэтов был довольно любопытным литературным объединением, в котором не ставился знак равенства между принадлежностью к нему и к акмеистической школе. В него был

введен несколько чуждый литературным обществам и традициям порядок "управления". Не то, чтобы было "правление", ведающее хозяйственными и организационными вопросами; но и не то, чтобы были "учителя-академики" и безгласная масса вокруг. В Цехе были "синдики", – в задачу которых входило направление членов Цеха в области их творчества; к членам же предъявлялись требования известной "активности"; кроме того, к поэзии был с самого начала взят подход, как к ремеслу. Это гораздо позднее Валерий Брюсов где-то написал: "Поэзия – ремесло не хуже всякого другого". Не формулируя этого так, вкладывая в эту формулу несколько иной, чем Брюсов, смысл, – синдики, конечно, подписались бы под вышесказанным афоризмом.

Их было три. Каждому из них была вменена почетная обязанность по очереди председательствовать на собраниях; но это председательствование они понимали как право и обязанность "вести" собрание. И при том чрезвычайно торжественно. Где везде было принято скороговоркою произносить: "Так никто не желает больше высказаться? В таком случае собрание объявляется закрытым..." – там у них председатель торжественнейшим голосом громогласно объявлял: "Объявляю собрание закрытым".

А высказываться многим не позволял. Было, например, правило, воспрещающее "говорить без придаточных". То есть, высказывать свое суждение по поводу прочитанных стихов без мотивировки этого суждения.

Все члены Цеха должны были "работать" над своими стихами согласно указаниям собрания, то есть, фактически – двух синдиков. Третий же был отнюдь не поэт: юрист, историк и только муж поэтессы. Я говорю о Д.В. Кузьмине-Караваеве. Первые два были, конечно, Городецкий и Гумилев.

Синдики пользовались к тому же прерогативами, и были чем-то вроде "табу". Когда председательствовал один из них, другой отнюдь не был равноправным с прочими член собрания. Делалось замечание, когда кто-нибудь "поддевал" своей речью говорившего перед ним синдика №2. Ни на минуту не забывали о своих чинах и титулах.

За исключением этих забавных особенностей, в общем был Цех благодарной для работы средой, – именно тою "рабочей комнатой",[7] которую провозглашал в конце своей статьи

"Они" покойный И.Ф. Анненский. Я лично посетил только первые два-три собрания Цеха, а потом из него "вышел", – снова войдя лишь через несколько лет, к минутам "распада", – и с удовольствием проведя время за писанием уже шуточных конкурсных стихотворений тут же на месте. Помню, был задан сонет на тему "Цех ест Академию" в виде акростиха.

Вот, что у меня получилось:

Цари стиха собралися во Цех:
Ездок известный Дмитрий Караваев,
Ходок заклятый, ярый враг трамваев,
Калош презритель, зрящий в них помех-
У для ходьбы: то не Борис Бугаев,
Шаманов враг, – а тот, чье имя всех
Арабов устрашает, – кто до "Вех"
Еще и не касался, – шалопаев
То яростный гонитель, Гумилев...
Я вам скажу, кто избран синдик третий:
Сережа Городецкий то. Заметь – и
Тревожный стих приготовляй, – не рев, –
Воспеть того иль ту, чье имя славно,
А начала писать совсем недавно.

Я находил совершенно неприличным задание: Цех не каннибал; есть Академию свойственно ему быть не должно. Насчет яств – другое дело. В обычаях Цеха было хорошее угощение после делового собрания. В данном случае оно имело место у Лозинского, который по праву получил и первый приз на конкурсе сонетов-акростихов...

"Вышли из Цеха" также приглашенные на первое собрание Петр Потемкин и Алексей Толстой, т.е. как раз двое из трех виновников первого возникновения таких "рабочих", технических, поэтических собраний (разумею "Про-Академию").

Собрания Цеха по очереди происходили на квартирах Городецкого, жены Кузьмина-Караваева и Лозинского в Петербурге и у Гумилева в Царском Селе.

Если часть Академии отделилась от нее (не переставая, впрочем, отчасти держать с нею связь), – в виде Цеха, другая часть "академиков", – не только не подчеркивая своего оппозиционного духа, но занимая в Академии даже руководящие места (Недоброво), тем не менее открыла свое "поэтическое обще-

ство"; впрочем, кажется, только со следующего "сезона" и на совершенно иных началах. В Академии все-таки было и им слишком тесно.

...Так как мне уже не придется возвращаться к шуточным стихам, – я позволю себе некоторые анахронизмы в своих эклогах Лозинскому. Не он ли, предвосхищая напечатанное в одном из моих отделов "Стихотворчества" произведение Д.С. Иванова, создал такую "раннюю" панторифму:

Выпили давно ведро мадеры...
Выпи ли да внове дромадеры?

Не он ли, вместе с Гумилевым, сочинил и такой вариант панторифмы?

Первый гам и вой локомобилей...
Дверь в вигвам мы войлоком обили...

АННА ГУМИЛЕВА

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЕВ

Далекой младости далекие мечты
Слетитесь вновь ко мне знакомой вереницей
И разверните вновь страницу за страницей
Забытой повести листы.

Мне приходилось читать в печати кое-какие биографические сведения о моем покойном девере, поэте Н.С. Гумилеве, но, часто находя их неполными, я решила поделиться моими личными воспоминаниями о нем. В моих воспоминаниях я буду называть поэта по имени – Колей, как я его всегда называла.

Будучи замужем за старшим братом поэта, Дмитрием Степановичем, я прожила в семье Гумилевых двенадцать лет. Жила я в дорогой мне семье моего мужа с моей свекровью Анной Ивановной Гумилевой, рожденной Львовой, с золовкой Александрой Степановной Гумилевой, по мужу Сверчковой, с ее детьми Колей и Марией и один год – с деверем, Степаном Яковлевичем Гумилевым.

Мои воспоминания не являются литературным произведением, я просто хочу рассказать все, что знаю о поэте и его семье. Главное, конечно, о нем, о яркой, незаурядной и интересной личности, какой был Н.С. Гумилев.

Впервые я познакомилась с поэтом в 1909 году. Я поехала с моим отцом в Царское Село представиться семье моего жениха.[1] Вышел ко мне молодой человек 22-х лет,[2] высокий, худощавый, очень гибкий, приветливый, с крупными чертами лица, с большими светлосиними, немного косившими глазами, с продолговатым овалом лица, с красивыми шатеновыми гладко

причесанными волосами, с чуть-чуть иронической улыбкой, необыкновенно тонкими красивыми белыми руками.[3] Походка у него была мягкая и корпус он держал чуть согнувши вперед. Одет он был элегантно.

От моего жениха я много слышала о Коле и мне интересно было с ним познакомиться. Я внимательно за ним наблюдала. Он держал себя скромно, но по всему было видно, что этот молодой человек себе на уме. Он был уже принят тогда в "Общество ревнителей художественного слова" и стал сотрудником журнала "Аполлон".[4]

Но прежде чем подробно говорить о Н.С. Гумилеве, хочу хотя бы вкратце рассказать о его семье. Дедушка поэта, Яков Степанович Гумилев, был уроженец Рязанской губернии, владелец небольшого имения, в котором он и хозяйничал. Скончался он, оставив жену с шестью малолетними детьми. Степан Яковлевич, отец поэта, был старшим сыном в этой многочисленной семье. Он окончил с отличием гимназию в Рязани и поступил в Московский университет на медицинский факультет. Обладая большими способностями и к тому же сильным характером и упорством, он скоро добился стипендии. Чтобы обеспечить существование семьи, он давал уроки, пересылая заработанные деньги матери. По окончании университета С.Я. поступил в морское ведомство и как морской доктор совершал не раз кругосветные плавания. О своих переживаниях в путешествиях и сопряженных с ними приключениях он часто рассказывал, и думаю, что это оказало большое влияние на пылкую фантазию будущего поэта. Будучи совсем молодым, С.Я. женился на болезненной девушке, которая скоро скончалась, оставив ему трехлетнюю девочку Александру. Вторым браком С.Я. женился на сестре адмирала Л.И. Львова, Анне Ивановне Львовой. Хотя разница лет была и большая – С.Я. было 45 лет, а А.И. 22 года, – но брак был счастливый. После свадьбы молодые поселились в Кронштадте. Позднее, когда С.Я. вышел в отставку, семья Гумилевых переехала в Царское Село, где Коля и его брат провели свое раннее детство.

Анна Ивановна, мать поэта, была родом из старинной дворянской семьи. Родители ее были богатые помещики. Свое детство, юность и молодость А.И. провела в родовом гнезде Слепневе, Тверской губ. А.И. была хороша собой – высокого роста, худощавая, с красивым овалом лица, правильными чертами и большими добрыми глазами; очень хорошо воспитанная и очень начитанная. Характера приятного; всегда всем

довольная, уравновешенная, спокойная. Спокойствие и выдержанность перешли и к сыновьям, в особенности к Коле. Вскоре после выхода замуж А.И. почувствовала себя матерью, и ожидание ребенка преисполнило ее чувством радости. Ее мечтой было иметь первым ребенком сына, а потом девочку. Желание ее наполовину исполнилось, родился сын Димитрий. Через полтора года Бог дал ей и второго ребенка. Мечтая о девочке, А.И. приготовила все приданое для малютки в розовых тонах, но на этот раз ее ожидание было обмануто – родился второй сын Николай, будущий поэт.

Николай Степанович Гумилев родился в Кронштадте 3-го апреля 1886 года, в сильно бурную ночь и по семейным рассказам, старая нянька предсказала: "У Колечки будет бурная жизнь". Ребенком Коля был вялый, тихий, задумчивый, но физически здоровый. С раннего детства любил слушать сказки. Все дети были сильно привязаны к матери. Когда сыновья были маленькими, А.И. им много читала и рассказывала не только сказки, но и более серьезные вещи исторического содержания, а также и из Священной Истории. Помню, что Коля как-то сказал: "Как осторожно надо подходить к ребенку! Как сильны и неизгладимы бывают впечатления в детстве! Как сильно меня потрясло, когда я впервые услышал о страданиях Спасителя". Дети воспитывались в строгих принципах православной религии. Мать часто заходила с ними в часовню поставить свечку, что нравилось Коле. С детства он был религиозным и таким же остался до конца своих дней – глубоковерующим христианином. Коля любил зайти в церковь, поставить свечку и иногда долго молился перед иконой Спасителя. Но по характеру он был скрытный и не любил об этом говорить. По натуре своей Коля был добрый, щедрый, но застенчивый, не любил высказывать свои чувства и старался всегда скрывать свои хорошие поступки. Например. В дом Гумилевых многие годы приходила старушка из богадельни, так называемая "тетенька Евгения Ивановна", хотя тетей она им и не приходилась. Приходила она обыкновенно по воскресеньям к 9 ч. утра и оставалась до 7 вечера, а часто и ночевать. Коля уже за неделю прятал для нее конфеты, пряники и всякие сладости, и когда Е.И. приходила, он, крадучись, не видит ли кто-нибудь, давал ей и краснел, когда старушка его целовала и благодарила. Чтобы занять старушку, Коля играл с ней в лото и домино, чего он очень не любил. В детстве и в ранней юности он избегал общества товарищей. Предпочитал играть с братом, преимущественно в военные игры и в индейцев. В играх он стремился властвовать: всегда выбирал себе роль вождя. Старший брат был более покладисто-

го характера и не протестовал, но предсказывал, что не все будут ему так подчиняться, на что Коля отвечал: "А я упорный, я заставлю".

Впоследствии, в своей взрослой жизни, поэт тоже не любил подчиняться. В его характере была даже известная доля заносчивости, что вызвало две-три дуэли,[5] о которых он нам, смеясь, рассказывал: "Я вызван был на поединок – Под звоны бубнов и литавр".

Хотя братья и были разного характера, но они были очень дружны, что все же не мешало им иногда подтрунивать друг над другом. Когда старшему брату было десять лет, а младшему восемь, старший брат вырос из своего пальто и мать решила перешить его Коле. Брат хотел подразнить Колю: пошел к нему в комнату и, бросив пальто, небрежно сказал: "На, возьми, носи мои обноски!" Возмущенный Коля сильно обиделся на брата, отбросил пальто и никакие уговоры матери не могли заставить Колю его носить. Даже самых пустяшных обид Коля долго не мог и не хотел забывать. Прошло много лет. Мужу не понравился галстук, который я ему подарила, и он посоветовал мне предложить его Коле, который любит такой цвет. Я пошла к нему и чистосердечно рассказала, что галстук куплен был для мужа, но раз цвет ему не нравится, не хочет ли Коля его взять? Но Коля очень любезно, с улыбочкой, мне ответил: "Спасибо, Аня, но я не люблю носить обноски брата". Другой пример. Коля дал мне прочесть свое стихотворение, а я была в саду около дома. Села, читаю. В это время пришла племянница десяти лет и попросила поиграть с ней в мячик. Я встала и аккуратно положила листочек, где было написано стихотворение, на скамейку. Не прошло и двадцати минут, как пошел вдруг сильный дождь. Мы быстро вбежали в дом, а листочек я забыла на скамейке. Дождь прошел. Коля вышел в сад и – о, ужас! – видит продукт своего творчества промокшим от дождя. Он так обиделся за такое пренебрежение, что сказал: "Вам я никогда не посвящу ни одного стихотворения, даже ни одной строчки". Слово это, увы, сдержал.

Учиться Коля начал рано. Первоначальное обучение получил дома. С шестилетнего возраста он прислушивался к учению на уроках брата. В семь лет уже читал и писал. С восьмилетнего возраста стал писать рассказы и стихи. Помню, А.И. многие из них сохраняла, держа в отдельной шкатулке, обвязанной бантиком.

Зимою семья жила в Царском Селе, а летом уезжала в имение Березки Рязанской губ., купленное С.Я., чтобы дети могли летом пользоваться полной свободой, набирая сил и здоровья на просторе. Там мальчики много охотились, купались.

Когда семья жила в Петербурге, мальчики посещали гимназию Гуревича, которую поэт очень не любил. Будучи уже взрослым, он говорил, что одна эта Лиговская улица, где находилась гимназия, наводила на него бесконечную тоску. Все ему там не нравилось. И был очень рад, когда ему пришлось покинуть стены "нудной" гимназии.

Тогда С.Я. решил ехать всей семьей в Тифлис и пробыть там некоторое время. Семья Гумилевых прожила в Тифлисе три года. В 1900 году мальчики поступили во II тифлисскую гимназию, но отцу не нравился дух этой гимназии и мальчики были переведены в I тифлисскую гимназию. В Тифлисе Коля стал более общительным, полюбил товарищей. По его словам, они были "пылкие, дикие", и это ему было по душе. Полюбил он и Кавказ. Его природа оставила в Коле неизгладимое впечатление. Часами он мог гулять в горах. Часто опаздывал к обеду, что вызывало сильное негодование отца, который любил порядок и строго соблюдал часы трапезы. Однажды, когда Коля поздно пришел к обеду, отец, увидя его торжествующее лицо, не сделав обычного замечания, спросил, что с ним? Коля весело подал отцу "Тифлисский листок", где было напечатано его стихотворение – "Я в лес бежал из городов". Коля был горд, что попал в печать. Тогда ему было шестнадцать лет.

В 1903 году семья вернулась в Царское Село. Здесь мальчики поступили в Царскосельскую классическую гимназию. Директором ее был известный поэт Иннокентий Федорович Анненский. В первый же год Анненский обратил внимание на литературные способности Коли. Анненский имел на него большое влияние и Коля как поэт многим ему обязан. Помню, как Коля рассказывал, как однажды директор вызвал его к себе. Он был тогда совсем юный. Идя к директору, сильно волновался, но директор встретил его очень ласково, похвалил его сочинения и сказал, что именно в этой области он должен серьезно работать. В своем стихотворении "Памяти Анненского" Коля упоминает об этой знаменательной встрече:

...Я помню дни: я робкий, торопливый
Входил в высокий кабинет,

Где ждал меня спокойный и учтивый,
Слегка седеющий поэт.

Десяток фраз пленительных и странных
Как бы случайно уроня,
Он вбрасывал в пространства безымянных
Мечтаний – слабого меня.

Но в гимназии Коля хорошо учился только по словесности, а вообще – плохо.[6] По математике шел очень слабо.

Когда мальчики подросли, С.Я. продал свое имение Березки и купил небольшое имение Поповка – под самым Петербургом, чтобы мальчики не только на лето, но и на все праздники приезжали в деревню набирать здоровья. Оба брата были сильно привязаны к дому, любили своей домашний очаг, и их всегда тянуло домой. Старший после окончания классической царскосельской гимназии по желанию отца поступил в Морской корпус, в гардемаринские классы, был одно лето в плавании, но так тосковал, что раньше времени вернулся домой. А поэт по настоянию отца должен был поступить в университет. Коля захотел поехать в Париж, и там поступил в Сорбонну. Но и он тоже сильно тосковал по дому и хотел даже вернуться, но отец не разрешил. В Сорбонне Коля слушал лекции по французской литературе, но больше всего занимался своим любимым творчеством и даже издавал небольшой журнал, где печатал свои стихи под псевдонимом.[7] В Париже он начал мечтать о путешествиях, особенно тянуло его в Африку, в страну, где в полночь

...непроглядная темень,
Только река от луны блестит,
А за рекой неизвестное племя,
Зажигая костры – шумит.

Об этой своей мечте хоть недолго пожить " между берегом буйного Красного моря и Суданским таинственным лесом" – поэт написал отцу, но отец категорически заявил, что ни денег, ни его благословения на такое (по тем временам) "экстравагантное путешествие" он не получит до окончания университета. Тем не менее Коля, не взирая ни на что, в 1907 году пустился в путь, сэкономив необходимые средства из ежемесячной родительской получки. Впоследствии поэт с восторгом рассказывал обо всем виденном: – как он ночевал вместе с пилигримами, как разделял с ними их скудную трапезу, как был арестован в Трувилле за попытку пробраться на паро-

ход и проехать "зайцем". От родителей это путешествие скрывалось, и они узнали о нем лишь пост фактум. Поэт заранее написал письма родителям, и его друзья аккуратно каждые десять дней отправляли их из Парижа. После экзотического путешествия Петербург навел на поэта тоску. Он только и мечтал опять уехать в страну, где "Каналы, каналы, каналы, – Что несутся вдоль каменных стен, – Орошая Дамьетские скалы – Розоватыми брызгами пен" (Египет).

Вернувшись в 1908 г. в Россию, Коля нашел С.Я. тяжело больным ревматизмом. Отец уже не выходил из кабинета, сидя в большом кресле. А.И. неотлучно находилась при муже, и войти в кабинет отца можно было только с его разрешения. В Петербурге Коля тогда весь отдался своему творчеству. Он сблизился с многими поэтами и совершенно забросил занятия в университете. Это вызвало сильное недовольство отца, который упорно требовал, чтобы он закончил университет, и этот спор обычно кончался тем, что Коля обнимал отца, обещая серьезно взяться за занятия и окончить университет. Отец не особенно этому верил и был прав, своего обещания Коля так и не сдержал.

Будучи от природы очень наблюдательным, Коля всегда подмечал у каждого слабые стороны, которые сейчас же высмеивал. Он вообще любил поддразнивать и грешным делом насмехаться, но добродушно. Помню, пришел однажды товарищ, окончивший университет, и все старался, чтобы мы обратили внимание на его университетский значок. Коля это заметил и сказал: "Володя, повесь лучше твой значок на лоб, по крайней мере, не надо будет тебе вертеться, чтобы его видели. Тогда всем ясно будет, что ты человек науки!"

Подсмеивался он и над племянником, который ходил в Царскосельскую гимназию, как в университет, – когда вздумается. Способности дедушки-художника Сверчкова, видимо, перешли к внуку, и племянник днями и часами рисовал в ущерб учению. Подсмеивался и над матерью, добродушно, конечно, что она любила подчас читать Марлита, но как только замечал, что мать обижается, сейчас же подбегал и целовал ее. Его маленькая, двенадцатилетняя племянница как-то сказала, что прочла какую-то книгу и добавила: "Я ее взяла, потому что там хорошая печать". Коля сейчас же подхватил: "Ты, я вижу, выбираешь и читаешь книги по печати, а не по содержанию". Иногда он даже слишком приставал к ней, и она объявила, что боится "при дяде Коле рот открыть". Тоже искал случая

высмеять сестру по отцу, Александру Степановну Гумилеву, по мужу Сверчкову. У нее была маленькая собачка Лэди, и она сильно оберегала собачку от "искушения" и зорко за нею следила. Как-то раз, спасая собачку (так выразился Коля), сестра упала и сильно повредила ногу. Доктор, лечивший ее, сказал: "Из-за собачки не стоило рисковать ногами". Но Коля, как бы волнуясь, заявил: "Помилуйте, доктор! Ведь это же Лэди! Сестра, наверное, была бы менее экспансивна и вряд ли чем-нибудь рискнула, если бы кому-нибудь из нас грозила такая же опасность".

Ранней весной 1910 года С.Я. скончался. После его смерти жизнь в семье Гумилевых сильно изменилась даже внешне. Отцовский кабинет перешел Коле, и он в нем все переставил по-своему. Как часто добрые по существу люди бывают подчас неделикатны и даже эгоистичны! Помню, не прошло и семи дней, как пришла ко мне в комнату расстроенная А.И. и жаловалась на колину нечуткость. "Не успели отца похоронить, – говорила она, – как Коля стал устраиваться в его кабинете. Я его прошу подождать хоть две недели, мне же это слишком тяжело! А он мне отвечает: я тебя, мамочка, понимаю, но не могу же я постоянно работать в гостиной, где мне мешают. Дмитрий и Аня так часто и надолго приезжают, что мне всегда приходится уступать им свой кабинет". Без ведома А.И. я сейчас же пошла убеждать Колю повременить, но мои доводы на него не подействовали, он только посмеялся над моей сентиментальностью.

В дом влилось много чуждого элемента. Весною 25-го апреля этого же года поэт женился на Анне Андреевне Горенко (Ахматовой). Свадьбу отпраздновали спокойно и тихо ввиду траура в семье. В этом году Коля осенью поехал в Абиссинию, побывал в самых малодоступных ее местах. В тропических лесах охотился на слонов, в горах со своим абиссинцем ходил на леопарда. Много рассказывал, заражая своими интересными впечатлениями племянника, так называемого Колю-Маленького (Сверчкова), юношу 17-ти лет, который объявил, что тоже хочет

> ...бродить по таким же дорогам,
> Видеть вечером звезды, как крупный горох,
> Выбегать на холмы за козлом длиннорогим
> На ночлег зарываться в седеющий мох...

Коля-поэт обещал любимому племяннику в следующее путешествие взять его с собой, что и исполнил. Жена осталась

дома. Из Абиссинии Коля навез много всяких абиссинских мелочей.

В семье Гумилевых очутились две Анны Андреевны. Я – блондинка, Анна Андреевна Ахматова – брюнетка. А.А. Ахматова была высокая, стройная, тоненькая и очень гибкая, с большими синими, грустными глазами, со смуглым цветом лица. Она держалась в стороне от семьи.[8] Поздно вставала, являлась к завтраку около часа, последняя, и войдя в столовую, говорила: ”Здравствуйте все!”. За столом большею частью была отсутствующей, потом исчезала в свою комнату, вечерами либо писала у себя, либо уезжала в Петербург. Те вечера, когда Коля бывал дома, он часто сидел с нами, читал свои произведения, а иногда много рассказывал, что всегда было очень интересно. Коля великолепно знал древнюю историю и, рассказывая что-нибудь, всегда приводил из нее примеры. Памятно мне любимое большое мягкое кресло поэта, доставшееся ему от покойного отца. Сидя в нем, он писал свои стихи. Творить Коля любил по ночам и часто мы с мужем – комната была рядом с его кабинетом – слышали равномерные шаги за дверью и чтение вполголоса. Мы переглядывались, и муж говорил: ”Опять наш Коля улетел в свой волшебный мир”.

В домашней обстановке Коля всегда был приветлив. За обедом всегда что-нибудь рассказывал и был оживленный. Когда приходили юные поэты и читали ему свои стихи, Коля внимательно слушал; когда критиковал – тут же пояснял, что плохо, что хорошо и почему то или другое неправильно. Замечания он делал в очень мягкой форме, что мне в нем нравилось. Когда ему что-нибудь нравилось, он говорил: ”Это хорошо, легко запоминается”, и сейчас же повторял наизусть. Коля и в семье был строг к чистоте языка. Однажды я, придя из театра и восхищаясь пьесой, сказала: ”Это было страшно интересно!” Коля немедленно напал на меня и долго пояснял, что так сказать нельзя, что слово ”страшно” тут совершенно неуместно. И я это запомнила на всю жизнь.

Когда по вечерам вся семья оставалась дома, после обеда мать любила брать сыновей под руку и ходить взад и вперед по гостиной; тут сыновья очень трогательно оспаривали друг у друга, кто возьмет мамочку под руку, а кто обнимет. Обычно после долгого торга мать, улыбаясь, сама разрешала спор – одного возьмет под руку, а другого обнимет, и все трое маршировали по комнате, весело разговаривая. Но редко приходилось нам проводить вечера ”уютным кустиком”, как говорил Коля; обыкновенно кто-нибудь нарушал нашу семейную идиллию.

В начале 1911 года Анна Ивановна купила дом в Царском Селе на Малой ул. 15. Она видела, что слишком много денег тратится зря. Купила прелестный двухэтажный дом и тут же небольшой, тоже двухэтажный флигель с садиком и хорошеньким двориком. А.И. с падчерицей и внуками занимали верхний этаж, поэт с женой и я с мужем – внизу. Тут же внизу находилась столовая, гостиная и библиотека. После своего второго путешествия в Африку Коля внес в дом много экзотики, которая ему всегда нравилась. Свои комнаты он отделал по своему вкусу и очень оригинально.

Вспоминается мне наша чудная библиотека, между гостиной и колиной комнатой. В библиотеке вдоль стен были устроены полки, снизу до верху наполненные книгами. В библиотеке во время чтения было принято говорить шепотом. Для поэта библиотека "святая святых", и он не раз повторял, что надо держать себя в ней, как в настоящей библиотеке. Посредине находился большой круглый стол, за которым читающие чинно сидели.

С годами Коля стал очень общительным. Имел много товарищей и друзей. Дружил с И.Ф. Анненским, Вячеславом Ивановым и многими другими. Часто бывали Городецкий и Блок. Дом Гумилевых был очень гостеприимный, хлебосольный и радушный. Хозяева были рады всякому гостю, в которых не было недостатка везде, где бы Гумилевы ни жили. Я очень любила, когда поэт устраивал литературные вечера. Вспоминаю один эпизод. Однажды один молодой поэт читал с жаром и увлечением свою поэму. Царила полная тишина. Вдруг раздался равномерный, громкий храп. Смущенный и обиженный, поэт прервал чтение. Все переглянулись. Коля встал. Окинул взором всех слушателей и видит, все сидят чинно, улыбаются, переглядываются и ищут храпящего гостя. Каково же было наше удивление, когда виновником храпа оказалась собака Молли, бульдог, любимица Анны Ахматовой. Все много смеялись и долгое время дразнили молодого чтеца, называя его Молли.

В 1911 г. у Анны Ахматовой и Коли родился сын Лев.[9] Никогда не забуду счастливого лица Анны Ивановны, когда она нам объявила радостное событие в семье – рождение внука. Маленький Левушка был радостью Коли. Он искренне любил детей и всегда мечтал о большой семье. Бабушка Анна Ивановна была счастлива, и внук с первого дня был всецело предоставлен ей. Она его выходила, вырастила и воспитала. Коля был нежным и заботливым отцом. Всегда, придя домой, он

прежде всего поднимался наверх, в детскую, и возился с младенцем.

Но мятежную натуру поэта патриархальная спокойная семейная обстановка надолго удовлетворить не могла. Он задумал путешествие в Италию. Но всегда его что-то задерживало: осенью этого же года он основал с Сергеем Городецким Цех Поэтов. Только весною 1912 года ему удалось исполнить свою мечту и поехать в Италию. Он давно хотел побывать в Венеции и воочию увидеть красоту этого города, где

Лев на колонне, и ярко
Львиные очи горят,
Держит Евангелье Марка,
Как серафимы, крылат.

Коля посетил несколько городов Италии.[10] Говорил он об Италии с таким жаром, что забывал весь мир и требовал, чтобы мы с мужем обязательно поехали в Рим, где

Волчица с пастью кровавой
На белом, белом столбе...

И рекомендовал мужу не засматриваться на красивых ярких итальянок, а хорошенько осмотреть

Лик Мадонн вдохновенный
И храм Святого Петра,

что мы и исполнили – через несколько месяцев муж взял отпуск, и мы поехали в Италию.

* * *

В жизни Коли было много увлечений. Но самой возвышенной и глубокой его любовью была любовь к Маше. Под влиянием рассказов А.И. о родовом имении Слепневе и о той большой старинной библиотеке, которая в целости там сохранилась, Коля захотел поехать туда, чтобы ознакомиться с книгами. В то время в Слепневе жила тетушка Варя – Варвара Ивановна Львова, по мужу Лампе, старшая сестра Анны Ивановны. К ней зимой время от времени приезжала ее дочь Констанция Фридольфовна Кузьмина-Караваева со своими двумя дочерьми. Приехав в имение Слепнево, поэт был приятно поражен, когда, кроме старенькой тетушки Вари, навстречу ему вышли две оча-

ровательные молоденькие барышни – Маша и Оля. Маша с первого взгляда произвела на поэта неизгладимое впечатление. Это была высокая тоненькая блондинка с большими грустными голубыми глазами, очень женственная. Коля должен был остаться несколько дней в Слепневе, но оттягивал свой отъезд под всякими предлогами. Нянечка Кузьминых-Караваевых говорила: "Машенька совсем ослепила Николая Степановича". Увлеченный Машей, Коля умышленно дольше, чем надо, рылся в библиотеке и в назначенный день отъезда говорил, что библиотечная "...пыль пьянее, чем наркотик", что у него сильно разболелась голова, театрально хватался при тетушке Варе за голову, и лошадей откладывали. Барышни были очень довольны: им было веселее с молодым дядей. С Машей и Олей поэт долго засиживался по вечерам в библиотеке, что сильно возмущало нянечку Караваевых, и она часто бурно налетала на своих питомиц, но поэт нежно обнимал и унимал старушку, которая после говорила, что "долго сердиться на Николая Степановича нельзя, он своей нежностью всех обезоруживает".

Летом вся семья Кузьминых-Караваевых и наша проводили время в Слепневе. Помню, Маша всегда была одета с большим вкусом в нежно-лиловые платья. Она любила этот цвет, который был ей к лицу. Меня всегда умиляло, как трогательно Коля оберегал Машу. Она была слаба легкими и когда мы ехали к соседям или кататься, поэт всегда просил, чтобы их коляска шла впереди, "чтобы Машенька не дышала пылью". Не раз я видела Колю сидящим у спальни Маши, когда она днем отдыхала. Он ждал ее выхода, с книгой в руках все на той же странице, и вгляд его был устремлен на дверь. Как-то раз Маша ему откровенно сказала, что не в праве кого-либо полюбить и связать, так как она давно больна и чувствует, что ей недолго осталось жить. Это тяжело подействовало на поэта.

...Когда она родилась, сердце
В железо заковали ей
И та, которую любил я,
Не будет никогда моей.

Осенью, прощаясь с Машей, он ей прошептал: "Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить". Они расстались и судьба их навсегда разлучила.

Поэт много стихотворений посвятил Маше. Во многих он упоминает о своей любви к ней, как, напр., в "Фарфоровом павильоне", в "Дорогах":

Я видел пред собой дорогу –
В тени раскидистых дубов,
Такую милую дорогу
Вдоль изгороди из цветов.
Смотрел я в тягостной тревоге,
Как плыл по ней вечерний дым,
И каждый камень на дороге
Казался близким и родным.
Но для чего идти мне ею?
Она меня не приведет
Туда, где я дышать не смею,
Где милая моя живет.

Весною 1913 года Коля вновь задумал предпринять путешествие в неведомые и малоисследованные места. Хорошо о нем сказано, что он создал новую музу, "музу дальних странствий", чему соответствуют и его слова "...как будто не все пересчитаны звезды, как будто наш мир не открыт до конца...". Свое третье путешествие Коля иначе обставил и совершил. Это было весной 1913 года. У Гумилевых тогда было много разговоров об академике Радлове, который хлопотал, чтобы Коля был командирован Академией Наук в качестве начальника экспедиции на Сомалийский полуостров для составления всяких коллекций, для ознакомления с нравами и бытом абиссинских племен.[11] Но насколько я помню, Коля поехал на свои средства. Анна Ивановна дала ему крупную сумму из своего капитала, это я наверное знаю. Но так как Академия Наук тоже заинтересовалась его путешествием, то обещала купить у него те редкие экземпляры, которые он брался привезти. Поехал он, как я уже упомянула, вдвоем с любимым 17-летним племянником Колей Сверчковым, Колей-маленьким. Когда они уехали, семья, в особенности обе матери, сильно беспокоились за сыновей, зная страсть к приключениям Коли-поэта. Он всегда был очень храбрый и с детства презирал малодушие и трусость. "...Да, ты не был трусливой собакой – Львом ты был между яростных львов..!" И его бесстрашие немало волновало семью. Старушка няня о нем говорила: "Наш Коленька всегда любит лезть на рожон, вот уж неугомонный! Не сидится ему на месте – все ищет, где поопаснее". Путешествие длилось несколько месяцев. Большой радостью было их возвращение, о котором мы не были преупреждены. Все треволнения были забыты и все были полны интереса к занимательным рассказам, которым, казалось, не было конца. Все обещания Коля выполнил и действительно привез очень много всяких коллекций, которые были им сданы в Музей Антропологии и Этнографии при Академии

Наук. Что именно – не помню, но помню, что им были очень довольны, чем и он был очень горд. Царскосельский дом обогатился чудным экземпляром – большой стоячей черной пантерой. Эту огромную пантеру,черную, как ночь, с оскаленными зубами, поставили в нишу между столовой и гостиной и ее хищный вид производил на многих прямо жуткое впечатление. Коля же всегда ею любовался. Помню, как Коля первый раз показал мне свою пантеру. Когда мы приехали с мужем в Царское Село к нашим, дверь в гостиную была заперта, что бывало редко. В передней нас встретил Коля и просил пока в гостиную не входить. Мы поднялись наверх к А.И., ничего не подозревая; думали, что у Коли молодые поэты. Только когда совсем стемнело, Коля пришел наверх и сказал, что покажет нам что-то очень интересное. Он повел нас в гостиную и, как полагается, меня как даму пропустил вперед; открыл дверь, заранее потушив в гостиной и передней электричество. Было совсем темно, только яркая луна освещала стоящую черную пантеру. Меня поразил этот зверь с желтыми зрачками. Первый момент я подумала, что она живая. Коля был бы способен и живую пантеру привезти! И тут же, указывая на пантеру, Коля кромко продекламировал: "...А ушедший в ночные пещеры или к заводи тихой реки – Повстречает свирепой пантеры – наводящие ужас зрачки...".

Привез Коля и красивого живого попугая, светло-серого с розовой грудкой. Коля был очень увлекательным рассказчиком. Обычно вне своего литературного кружка он в обществе держал себя очень скромно, но если что-либо было ему интересно и по душе, то он преображался, загорались его большие глаза, и он начинал говорить с увлечением. Однажды у нас в имении на охоте, где оба брата, Димитрий и Коля, отличились меткой стрельбой, один из гостей сказал поэту, что с таким метким глазом не страшно было бы идти на охоту на слонов и львов, и задал Коле несколько вопросов насчет Абиссинии. Коля с жаром стал рассказывать о своих переживаниях в Африке и так образно, что ясно можно было себе представить, как он с племянником и с тремя провожатыми, из которых один был "...карлик мне по пояс, голый и черный...", шли по лесу, где вряд ли ступала человеческая нога; ночь провели в лесу и долго искали более или менее удобного убежища и наконец нашли. "...И хороша была нора – В благоухающих цветах...". Рассказывал, что туземцы в Абиссинии очень суеверны; многого наслушался он за ночи, проведенные в лесу, как например – если убитому леопарду не опалить немедленно усы, дух его будет преследовать охотника всюду. "...И мурлычит у постели – Леопард,

убитый мной". Та леопардова шуба, в которой Коля ходил по Петербургу зимой (всегда расстегнутая и гревшая фактически только спину), была из двух леопардов, один из которых был убит им самим, а другой туземцами. В ней он шествовал обыкновенно не по тротуару, а по мостовой, и всегда с папиросой в зубах. На мой вопрос, почему он не ходит по тротуару, он отвечал, что его распахнутая шуба "на мостовой никому не мешает". Уезжая в Африку, Коля говорил, что "У него мечта одна – убить огромного слона, – Особенно, когда клыки – И тяжелы, и велики". И действительно, по его словам, он наполовину исполнил свою мечту: "Он взял ружье и вышел в лес. – на пальму высохшую влез – И ждал". Туземцы ему сообщили, что "...здесь пойдет на водопой лесной народ...". Долго Коля сидел и ждал, как вдруг "В лесу раздался смутный гул, – Как будто ветер зашумел, – И пересекся небосклон – коричневою полосой, – То, поднимая хобот, слон – Вожак вел стадо за собой". Коля "...навел винтовку между глаз", но "гигант лесной" не был "сражен пулей разрывной". Об этих переживаниях Коля говорил, что они были незабываемы.

Коля очень любил традиции и придерживался их, особенно любил всей семьей идти к заутрене на Пасху. Если даже кто-либо из друзей приглашал к себе, он не шел; признавал в этот день только семью. Помню веселые праздничные приготовления. Все, как полагается, одеты в лучшие туалеты. Шли чинно, и Коля всегда между матерью и женой. Шли в царскосельскую дворцовую церковь, которая в этот высокоторжественный праздник была всегда открыта для публики.

В то же время поэт был очень суеверен. Верно Абиссиния заразила его этим. Он до смешного подчас был суеверен, что часто вызывало смех у родных. Помню, когда А.И. переехала в свой новый дом, к ней приехала "тетенька Евгения Ивановна". Тогда она была уже очень старенькая. Тетенька с радостью объявила, что может побыть у нас несколько дней. В присутствии Коли я сказала А.И.: "Боюсь, чтобы не умерла у нас тетенька. Тяжело в новом доме переживать смерть". На это Коля мне ответил: "Вы верно не знаете русского народного поверья. Купив новый дом, умышленно приглашают очень старменьких, преимущественно больных стариков или старушек, чтобы они умерли в доме, а то кто-нибудь из хозяев умрет. Мы все молодые, хотим еще пожить. И это правда, я знаю много таких случаев и твердо в это верю".

5-го июля 1914 года мы с мужем праздновали пятилетний

юбилей нашей свадьбы. Были свои, но были и гости. Было нарядно, весело, беспечно. Стол был красиво накрыт, все утопало в цветах. Посредине стола стояла большая хрустальная ваза с фруктами, которую держал одной рукой бронзовый амур. Под конец обеда без всякой видимой причины ваза упала с подставки, разбилась, и фрукты рассыпались по столу. Все сразу смолкли. Невольно я посмотрела на Колю, я знала, что он самый суеверный; и я заметила, как он нахмурился. Через 14 дней объявили войну. Десятилетний юбилей нашей свадьбы мы с Митей скромно отпраздновали на квартире художника Маковского на Ивановской улице в Петрограде при совсем других обстоятельствах. Все было уже не то, и тогда Коля напомнил нам о разбитой вазе.

День объявления войны застал меня в имении моей матери – Крыжуты, Витебской губернии. Я сейчас же решила ехать к мужу, в Петербург. Приехав туда, поехала на квартиру моих родителей. Отца дома не застала и вообще никого. Оставив записку, помчалась в Царское Село и там узнала, что Коля, движимый патриотическим порывом, записался добровольцем в Лб. Гв. Уланский полк, с которым был отправлен на фронт. Я сама записалась в Свято-Троицкую общину сестер милосердия. Год проработала в Петербурге в лазарете, а затем была отправлена в перевязочный отряд при 2-й финляндской дивизии. В этой дивизии мой муж был в пехотном полку, был награжден "Владимиром с мечами", пробыл три года на фронте и был сильно контужен. Коля уже в начале войны успел настолько отличиться, что был дважды награжден георгиевским крестом за храбрость. Для поэта война была родная стихия, и он утверждал: "И воистину светло и свято – Дело величавое войны. – Серафимы ясны и крылаты – За плечами воинов видны...". Несколько раз Коля приезжал на несколько дней в отпуск и раза два-три наши отпуска совпадали. Мы все трое "фронтовые", как называла нас Муся (племянница), делились впечатлениями. Было метко сравнение поэта:

Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемет;
И жужжат шрапнели, словно пчелы,
Собирая ярко-красный мед".

Как отец, Коля был очень заботлив и нежен. Он много возился со своим первенцем Левушкой, которому часто посвящал весь свой досуг. Когда Левушке было 7-8 лет, он любил с ним играть и любимой игрой была, конечно, война. Коля с буме-

рангом изображал африканских вождей. Становился в разные позы и увлекался игрой почти наравне с сыном. Богатая фантазия отца передалась и Левушке. Их игры часто были очень оригинальны. Любил Коля и читать сыну и сам много ему декламировал. Ему хотелось с ранних лет развить в сыне вкус к литературе и стихам. Помню, как Левушка мне часто декламировал наизусть "Мика", которого выучил, играя с отцом. Все это происходило уже в Петербурге, когда мы жили вместе. Часто к нам приходили мои племянники и дети Чудовского.[12] Вся детвора всегда льнула к доброму дяде Коле (так они его называли) и для каждого из них он находил ласковое слово. Помню, как он хлопотал и суетился, украшая елку, когда уже ничего не было и все доставалось с невероятными усилиями. Но он все же достал тогда детские книги, которыми награждал всю детвору. Удалось ему достать и красивую пышную елку. И веселились же дети, а смотря на них, и взрослые, в особенности сам Коля!

В 1917 г. Коля должен был отправиться на Салоникский фронт. Он поехал в Париж через Финляндию и Швецию, но, прибыв в Париж, был оставлен там в распоряжении представителя Временного Правительства, чем был сильно огорчен. Там он пробыл год.

В 1918 году он записался на Месопотамский фронт, но для этого должен был поехать в Англию. Это было в начале года. Но, увы! и тут ему не удалось уехать в действующую армию, в Месопотамию. В Лондоне он пробыл несколько месяцев и весной вернулся через Мурманск в Петербург. Не успел Коля после своих долгих скитаний по загранице вернуться, как сразу окунулся с головой в свой литературный мир. Единственное, что он действительно горячо любил и чему отдавался всей душой, это только одну поэзию. Он был всецело поэт!

В конце 1918 года Коля был членом Литературного Кружка и работал в Доме Литераторов. В этом же году он развелся с Анной Ахматовой.[13]

В 1919 году поэт преподавал во многих литературных студиях, в Институте Истории Искусства, в Институте Живого Слова.[14] Я поступила слушательницей в Институт Истории Искусства на археологический факультет к проф. Струве, но часто заходила слушать Колю. Он читал очень интересно.

В 1919 году Коля женился вторым браком на Анне Николаевне Энгельгардт. После того, как семье Гумилевых пришлось покинуть свой дом в Царском Селе с его чудной библиотекой,[15] они переехали в Петербург. Художник Маковский предложил Коле временно свою квартиру на Ивановской улице. Мы все соединились, кроме Александры Степановны Сверчковой. Времена стали тяжелые. Анне Ивановне трудно было добывать продукты, стоять в очередях, и Коля просил меня взять на себя хозяйство. Анна Николаевна, – в семье называвшаяся Ася, – была еще слишком молода. Помню, как однажды Коля, такой бодрый и веселый, пришел к мужу и ко мне в комнату и пригласил нас в Тенишевское училище на литературное утро. Выступали там – Коля, А.А. Блок, жена Блока – Любовь Дмитриевна и молодые поэты. Зал был переполнен. Любовь Дмитриевна в первый раз публично прочла "Двенадцать". Когда она продекламировала последние слова поэмы: "В белом венчике из роз, впереди – Исус Христос", – в зале поднялся сильный шум. Одни громко аплодировали, другие шикали, свистели, громко кашляли. Творилось что-то ужасное! Зал еще бушевал, когда мы увидели с мужем, что на эстраду не спеша поднимается наш Коля. Мне было за него как-то не по себе. Мы сильно за него волновались. Коля поднялся на эстраду и стал. Он стоял спокойно, выдержанно. Ждал, пока публика перестанет бушевать. Мало-помалу шум улегся. Коля подождал еще некоторое время. И только когда все успокоились, он стал читать свои "Персидские газэллы". После него выступил А. Блок. Только на следующий день Коля нам рассказал, что А.Блок отказался сейчас же после поэмы "Двенадцать" выйти на эстраду. Тогда Коля решил его выручить и вышел раньше времени, не по программе.[16]

В 1920 году нам пришлось разъехаться. Муж получил назначение в Петергоф, а Анна Ивановна осталась жить с Левушкой, Колей и Асей, которые переехали на Преображенскую улицу №5. В это время Ася ожидала прибавления семейства, чему Коля был очень рад и говорил, что его "мечта" иметь девочку, и когда маленькая Леночка[17] родилась на свет Божий, доктор, взяв младенца на руки, передал его Коле со словами: "Вот ваша мечта".

В 1921 г. последний раз мой муж, Коля и я встретили Новый год вместе. А.И. с Левушкой и Асей уехали в Бежецк, а Коля остался один. В Бежецке легче можно было достать продукты, что для Левушки и Аси было очень важно. Новый год – это уже семейный праздник, и мы трое его хотели встре-

тить вместе. Встретили мы Новый год очень оживленно и уютно. Никто из нас не предполагал, что этот год будет для нас трагическим, что это последний раз, что мы все вместе встречаем Новый год.

Помню, как тогда я по вечерам приходила в кабинет к Коле обсуждать с ним меню на следующий день. Заставала его сидящим в большом глубоком кресле всегда с пером в его "как точеной" руке. Он всегда сосредоточенно обсуждал все со мною, внимательно выслушивая, что я ему говорила. Когда я теперь отдаюсь воспоминаниям о моей совместной жизни с ним, то он представляется мне, каким я его видела в эти последние памятные мне дни. Бодрый, полный жизненных сил, в зените своей славы и личного счастья со своей второй хорошенькой женой, всецело отдавшийся творчеству. Ни тяжелые годы войны, ни еще более тяжелая обстановка того времени не изменили его морального облика. Он был все таким же отзывчивым, охотно делившимся с каждым всем, что он имел. Как часто приходили в дом разные бедняки! Коля никогда не мог никому отказать в помощи.

В последний раз в жизни мне пришлось видеть Колю в самом конце июля 1921 года (1-го августа я уехала с больным мужем). Муж очень плохо себя чувствовал и просил меня зайти к Коле и принести привезенные им письма от Анны Ивановны. Коля, будучи у нас утром, забыл их захватить. Когда я пришла к нему, он меня встретил на лестнице и сказал: "А я как раз собирался к вам с письмами мамы. Какой сегодня чудный солнечный день, пройдемтесь немного, а затем зайдем вместе к Мите". И мы пошли прямо по Преображенской улице к Таврическому саду. Гуляя по вековым аллеям роскошного сада, разговорились; затем сели под дуб на скамейку отдохнуть. Тут поэт разоткровенничался. Первый раз за всю мою двенадцатилетнюю жизнь в их доме он был со мною откровенен. Сначала он рассказывал о путешествиях, потом перешел на свои взгляды на жизнь, на брак, много говорил о своих душевных переживаниях и о тех минутах одиночества, когда, уйдя в себя, он думал о Боге.

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
И жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

Потом стал расспрашивать меня о моей жизни, о любви к мужу и спросил, была ли я с ним счастлива за двенадцать лет.

На мой утвердительный ответ и под влиянием этой интимной беседы, Коля стал мне декламировать, как сейчас помню, свое стихотворение "Соединение":

Луна восходит на ночное небо.
По озеру вечерний ветер бродит,
Целуя осчастливленную воду.
О, – как божественно соединенье
Извечно созданного друг для друга –
Но люди, созданные друг для друга,
Соединяются, увы, так редко!

Потом мы медленно, молча пошли домой. Такого бесконечно грустного Колю я никогда не видела. Это была последняя в жизни прогулка с Колей. Она надолго осталась у меня в памяти. Тогда мне и в голову не могло прийти, что его мысли омрачаются предчувствием скорой гибели и что он думал о "пуле, что его с землею разлучит".

25-го августа 1921 года трагически погиб наш талантливый поэт Николай Степанович Гумилев. Мы узнали об этом из газет. На здоровье моего бедного тяжело больного мужа гибель единственного любимого брата сильно подействовала. Он проболел еще некоторое время и тихо скончался. Несмотря на дружеские отношения с братом, поэт скрыл от него, от всей семьи и даже от матери, с которой был так откровенен, свое участие в заговоре.

ИОГАННЕС ФОН ГЮНТЕР

ПОД ВОСТОЧНЫМ ВЕТРОМ

...И вот я третий раз в Петербурге. Меблированные комнаты "Рига", где я прожил многие месяцы, были в самом лучшем месте Невского проспекта, наискосок от Гостиного двора. Около двенадцати пошел к Кузмину, он жил теперь у Вячеслава Иванова, который уступил ему две комнаты. Мне хотелось многое рассказать Кузмину о минувших пятнадцати месяцах, но немного огорчило то, что он рассказал о новом журнале.

К двум московским журналам – брюсовским "Весам", дышавшим на ладан, и "Золотому руну", которое с трудом держалось после того, как Рябушинский прекратил ему свою помощь, в Петербурге должен был присоединиться еще один, в котором уже работали все мои друзья, – а меня никто не пригласил. Журнал назывался "Аполлон", издавал его писатель, поэт и историк искусства Сергей Маковский, с которым я когда-то спорил о Дионисе и Аполлоне. Значит, Аполлон победил, но без меня. Видимо, в редакции места для меня не было, – отдел немецкой литературы был поручен поэту с немецкой фамилией: Виктору Гофману.[1]

Но в тот же день Кузмин извлек меня из моей квартиры и повлек в редакцию, которая находилась в первом этаже старинного особняка XVIII столетия на живописной Мойке, недалеко от квартиры Пушкина, где он и умер. Маковский встретил приветливо и сразу же предложил вступить в "молодую редакцию Аполлона". – "А Виктор Гофман?" – "Что же Виктор Гофман? Он сам увидит, что вы самый подходящий для нас человек". И Гофман действительно не возражал. Так я оказался в "молодой редакции Аполлона", – "молодой", потому что в России редакторами толстых журналов обычно были седовласые и бородатые господа.[2]

Уважение, почтение и любовь побуждают меня сначала вспомнить об одном из создателей "Аполлона" – Иннокентии Федоровиче Анненском. В долгих разговорах он убедил Маковского в необходимости журнала, который среди разброда различных течений утверждал бы постулаты вневременного и непреходящего искусства. Анненский, – тогда ему было уже за пятьдесят, – в лучшем смысле слова был душой нашей редакции. Мы все чувствовали себя его учениками.

Я имел счастье ему понравиться. Он прочел рукопись моей пьесы "Маг", и по его желанию она появилась уже в третьем номере "Аполлона" (декабрь 1909), в переводе Петра Потемкина. После этого, в начале 1910, она была поставлена в Киеве и потом много раз на любительских сценах. Насколько Анненский ценил моего "Мага", видно из его посвящения на сборнике стихов: "Магу мага". Лестное стихотворение, которое он мне посвятил, сохранилось, пожалуй, только в моем переводе.[3]

Дружба наша была кратковременной. Я познакомился с ним в первых числах октября, – а уже 30 ноября у него случился разрыв сердца, в Петербурге на царскосельском вокзале, когда он собирался ехать домой. Его смерть была большой потерей для нас. Мы похоронили его в любимом им Царском Селе, священном городе муз юного Пушкина.

Был в редакции еще друг Маковского, историк искусств барон Врангель, считавшийся соиздателем "Аполлона". Никто из нас в коротких отношениях с ним не был, хотя он и был очень предупредителен, очень умен и большой знаток искусства. А вот с секретарем редакции мы скоро подружились и даже перешли на "ты", что я делаю неохотно. Из русских друзей я был на "ты" еще только с Кузминым, Гумилевым и Ауслендером. Евгения Александровича Зноско-Боровского я знал как давно уже знаменитого русского шахматиста, – но он был еще и большим знатоком театра, обладателем тонкого ума, всегда хорошего настроения и готовности каждому помочь, а также умением принимать скорые и верные решения. Среди нас, помешанных, он был единственным, кто мыслил ясно и реально. Он ушел от нас в 1911 году, когда в Петербурге происходил большой шахматный турнир. Мы все об этом жалели и о Зноско, несмотря на все писательские интриги, никто не сказал дурного слова.

В первые месяцы мы каждый день собирались в редакции, где, конечно, было много болтовни. Но иногда это нужно:

бывало, что в болтовне рождались большие мысли и в работу редакции вносились значительные вклады.

Мы считали себя символистами, мы принадлежали символизму, – но стихи второго поколения символистов представлялись нам уже скучными и ненужными. Символизм с его субъективными оценками весьма реальных понятий казался нам слишком педантичным – и не лишенным налета пафоса. Я не собираюсь тут возражать против символотворчества, которое лежит в основе всякой поэзии. Но во многие понятия вкладывалось уж слишком много значения – и из вполне ясных вещей часто поэтому получалось нечто вроде субъективной игры в прятки.

Подобные вопросы мы часто обсуждали с моим другом Михаилом Кузминым, – "аббат" был самым старшим в нашей молодой редакции, где заведовал отделом новой русской прозы и поэтому в теоретических спорах имел право решающего голоса. Наши с ним беседы позже нашли свое отражение в его статье "О прекрасной ясности",[4] которая и сейчас, через 60 лет, не потеряла своего значения. Без его поэтической честности начавшийся уже тогда распад символизма и возникновение новой школы – акмеизма, были бы немыслимы. Теперь это охотно забывается. Но никому, кто ослеплен сегодня именами Гумилева, Анны Ахматовой, Мандельштама, не следовало бы забывать, что они были учениками Кузмина, одни открыто, другие завуалировано.

Энергичнее всех против символизма выступал Гумилев.

Я познакомился с ним в первый же день. Он был предводителем небольшой оппозиции против меня – и пожалуй первым, кто меня принял. В первое время мы были неразлучны. В "Аполлоне" он руководил отделом поэзии и должен был читать все присылаемые стихи, – это были лавины. У него было множество учеников и последователей – одним из первых был Осип Мандельштам. Великолепный учитель, в совершенстве знавший законы стихосложения, Гумилев оказывал на тогдашнее молодое поколение даже большее влияние, чем Блок. Анненским он восхищался. И почти постоянно был влюблен, пользовался большим успехом у женщин и девушек, хотя вовсе не был хорош собой.

Несмотря на сухость мысли, он был откровенным фантастом. Отсюда, вероятно, проистекала и его страсть к дальним,

экзотическим странствиям, – однажды он довольно долго был в Африке, оба раза[5] в опасных бездорожных районах, командуя толпой малонадежных черных носильщиков. Он был насмешником, – и убежденным монархистом. Мы часто спорили с ним; я мог еще верить, пожалуй, в просвещенный абсолютизм, но уж никак не в наследственную монархию. Гумилев же стоял за нее, но я и сегодня не мог бы сказать, действительно ли был он сторонником дома Романовых? Может быть, скорее сторонником рюриковичей, им самим созданного дома Рюриковых. Он был совершенно не модный человек и несомненно чувствовал себя лучше где-нибудь в Эритрее на коне, чем в автомобиле в Париже или в трамвае в Петербурге. Он любил все необыкновенное, что не исключало для него возможности считать себя почти всегда настоящим реалистом. Он был храбрым солдатом и получил два Георгиевских креста за отвагу перед лицом врага. Не потому ли и был он расстрелян коммунистами в 21 году?

Мы с Гумилевым сошлись на отношении к стихам, у нас были одинаковые взгляды на хорошее и плохое в поэзии. Он тогда как раз перешел от не слишком удачного ученичества у Брюсова к какому-то очень подкупающему классицизму, напоминавшему мастерство французских парнасцев.

Из театральных людей в редакции постоянно бывали Мейерхольд и Евреинов. Два противника. Мейерхольд острил насчет Евреинова – Евреинов ненавидел Мейерхольда. Евреинов, тогда тридцатилетний, был бесспорно гениальным режиссером, – но, по-моему, режиссером интимного действия. Он выглядел как олицетворенное самомнение, маленький, злой, желчный; его голос, похожий на хриплое карканье, до сих пор засел в моих ушах. Иногда он меня поражал, – впрочем, как сторонник Мейерхольда, я не выносил его и поэтому и сейчас не могу быть к нему справедливым.

К театральным сотрудникам принадлежал еще симпатичный Андрей Яковлевич Левинсон, несомненно лучший знаток европейского балета. Мы с ним скоро сошлись в восторженном поклонении балерине Тамаре Карсавиной, которую мы обожали, тогда как над ее прославленной соперницей, знаменитой Анной Павловой, несправедливо и глупо подшучивали.

...Между прочим, открытие "Аполлона" было отпраздновано в знаменитом петербургском ресторане Кюба. Первую речь об "Аполлоне" и его верховном жреце Маковском произнес Анненский, за ним выступили два известных профессора, чет-

вертым говорил наш милый Гумилев от имени молодых поэтов. Но так как перед этим мы опрокинули больше рюмок, чем следовало, его речь получилась немного бессвязной. После него я должен был приветствовать "Аполлон" от европейских поэтов. Из-за многих рюмок водки, перцовки, коньяка и прочего, я решил последовать примеру Эдуарда Шестого и составил одну замысловатую фразу, содержавшую все, что надо было сказать. Я без устали повторял ее про себя и таким образом вышел из положения почти без позора. Я еще помнил, как подошел к Маковскому с бокалом шампанского, чтобы чокнуться с ним – затем занавес опускается.

Очнулся я на минуту в маленькой комнате, где пили кофе; моя голова доверчиво лежала на плече Алексея Толстого, который, слегка окостенев, собирался умываться из бутылки с бенедиктином. Занавес.

Потом, в шикарном ресторане Донон, мы сидели в баре и с Вячеславом Ивановым глубоко погрузились в теологический спор. Конец этому нелегкому дню пришел в моей "Риге", где утром Гумилев и я пили черный кофе и сельтерскую, принимая аспирин, чтобы хоть как-нибудь продрать глаза. Конечно, такие сцены были редки. Это был особый случай, когда вся молодая редакция была коллективно пьяна.

И мы в самом деле были коллективом. Мы часто действовали коллективно. Рукописи, в особенности стихи, зачастую читались коллективно и так же отклонялись. Критика тоже производилась коллективно. И тоже коллективно мы были влюблены в поэтессу Черубину де Габриак. Об этом необходимо рассказать подробнее – потому что, возможно, я один знаю ее подноготную,[6] как непосредственный участник и таким образом могу разрешить загадку одной русской литературной истории.

Эта еще и сегодня не совсем забытая история некоторыми была нарисована недостаточно верно, в силу личных причин. Не совсем правильно передал ее в своих воспоминаниях и мой друг Маковский, может быть, потому, что ему неприятно было тогдашнее увлечение. К тому же мне кажется, что эта любопытная история очень симптоматична для тех лет, хотя, конечно, такие водевили с переодеваниями, составленные из любви и честолюбия, могут случаться во всякое время. Но те времена, с их возбуждающей постоянной игрой и склонностью к духовному маскараду, создавали благодарную почву для произрастания особенных ядовитых орхидей.

Однажды Маковский получил письмо на элегантной бумаге с траурной каймой, посланное неизвестной дамой, подписавшейся "Черубина де Габриак"; к письму были приложены стихи, которые были найдены хорошими. Адрес указан не был. Через некоторое время пришло еще письмо, с еще лучшими стихами, и опять без адреса. Третье письмо. Потом – звонок по телефону: низкий, влекущий женский голос, иногда слегка шепелявящий. И еще письма, телефонные звонки, разговоры – по телефону – по полчаса. Она – испанская аристократка, одинокая, чувствительная, жаждущая жизни, ее духовник – строгий иезуит; мать умерла давно... Маковский влюбился в нее по уши; барон Врангель, Зноско, Ауслендер тоже. Гумилев вздыхал по экзотической красавице и клялся, что покорит ее. Вся редакция горела желанием увидеть это сказочное существо. Ее голос был такой, что проникал прямо в кровь. Где собирались трое, речь заходила только о ней.

Все попытки связаться с ней кончались ничем: она отклоняла все предложения о встрече. Но факт, что она все-таки пользовалась телефоном, выдавал известное стремление высказаться. Все завидовали Маковскому. Были впрочем и противники, которые издевались над влюбленной редакцией. Коллективная страсть заразительна: скоро и я вошел в число рыцарей обожаемой Черубины.

Как-то раз после полудня я зашел к Вячеславу Иванову на Таврическую, где предстояло присутствовать на собрании дамского кружка. Там были Анастасия Николаевна Чеботаревская, жена Федора Сологуба, Любовь Дмитриевна Блок, затем очаровательная художница, писавшая и стихи, Лидия Павловна Брюллова, внучка великого классического художника Брюллова; была и поэтесса Елизавета Ивановна Димитриева, которая делала колкие замечания насчет Черубины де Габриак, говоря, что уж наверно она очень безобразна, иначе давно бы уже показалась ее тающим от восторга почитателям. Казалось, дамы с ней согласны и предложили мне, как аполлоновцу, сказать свое мнение. Но я трусливо уклонился.

Димитриева прочла несколько стихотворений, которые мне показались очень талантливыми. Я сказал ей об этом, а когда Любовь Дмитриевна к тому же сказала, что я хорошо перевел стихи ее мужа и уже много перевел русских поэтов, она вдруг стала внимательной ко мне и прочла еще несколько хороших стихотворений. В них было что-то особенное, и я спросил, почему она не пошлет их в "Аполлон". Она ответила,

что ее хороший знакомый, господин Волошин, обещал об этом позаботиться. Вскоре я поднялся, чтобы уйти, – одновременно встала и Димитриева. По петербургскому обычаю, мне пришлось предложить себя в провожатые.

Она была среднего роста, скорее маленькая, довольно полная, но грациозная и хорошо сложена. Рот был слишком велик, зубы выступали вперед, но губы полные и красивые. Нет, она не была хороша собой, скорее – она была необыкновенной, и флюиды, исходившие от нее, сегодня, вероятно, назвали бы "сексом".

Когда, перед ее домом, я помогал ей сойти с извозчика и хотел попрощаться, она вдруг сказала, что хотела бы немного пройтись. Ничего не оставалось, как согласиться, и мы пошли, куда глаза глядят. Получилась довольно долгая прогулка. Она рассказывала о себе, собственно не знаю, почему. Говорила, что была у Максимилиана Волошина в Коктебеле, в Крыму, долго жила в его уютном доме. Я немного пошутил над антропософической любовью Волошина к Рудольфу Штейнеру, который интересовался больше пожилыми дамами с средствами. Это ее не задело; она рассказала, что летом у Макса познакомилась с Гумилевым. Я насторожился. У нее, значит, было что-то и с Гумилевым, – любвеобильная особа! У меня мелькнула мысль: "А, и теперь вы преследуете своим сарказмом Черубину де Габриак, потому что ваши друзья, Макс и Гумилев, влюбились в эту испанку?"

Она остановилась. Я с удивлением заметил, что она тяжело дышит. "Сказать вам?" Я молчал. Она схватила меня за руку. "Обещаете, что никому не скажете?" – спросила она, запинаясь. Помолчав, она, дрожа от возбуждения, снова сказала: "Я скажу вам, но вы должны об этом молчать. Обещаете?" – и опять замолчала.

Потом подняла голову. "Я должна вам рассказать... Вы единственный, кому я это говорю..." Она отступила на шаг, решительно подняла голову и почти выдавила: "Я – Черубина де Габриак!" Отпустила мою руку, посмотрела внимательно и повторила, теперь тихо и почти нежно: "Я – Черубина де Габриак".

Безразлично-любезная улыбка на моем лице застыла. Что она сказала? Что она – Черубина де Габриак, в которую влюблены все русские поэты? Она лжет, чтобы придать себе значительности! "Вы не верите? А если докажу?" Я холодно улыбнул-

ся. ”Вы же знаете, что Черубина каждый день звонит в редакцию и говорит с Сергеем Константиновичем. Завтра я позвоню и спрошу о вас...” Защищаясь, я поднял руку: ”Но ведь тогда я должен буду рассказать, что вы мне сейчас сказали...” Она вдруг совсем успокоилась и, подумав, ответила: ”Нет, я спрошу о его иностранных сотрудниках и если он назовет ваше имя... тогда я опишу вас и спрошу, не тот ли это человек, с которым я познакомилась три года тому назад в Германии, в поезде, не сказав ему своего имени”.

Я задумался. До чего же находчива! Но солгать стоило. ”Лучше скажите, что два года назад, тогда я был в Мюнхене”. ”Хорошо, два года. Между Мюнхеном и...” ”Между Мюнхеном и Штарнбергом”. ”И если я скажу это Маковскому, вы поверите, что я – Черубина де Габриак?” Она играла смелую игру. Но ведь могло быть, что это вовсе не игра. ”Мне придется вам поверить”. ”И где мы потом встретимся? Я буду звонить, как всегда, после пяти”. ”Хорошо, приходите ко мне к семи...”

На другой день в пять часов в редакции зазвонил телефон. Маковский взволновано взял трубку. Напряженно прислушиваясь, мы делали вид, что занимаемся своими делами. Потом мне послышалось, что Маковский перечисляет иностранных сотрудников. Значит, правда? Черубина де Габриак – Димитриева? Минут через десять Маковский позвал меня. ”Вы никогда мне не говорили, что знакомы с Черубиной де Габриак!” Молодым не трудно лгать. Никогда ее не видел. В поезде между Мюнхеном и Штарнбергом? Ах, Господи, да половина Мюнхена ездит купаться в Штарнберг! Со многими приходилось разговаривать. Черубина де Габриак? Нет, наверное нет...

Когда, перед семью, я пришел домой, мне открыла горничная и сказала с лукавой улыбкой: ”Барышня уже пришла”. Ах, ты, Господи! Еще и это! Какие подозрения возникнут! Я и представить себе не мог, каковы они будут, – потому что Елизавета Ивановна некоторое время посещала меня почти ежедневно. Она не могла наговориться о себе и о своих прелестных стихах, не могла насытиться их чтением... Вскоре я узнал, что все это литературное волшебство Черубины де Габриак выросло не только на ее грядке, что тут действовало целое поэтическое акционерное общество. Но кто же были акционеры?

В каком-то смысле я был обманутым обманщиком. Тем не менее, для двадцатитрехлетнего было несравненным наслаждением знать тайну, за разгадкой которой охотился весь Петербург...

* * *

В октябре я снова был в Петербурге...

Гумилев вернулся из Абиссинии, по дороге заехал в Париж и на этот раз действительно женился – на подруге юности, как рассказывал Маковский. Он вернулся в Россию из Парижа в одном поезде с молодой парой и не очень был уверен в продолжительности этого брака.[7]

Я встретился с Гумилевым в "Аполлоне". За ним стояла довольно большая группа молодых людей, которых можно было бы назвать его учениками. Самым гениальным из них несомненно был Осип Эмильевич Мандельштам, молодой еврей с исключительно безобразным лицом и крайне одухотворенной головой, которую он постоянно закидывал назад. Он громко и много смеялся и старался держаться подчеркнуто просто, но все равно он был – одна декламация, в особенности когда торжественно выпевал свои стихи, уставившись в неизвестную точку. Он радовался, как ребенок, когда замечал, что стихи понравились. Я очень жалею, что, помешанный тогда на театре, не сблизился с Мандельштамом и другими учениками Гумилева.

Оказалось, что это новая школа. К учителю нового движения примкнул и Сергей Городецкий, который со своим фольклором, рожденным мифологией, не мог найти ничего общего с символизмом и стоял в стороне, как неприкаянный. Новым поэтам нравился его магический реализм.

Гумилев и Городецкий нашли для своего нового поэтического вдохновения и новое определение – "акмеизм". Название было придумано не очень искусно и давало повод к насмешкам, но оно удержалось. Другое название – "Цех поэтов", было более удачно. То ремесленное, цеховое, что они подчеркнуто выдвигали на первый план, доказывало их серьезное отношение к поэзии, и в этом смысле Гумилев был настоящим цеховым мастером. Иногда я поражался, убеждаясь, как велико было его уменье, как глубоки познания об исходных точках каждого стихотворения, как он умел согласовывать форму и содержание. Друг мой Гумилев, не имевший большого образования, в стихах умел находить малейшие ошибки – и безжалостно выкорчевывал их.

Позже из его учеников наибольшее впечатление на меня произвел Георгий Иванов. Всегда подчеркнуто хорошо одетый, с головой, как камея римского императора, он был вопло-

щением протеста против всякого штукарства в стиле и форме. Его твердая линия в искусстве и склонность Мандельштама к французскому классицизму представлялись мне гарантией дальнейшего процветания русской поэзии.

Умный и ясный дух Кузмина победил, он и был признан всеми как мастер; но он не был достаточно односторонним, чтобы стать вождем всех этих молодых людей. Это качество – неоценимый дар, если хочешь или должен кем-то повелевать. И оно даже не нужно: надо только уверенно и бескомпромиссно играть в односторонность. Гумилев это умел.

Днем мы спорили, проповедовали, провозглашали истины в редакции "Аполлона", – вечером то же продолжалось в "Бродячей собаке", в духе молодого, страстного служения искусству. "Собаку" можно считать местом рождения многих "измов". Сомневаюсь, чтобы в ней родился акмеизм, но без нее он не смог бы так скоро утвердиться. И во всяком случае футуризм и эгофутуризм здесь получили свое крещение.

Игорь Северянин, почти одних лет со мной, отец эгофутуризма. Собственно, он был Лотаревым, Северянин – псевдоним. Супруги Сологубы с большим треском ввели его в свет. Название его первого томика стихов – "Громокипящий кубок", взято из одного стихотворения Тютчева. Успех Северянина был беспримерный, притом стихи его были лишь смесью элегантного вздора с романтической экзотикой и иногда ужасающими неологизмами. Волна совершенно нерусской истерии несла его с эстрады на эстраду...

Здесь же, в "Бродячей собаке", я увидел Ахматову, когда она уже полгода была замужем за Гумилевым.[8] Он знал, как талантлива была Анна Андреевна – и делал все, чтобы оставить ее в пустыне неизвестности. Вознесенный на высоту, он плохо отзывался о ее стихах, издевался над ними, обижал и оскорблял поэтессу.

Маковский, наш мудрый шеф, между тем тоже женился, хотя и не совсем по правилам. В Москве он познакомился с красивой женой одаренного поэта Ходасевича – и получилась трагедия. Марина ушла от своего поэта и после выполнения некоторых формальностей вышла замуж за нашего Сергея Константиновича.

Маковский переехал в Царское Село; Гумилев тоже жил там в родительском доме. Значит было неизбежно, чтобы моло-

дая жена Гумилева подружилась с женой Маковского. Она показала ей свои стихи, – Марина показала их своему мужу. Он был восхищен и решил напечатать их в "Аполлоне". Анна Ахматова сначала протестовала, но Маковский сказал, что ответственность берет на себя. Так произошло открытие нового поэта – Анны Ахматовой...

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

ВЕЧЕР У АННЕНСКОГО

В Царское Село мы приехали с одним из поздних поездов. Падал и таял снег, все было черное и белое. Как всегда, в первую минуту удивила тишина и показался особенно чистым сырой, сладковатый воздух. Извозчик не торопился. Город уже наполовину спал и таинственнее, чем днем была близость дворца: недоброе, неблагополучное что-то происходило в нем – или еще только готовилось, – и город не обманывался, оберегая пока было можно свои предчувствия от остальной беспечной России. Царскоселы все были чуть-чуть посвященные и как-будто связаны круговой порукой.

Кабинет Анненского находился рядом с передней. Ни один голос не долетал до нас, пока мы снимали пальто, приглаживали волосы, медлили войти. Казалось, Анненский у себя один. Гости, которых он ждал в этот вечер, и Гумилев, который должен был поэту нас представить, по-видимому еще не пришли.

Дверь открылась. Все уже были в сборе. Но молчание продолжалось. Гумилев оглянулся и встал нам навстречу. Анненский с какой-то привычной, механической и опустошенной любезностью, приветливо и небрежно, явно отсутствуя и высокомерно позволяя себе роскошь не считаться с появлением новых людей, – или понимая, что именно этим он сразу выдаст им "диплом равенства", – Анненский протянул нам руку.

Он был уже не молод. Что запоминается в человеке? Чаще всего глаза или голос. Мне запомнились гладкие, тускло сиявшие в свете низкой лампы волосы. Анненский стоял в глубине комнаты, за столом, наклонив голову. Было жарко натоплено, пахло лилиями и пылью.

Как я потом узнал, молчание было вызвано тем, что Анненский только что прочел свои новые стихи: "День был ранний и молочно-парный, – Скоро в путь...".

Гости считали, что надо что-то сказать и не находили нужных слов. Кроме того, каждый сознавал, что лучше хотя бы для виду задуматься на несколько минут и замечания свои сделать не сразу: им больше будет весу. С дивана в полутьме уже кто-то поднимался, уже повисал в воздухе какой-то витиеватый комплимент, уже благосклонно щурился поэт, давая понять, что ценит, и удивлен, и обезоружен глубиной анализа, – как вдруг Гумилев нетерпеливо перебил:

– Иннокентий Федорович, к кому обращены ваши стихи?

Анненский, все еще отсутствуя, улыбнулся.

– Вы задаете вопрос, на который сами же хотите ответить... Мы вас слушаем.

Гумилев сказал:

– Вы правы. У меня есть своя теория на этот счет. Я спросил вас, кому вы пишите стихи, не зная, думали ли вы об этом... Но мне кажется, вы их пишете самому себе. А еще можно писать стихи другим людям или Богу. Как письмо.

Анненский внимательно посмотрел на него. Он был уже с нами.

– Я никогда об этом не думал.

– Это очень важное различие... Начинается со стиля, а дальше уходит в какие угодно глубины и высоты. Если себе, то в сущности, ставишь только условные знаки, иероглифы: сам все разберу и пойму, знаете, будто в записной книжке. Пожалуй, и к Богу то же самое. Не совсем, впрочем. Но если вы обращаетесь к людям, вам хочется, чтобы вас поняли, и тогда многим приходится жертвовать, многим из того, что лично дорого.

– А вы, Николай Степанович, к кому обращаетесь вы в своих стихах?

– К людям, конечно, – быстро ответил Гумилев.

Анненский помолчал.

– Но можно писать стихи и к Богу... по вашей терминологии... с почтительной просьбой вернуть их обратно, они всегда возвращаются, и они волшебнее тогда, чем другие... Как полагаете вы, Анна Андреевна? – вдруг с живостью обернулся он к женщине, сидевшей вдалеке в глубоком кресле и медленно перелистывавшей какой-то старинный альбом.

Та вздрогнула, будто испугавшись чего-то. Насмешливая и грустная улыбка была на лице ее. Женщина стала еще бледней, чем прежде, беспомощно подняла брови, поправила широкий шелковый платок, упавший с плеч.

– Не знаю.

Анненский покачал головой.

– Да, да... "есть мудрость в молчании", как говорят. Но лучше ей быть в словах. И она будет.

Разговор оборвался.

– Что же, попросим еще кого-нибудь прочесть нам стихи, – с прежней равнодушной любезностью проговорил поэт.

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН

ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕРУБИНЕ ДЕ ГАБРИАК

...Вячеслав Иванов, вероятно, подозревал, что я – автор Черубины, так как говорил мне: "Я очень ценю стихи Черубины. Они талантливы. Но если это – мистификация, то это гениально". Он рассчитывал на то, что "ворона каркнет". Однако я не каркнул. А.Н. Толстой давно говорил мне: "Брось, Макс, это добром не кончится".

Черубина написала Маковскому последнее стихотворение, которое не сохранилось. В нем были строки:

Милый друг, Вы приподняли
Только край моей вуали.

Когда Черубина разоблачила себя, Маковский поехал к ней с визитом и стал уверять, что он уже давно обо всем знал: "Я хотел дать Вам возможность дописать до конца Вашу красивую поэму"... Он подозревал о моем сообщничестве с Лилей и однажды спросил меня об этом, но я, честно глядя ему в глаза, отрекся от всего. Мое отречение было встречено с молчаливой благодарностью.

Неожиданной во всей этой истории явилась моя дуэль с Гумилевым. Он знал Лилю давно, и давно уже предлагал ей помочь напечатать ее стихи, однако, о Черубине он не подозревал истины. За год до этого, в 1909 г. летом, будучи в Коктебеле[1] вместе с Лилей, он делал ей предложение.

В то время, когда Лиля разоблачила себя, в редакционных кругах стала расти сплетня.

Лиля обычно бывала в редакции одна, так как жених ее

Воля Васильев[2] бывать с ней не мог. Он отбывал воинскую повинность. Никого из мужчин в редакции она не знала. Одному немецкому поэту, Гансу Гюнтеру, который забавлялся оккультизмом, удалось завладеть доверием Лили. Она была в то время в очень нервном, возбужденном состоянии. Очевидно, Гюнтер добился от нее каких-то признаний. Он стал рассказывать, что Гумилев говорит о том, как у них с Лилей в Коктебеле был большой роман. Все это в очень грубых выражениях. Гюнтер даже устроил Лиле "очную ставку" с Гумилевым, которому она принуждена была сказать, что он лжет. Гюнтер же был с Гумилевым на "ты" и, очевидно, на его стороне. Я почувствовал себя ответственным за все это и, с разрешения Воли, после совета с Леманом,[3] одним из наших общих с Лилей друзей, через два дня стрелялся с Гумилевым.

Мы встретились с ним в мастерской Головина в Мариинском театре во время представления "Фауста". Головин в это время писал портреты поэтов, сотрудников "Аполлона". В этот вечер я позировал. В мастерской было много народу, в том числе – Гумилев. Я решил дать ему пощечину по всем правилам дуэльного искусства, так как Гумилев, большой специалист, сам учил меня в предыдущем году: сильно, кратко и неожиданно.

В огромной мастерской на полу были разостланы декорации к "Орфею". Все были уже в сборе. Гумилев стоял с Блоком на другом конце залы. Шаляпин внизу запел "Заклинание цветов". Я решил дать ему кончить. Когда он кончил, я подошел к Гумилеву, который разговаривал с Толстым, и дал ему пощечину. В первый момент я сам ужасно опешил, а когда опомнился, услышал голос И.Ф. Анненского, который говорил: "Достоевский прав. Звук пощечины – действительно мокрый". Гумилев отшатнулся от меня и сказал: "Ты мне за это ответишь" (мы с ним не были на "ты"). Мне хотелось сказать: "Николай Степанович, это не брудершафт". Но я тут же сообразил, что это не вязалось с правилами дуэльного искусства, и у меня внезапно вырвался вопрос: "Вы поняли?" (то есть: поняли, за что?). Он ответил: "Понял".

На другой день рано утром мы стрелялись за Новой Деревней возле Черной Речки если не той самой парой пистолетов, которой стрелялся Пушкин, то во всяком случае современной ему. Была мокрая, грязная весна, и моему секунданту Шервашидзе, который отмеривал нам 15 шагов по кочкам, пришлось очень плохо. Гумилев промахнулся, у меня пистолет дал

осечку. Он предложил мне стрелять еще раз. Я выстрелил, боясь, по неумению своему стрелять, попасть в него. Не попал, и на этом наша дуэль окончилась. Секунданты предложили нам подать друг другу руки, но мы отказались.[4]

После этого я встретился с Гумилевым только один раз, случайно, в Крыму, за несколько месяцев до его смерти. Нас представили друг другу, не зная, что мы знакомы; мы подали друг другу руки, но разговаривали недолго: Гумилев торопился уходить.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

БАШЕННЫЙ ЖИТЕЛЬ

Быт выступа пятиэтажного дома, иль "башни", – единственный, неповторимый; жильцы притекали; ломалися стены; квартира, глотая соседние, стала тремя, представляя сплетение причудливейших коридорчиков, комнат, бездверных передних; квадратные комнаты, ромбы и секторы; коврики шаг заглушали, пропер книжных полок меж серо-бурявых коврищ, статуэток, качающихся этажерочек; эта – музеик; та – точно сараище; войдешь, – забудешь в какой ты стране, в каком времени; все закосится; и день будет ночью, ночь – днем; даже "среды" Иванова были уже четвергами; они начинались позднее 12 ночи. Я описываю этот быт таким, каким уже позднее застал его (в 1909-1910 годах).

Хозяин "становища" (так Мережковские звали квартиру) являлся к обеду: до – кутался пледом; с обвернутою головой утопал в корректурах на низком, постельном диване, работая, не одеваясь, отхлебывая черный чай, подаваемый прямо в постель: часа в три; до – не мог он проснуться, ложась часов в восемь утра, заставляя гостей с ним проделывать то же; к семи с половиною вечера утренний, розовый, свежий, как роза, умытый, одетый, являлся: обедать: проведший со мною на "башне" два дня Э.К. Метнер на третий сбежал; я такую выдержал жизнь недель пять; возвращался в Москву похудевший, зеленый, осунувшийся, вдохновленный беседой ночною, вернее, что – утренней.

...Мы же, жильцы, проживали в причудливых переплетениях "логова": сам Вячеслав, М.Замятина, падчерица, Шварцалон, сын, кадетик, С.К. Шварцалон, взрослый пасынок; в дальнем вломлении стен, в двух неведомых мне комнатушках, писатель Кузмин проживал: у него ночевали "свои": Гумилев, живший

в Царском; и здесь приночевывали: А.Н. Чеботаревская, Минцлова, я, Степун, Метнер, Нидендер, в наездах на Питер являлись: здесь жить; меры не было в гостеприимстве, в радушии, в ласке, оказываемых гостям "Вячеславом Великолепным": Шестов так назвал его.

Чай подавался не ранее полночи; до – разговоры отдельные в "логовах" разъединенных; в оранжевой комнате у Вячеслава, бывало, с о в е т Петербургского религиозно-философского общества; или отдельно заходят: Агеев, Юрий Верховский, Д.В. Философов, С.П. Каблуков, полагавший (рассеян он был), что петух – не двулапый, а четырехлапый, иль Столпнер, вертлявенький, маленький, лысенький, в страшных очках, но с глазами ребенка, настолько питавшийся словом, что не представлялось, что может желудок его варить пищу действительную; иль сидит с Вячеславом приехавший в Питер Шестов, или Юрий Верховский, входящий с написанным им сонетом с такой же железной необходимостью, как восходящее солнце: изо дня в день.

У В.Шварцалон, в эти годы курсистки, – щебечущий выводок филологичек сюрприз репетирует: для Ф.Зелинского; ну, а в кузьминском углу собрался "Аполлон": Гумилев, Чудовской, или Зноско-Боровский с Сергеем Маковским; со мною – ко мне забегающие: Пяст, Княжин иль Скалдин.

...Вячеслав любил шуточные поединки, стравляя меня с Гумилевым, являвшимся в час, ночевать (не поспел в свое Царское), в черном, изысканном фраке, с цилиндром, в перчатке; сидел, точно палка, с надменным, чуть-чуть ироническим, но добродушным лицом; и парировал видом наскоки Иванова.

Мы распивали вино.

Вячеслав раз, подмигивая, предложил сочинить Гумилеву платформу: "Вы вот нападаете на символистов, а собственной твердой позиции нет! Ну, Борис, Николаю Степановичу сочиника позицию..." С шутки начав, предложил Гумилеву я создать "адамизм"; и пародийно стал развивать сочиняемую мной позицию; а Вячеслав, подхвативши, расписывал; выскочило откуда-то мимолетное слово "акмэ", острие: "Вы, Адамы, должны быть заостренными". Гумилев, не теряя бесстрастия, сказал, положив нога на ногу:

– Вот и прекрасно: вы мне сочинили позицию – против себя: покажу уже вам "акмеизм"!

Так он стал акмеистом; и так начинался с игры разговор о конце символизма.

Иванов трепал Гумилева; но очень любил; и всегда защищал в человеческом смысле, доказывая благородство свое в отношении к идейным противникам; все-таки он – удивительный, великолепнейший, добрый, незлобивый. Сколько мне одному напростил он!

Из частых на "башне" – запомнились: Е.В. Аничков, профессор и критик, Тамамшева (эс-де), Беляевские, устроительницы наших лекций, учительницы, прилетающие между лекциями с тарараканьем, Столпнер, С.П. Каблуков, математик-учитель и религиозник, Протейкинский, Бородаевский, Н.Недоброво, Скалдин, Чеботаревская, Минцлова, Ремизов, Юрий Верховский, Пяст, С.Городецкий, священник Агеев; являлись многие: Лосский, Бердяев, Булгаков, писатель Чапыгин, Шестов, Сюннерберг, Пимен Карпов, поэты, сектанты, философы, богоискатели, корреспонденты; Иванов-Разумник впервые встретился мне здесь.

ВЕРА НЕВЕДОМСКАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ О ГУМИЛЕВЕ И АХМАТОВОЙ

Судьба свела меня с Гумилевым в 1910 году. Вернувшись в июле из заграницы в наше имение "Подобино" – в Бежецком уезде Тверской губ. – я узнала, что у нас появились новые соседи. Мать Н.С. Гумилева получила в наследство небольшое имение "Слепнево", в 6 верстах от нашей усадьбы.[1] Слепнево собственно не было барским имением, это была скорее дача, выделенная из "Борискова", имения Кузьминых-Караваевых. Мой муж уже побывал в Слепневе несколько раз, получил от Гумилева его недавно вышедший сборник "Жемчуга" и был уже захвачен обаянием гумилевской поэзии.

Я как сейчас помню мое первое впечатление от встречи с Гумилевым и Ахматовой в их Слепневе. На веранду, где мы пили чай, Гумилев вошел из сада; на голове – феска лимонного цвета, на ногах – лиловые носки и сандалии и к этому русская рубашка. Впоследствии я поняла, что Гумилев вообще любил гротеск и в жизни, и в костюме. У него было очень необычное лицо: не то Би-Ба-Бо, не то Пьеро, не то монгол, а глаза и волосы светлые. Умные, пристальные глаза слегка косят. При этом подчеркнуто-церемонные манеры, а глаза и рот слегка усмехаются; чувствуется, что ему хочется созорничать и подшутить над его добрыми тетушками, над этим чаепитием с вареньем, с разговорами о погоде, об уборке хлебов и т.п.

У Ахматовой строгое лицо послушницы из староверческого скита. Все черты слишком острые, чтобы назвать лицо красивым. Серые глаза без улыбки. Ей могло быть тогда 21-22 года. За столом она молчала и сразу почувствовалось, что в семье мужа она чужая. В этой патриархальной семье и сам Николай Степанович, и его жена были, как белые вороны. Мать огорчилась тем, что сын не хотел служить ни в гвардии, ни по дипло-

матической части, а стал поэтом, пропадает в Африке и жену привел какую-то чудную: тоже пишет стихи, все молчит, ходит то в темном ситцевом платье вроде сарафана, то в экстравагантных парижских туалетах (тогда носили узкие юбки с разрезом). Конечно, успех "Жемчугов" и "Четок" произвел в семье впечатление, однако отчужденность все же так и оставалась. Сама Ахматова так вспоминает об этом периоде своего "тверского уединения":

. . . .
Но все мне памятна до боли
Тверская скудная земля.
Журавль у ветхого колодца,
Над ним, как кипень, облака,
В полях скрипучие воротца,
И запах хлеба, и тоска.
И те неяркие просторы,
Где даже голос ветра слаб.
И осуждающие взоры
Спокойных, загорелых баб.

После чая мы, молодежь, пошли в конюшню смотреть лошадей, потом к старому пруду, заросшему тиной. Выйдя из дома, Николай Степанович сразу оживился, рассказывал об Африке, куда он мечтал снова поехать. Потом он и Ахматова читали свои стихи. Оба читали очень просто, без всякой декламации и напевности, которые в то время были в моде. Расставаясь, мы сговорились, что Гумилевы приедут к нам на другой же день.

Наше Подобино было совсем не похоже на Слепнево. Это было подлинное "дворянское гнездо" – старый барский дом с ампирными колоннами, громадный запущенный парк, овеянный романтикой прошлого, верховые лошади и полная свобода. Там не было гнета "старших": мой муж в 24 года распоряжался имением самостоятельно. Были тетушки, приезжавшие на лето, но они сидели по своим комнатам и не вмешивались в нашу жизнь.

Здесь Гумилев мог развернуться, дать волю своей фантазии. Его стихи и личное обаяние совсем околдовали нас и ему удалось внести элемент сказочности в нашу жизнь. Он постоянно выдумывал какую-нибудь затею, игру, в которой мы все становились действующими лицами. И в конце концов мы стали видеться почти ежедневно.

Началось с игры в "цирк". В Слепневе с верховыми лошадьми дело обстояло плохо: выездных лошадей не было, и Николай Степанович должен был вести длинные дипломатические переговоры с приказчиком, чтобы получить под верх пару полурабочих лошадей. У нас же в Подобине, кроме наших с мужем двух верховых лошадей, всегда имелось еще несколько молодых лошадей, которые предоставлялись гостям. Лошади, правда, были еще мало объезженные, но никто этим не смущался. Николай Степанович ездить верхом, собственно говоря, не умел, но у него было полное отсутствие страха. Он садился на любую лошадь, становился на седло и проделывал самые головоломные упражнения. Высота барьера его никогда не останавливала и он не раз падал вместе с лошадью.

В цирковую программу входили также танцы на канате, хождение колесом и т.д. Ахматова выступала как "женщина-змея"; гибкость у нее была удивительная – она легко закладывала ногу за шею, касалась затылком пяток, сохраняя при всем этом строгое лицо послушницы. Сам Гумилев, как директор цирка, выступал в прадедушкином фраке и цилиндре, извлеченных из сундука на чердаке. Помню, раз мы заехали кавалькадой человек в десять в соседний уезд, где нас не знали. Дело было в Петровки, в сенокос. Крестьяне обступили нас и стали расспрашивать – кто мы такие? Гумилев не задумываясь ответил, что мы бродячий цирк[2] и едем на ярмарку в соседний уездный город давать представление. Крестьяне попросили нас показать наше искусство и мы проделали перед ними всю нашу "программу". Публика пришла в восторг и кто-то начал собирать медяки в нашу пользу. Тут мы смутились и поспешно исчезли.

В дальнейшем постоянным нашим занятием была своеобразная игра, изобретенная Гумилевым: каждый из нас изображал какой-то определенный образ или тип – "Великая Интриганка", "Дон Кихот", "Любопытный" (он имел право подслушивать, перехватывать письма и т.п.), "Сплетник", "Человек, говорящий всем правду в глаза" и так далее. При этом назначенная роль вовсе не соответствовала подлинному характеру данного лица – "актера", скорее наоборот, она прямо противоречила его природным свойствам. Каждый должен был проводить свою роль в повседневной жизни. Забавно было видеть, как каждый из нас постепенно входил в свою роль и перевоплощался. Наша жизнь как бы приобрела новое измерение. Иногда создавались очень острые положения; но сознание, что все это лишь шутка, игра, останавливало назревавшие конфликты. Старшее

поколение смотрело на все это с сомнением и только качало головой. Нам говорили: "В наше время были приличные игры: фанты, горелки, шарады... А у вас – это что же такое? Прямо умопомрачение какое-то!"

Но влияние Гумилева было неизмеримо сильнее тетушкиных поучений. В значительной мере нас увлекала именно известная рискованность игры. В романтической обстановке старых дворянских усадеб, при поездках верхом при луне и т.п. конечно были увлечения, более или менее явные, и игра могла привести к столкновениям. В характере Гумилева была черта, заставлявшая его искать и создавать рискованные положения, хотя бы лишь психологически. Помимо этого у него было влечение к опасности чисто физической. В беззаботной атмосфере нашей деревенской жизни эта тяга к опасности находила удовлетворение только в головоломном конском спорте. Позднее она потянула его на войну. Гумилев поступил добровольцем в Лейб-Гвардии Уланский полк. Не было опасной разведки, в которую он бы не вызвался. Для него война была тоже игрой – веселой игрой, где ставкой была жизнь. При большевиках он с увлечением составлял заговор среди матросов. Арестованный, он спокойно заявил себя монархистом и непримиримым противником большевизма. Несомненно, что и на расстрел он вышел совершенно спокойно – это входило в правила игры.

Но я забегаю вперед... Мне вспоминается осень 1911 года. В конце августа начались осенние дожди и прекратили наше кочевание по округе.[3] Кому-то явилась мысль о домашнем театре. Мы все забрались в нашу старую библиотеку, где "последней новинкой" было одно из первых изданий Пушкина (там было тоже издание Вольтера, которое можно было читать только в лупу). Все уселись с ногами на диваны, и Николай Степанович стал сочинять пьесу. Называлась она "Любовь отравительница"; место действия – Испания; эпоха – 13-й век. Желания у нас, актеров, были очень пестры: один настаивал, чтобы были введены персонажи итальянской "Комедиа дель Арте" – Коломбина, Пьеро, Арлекин и т.д.; другой непременно хотел, чтобы был кардинал, третий требовал яда и смертей, еще кто-то просил для себя роли привидения. И Николай Степанович, шутя, тут же при нас создал пьесу в стихах. Текст пьесы остался в России. В свое время мы все знали его наизусть, но за 40 с лишним лет стихи стерлись из памяти, кроме немногих отдельных строчек. Вот краткое содержание этой пьесы:

Раненый рыцарь, возвращаясь из похода против мавров,

попадает в провинциальный монастырь. Монашки ухаживают за ним, и он увлекается послушницей, сестрой Марией. Игуменья узнает об этом и возмущена. Влюбленные удручены; но судьба посылает им помощь в лице кардинала, дяди рыцаря. Возвращаясь из Рима от Папы, кардинал по дороге узнает, что его племянник лежит в монастыре раненый, и он заезжает навестить его. Кардинал светский и элегантный, и ему сразу ясна ситуация. Он отзывает игуменью в сторону и между ними происходит очаровательная сцена: кардинал в певучей латинской речи внушает игуменье снисходительность к увлечениям молодежи. Провинциальная игуменья слаба в латыни; она робеет, путается в словах и от конфуза на все соглашается. Фокус Гумилева был в том, что весь разговор был только музыкальной имитацией латыни: отдельные латинские слова и латино-подобные звуки сплетались в стихах, а содержание разговора передавалось только жестами и мимикой.

Казалось бы, все улажено; но судьба создает новое препятствие. В свое время отец рыцаря был убит кем-то неизвестным, и рыцарь связан клятвой мести. Неожиданно появляется друг рыцаря и сообщает, что какая-то старая цыганка, умирая, открыла тайну: отец рыцаря был убит отцом сестры Марии. Долг мести препятствует браку. Все мрачны и соответственно этому сцена темнеет, сверкает молния, гремит гром и начинается ливень. Стук в монастырские ворота, и жалобные голоса просят приюта на ночь. Это труппа странствующих комедиантов, промокших до нитки. Они отряхиваются, осматриваются и очень быстро уясняют положение дела. Коломбина выступает в защиту любви:

"Христос велел любить!"
Игуменья: "Как сестры и как братья!"
Коломбина: "По всячески и верно без изъятья!"

Обращаясь к рыцарю, комедианты поют:

"Милый дон, что за сон?
Ты ведь юн и влюблен!
Брачного платья мягкий шелк
Забыть поможет тяжкий долг..."

Рыцарь колеблется. Кардинал, любитель театра, просит комедиантов показать свое искусство. Коломбина быстро распределяет роли:

"Ты будь Агамемнон, ты – Гектор, ты – Парис,
Еленой буду я, а это вот нектар..."

(Показывает на бутылочку с лекарством). И в течение нескольких минут они разыгрывают "Прекрасную Елену". Мрачное настроение рассеяно и дело идет к свадьбе. Но тут появляется тень убитого отца и грозит рыцарю проклятьем, если он, забыв святой долг мести, соединится с дочерью убийцы. На этот раз положение безысходное: рыцарь в отчаянии закалывается, а сестра Мария принимает яд.

Вся пьеса была шаржирована до гротеска. Николай Степанович режиссировал, упорно добиваясь ложно-классической дикции, преувеличенных жестов и мимики. Его воодушевление и причудливая фантазия подчиняли нас полностью, и мы покорно воспроизводили те образы, которые он нам внушал. Все фигуры этой пьесы схематичны, как и образы стихов и поэм Гумилева. Ведь и живых людей, с которыми он сталкивался, Н.С. схематизировал и заострял, применяясь к типу собеседника, к его "коньку", ведя разговор так, что человек становился рельефным; при этом "стилизуемый объект" даже не замечал, что Н.С. его все время "стилизует".

Между многочисленными тетушками, приезжавшими на лето в нашу усадьбу, была очаровательная тетя Пофинька. Ей было тогда 86 лет. В молодости у нее был какой-то бурный роман, в результате которого она не вышла замуж и законсервировалась, как маленькая, сухенькая мумия. На плечах всегда кружевная мантилька, на руках митенки, на голове кружевная косынка и поверх ее – даже в комнате – шляпа, чтобы свет не слепил глаза. Нам было известно, что тетя Пофинька в течение 50 лет вела дневник на французском языке. Мы все – члены семьи и наши гости – фигурировали в этом дневнике, и Гумилеву страшно хотелось узнать, как мы все отражаемся в мозгу тети Пофиньки. Он повел регулярную осаду на старушку, гулял с нею по аллеям, держал шерсть, которую она сматывала в клубок, наводил ее на воспоминания молодости. Не прошло и недели, как он стал ее фаворитом и приглашался в комнату тети Пофиньки слушать выдержки из заветного дневника. Кончился этот флирт весьма забавно: в одной беседе тетя Пофинька ополчилась на гигантские шаги, которыми мы тогда увлекались, но которые по ее мнению были "неприличными". Для убедительности она рассказала ряд случаев – поломанные ноги, расшибленные головы – все, якобы, на гигантских шагах. Николай Степанович слушал очень внимательно и наконец серьезно и задумчиво произнес: "Теперь я понимаю, почему в Тверской губернии так мало помещиков: оказывается 50% их погибло

на гигантских шагах!" Этой иронии тетя Пофинька никогда не простила Н.С. и дневник ее закрылся для него навсегда.

Была и другая тетушка – тетя Соня Неведомская, для своих 76 лет очень еще живая и восприимчивая. Сначала она возмущалась современной поэзией. Потом – нет, нет, да вдруг и попросит: "Пожалуйста, душка, прочти мне... как это: 'Как будто не все пересчитаны звезды, как будто весь мир не открыт до конца..." Под конец нашей жизни в Подобине, т.е. накануне мировой войны, тетя Соня уже знала наизусть многие стихи Гумилева и полюбила их.

С 1910 по 1914 год мы каждое лето проводили в Подобине и постоянно виделись с Гумилевым. С Н.С. у нас сложились в то время очень дружеские отношения. Помню, осень, если не ошибаюсь, 1912 года. Мы все вместе уезжаем вечерним поездом на зиму в Петербург. На вокзале Гумилев шутя импровизирует:

Грустно мне, что август мокрый
Наших коней расседлал,
Занавешивает окна,
Запирает сеновал.

И садятся в поезд сонный,
Смутно чувствуя покой,
Кто мечтательно влюбленный,
Кто с разбитой головой.

И к Тебе, великий Боже,
Я с одной мольбой приду:
Сделай так, чтоб было то же
Здесь и в будущем году.

Это один из многих экспромтов на домашние темы, которым Н.С. не придавал никакого значения и никогда не помещал в печати.

Ахматова – в противоположность Гумилеву – всегда была замкнутой и всюду чужой. В Слепневе, в семье мужа, ей было душно скучно и неприветливо. Но и в Подобине, среди нас, она присутствовала только внешне. Оживлялась она только тогда, когда речь заходила о стихах. Гумилев, который вообще был неспособен к зависти, ставил стихи Ахматовой в музыкальном отношении выше своих. Я случайно запомнила одно стихотворение Ахматовой, которое, насколько я знаю, не было напечатано:

Угадаешь ты ее не сразу,
Жуткую и темную заразу,
Ту, что люди нежно называют,
От которой люди умирают.

Первый признак — странное веселье,
Словно ты пила хмельное зелье.
А потом печаль, печаль такая,
Что нельзя вздохнуть, изнемогая.

Только третий признак настоящий:
Если сердце замирает слаще
И мерцают в темном взоре свечи.
Это значит — вечер новой встречи.

Ночью ты предчувствием томима:
Над собой увидишь серафима,
А лицо его тебе знакомо...
И накинет душная истома

На тебя атласный черный полог.
Будет сон твой тяжек и недолог...
А на утро встанешь с новою загадкой,
Но уже не ясной и не сладкой,

И омоешь пыточною кровью
То, что люди назвали любовью.

Зимой мы с Гумилевыми встречались редко. Они жили у матери Николая Степановича в Царском Селе; ей принадлежала там большая дача со старым садом и оранжереей. Помню, один званый вечер у них. Собрались поэты: элегантный Блок, Михаил Кузмин с подведенными глазами; Клюев — подстриженный в скобку и заметно дичившийся; граф Комаровский, незадолго перед тем вышедший из клиники душевнобольных (Гумилев считал его очень талантливым). Кто-то читал свои стихи. Но было в настроении что-то напряженное, и сам Гумилев казался связанным.

Несколько раз встречали мы Гумилевых в "Бродячей Собаке",[4] где собирались поэты, художники и все, кто тянулся к художественной богеме. Там с Гумилевым заметно считались и прислушивались к его мнению; однако я думаю, что близкой дружбы у него не было ни с кем. Ближе других ему был, пожалуй, Блок.[5] Как-то раз у нас с Н.С. зашла речь о пророческом элементе в творчестве Блока. Н.С. сказал:

”Ну что ж, если над нами висит катастрофа, надо принять ее смело и просто. У меня лично никакого гнетущего чувства нет, я рад принять все, что мне будет послано роком”.

Надо сказать, что в 1910-12 гг. ни у кого из нас никакого ясного ощущения надвигавшихся потрясений не было. Те предвестники бури, которые ощущались Блоком, имели скорее характер каких-то мистических флюидов, носившихся в воздухе. Гумилев говорил как-то о неминуемом столкновении белой расы с цветными. Ему представлялся в будущем упадок белой расы, тонущей в материализме и, как возмездие за это, восстание желтой и черной рас. Эти мысли были скорей порядка умственных выводов, а не предчувствий, но, помню, он сказал мне однажды:

”Я вижу иногда очень ясно картины и события вне круга нашей теперешней жизни; они относятся к каким-то давно прошедшим эпохам, и для меня дух этих старых времен гораздо ближе того, чем живет современный европеец. В нашем современном мире я чувствую себя гостем”.

По-видимому, это как раз те самые переживания, которые Гумилев передал в стихотворной форме:

Я верно болен – все на сердце туман.
Мне скучно все – и люди, и рассказы.
Мне снятся королевские алмазы
И весь в крови широкий ятаган.
Мой предок был татарин косоглазый
Или свирепый гунн. Я веяньем заразы,
Через века дошедшей, обуян.
Я жду, томлюсь, и отступают стены...
Вот океан весь в клочьях белой пены,
Закатным солнцем залитый гранит
И город с голубыми куполами,
С цветущими жасминными садами..
Мы дрались там... Ах да, я был убит.

Это стихотворение совсем не случайно для Гумилева – он много раз возвращался к этой теме.[6] И это было не позерство, это было очень искренно. Может быть – предчувствие?

БЕНЕДИКТ ЛИВШИЦ

ПОЛУТОРАГЛАЗЫЙ СТРЕЛЕЦ

...Мне неизвестно, чем должна была быть "Бродячая собака" по первоначальному замыслу основателей, учредивших ее при Художественном обществе Интимного театра, но в тринадцатом году она была единственным островком в ночном Петербурге, где литературная и артистическая молодежь, в виде общего правила не имевшая ни гроша за душой, чувствовала себя, как дома.

"Бродячая собака" открывалась часам к двенадцати ночи, и в нее, как в инкубатор, спешно переносили недовысиженные восторги театрального зала, чтобы в подогретой винными парами атмосфере они разразились безудержными рукоплесканиями, сигнал к которым подавался возгласом: "*Hommage! Hommage!*"

Сюда же, как в термосе горячее блюдо, изготовленное в другом конце города, везли на извозчике, на такси, на трамвае свежеиспеченный триумф, который хотелось продлить, просмаковать еще и еще раз, пока он не приобрел прогорклого привкуса вчерашнего успеха.

Минуя облако вони, бившей прямо в нос из расположенной по соседству помойной ямы, ломали о низкую притолоку свои цилиндры все, кто не успел снять их за порогом.

Затянутая в черный шелк, с крупным овалом камеи у пояса, вплывала Ахматова, задерживаясь у входа, чтобы, по настоянию кидавшегося ей навстречу Пронина,[1] вписать в "свиную" книгу свои последние стихи, по которым простодушные "фармацевты" строили догадки, щекотавшие только их любопытство.

В длинном сюртуке и черном регате, не оставлявший без внимания ни одной красивой женщины, отступал, пятясь между столиков, Гумилев, не то соблюдая таким образом придворный этикет, не то опасаясь "кинжального" взора в спину.

***

...С Кузминым, невзирая на то, что мы не слишком почтительно обошлись с ним в "Пощечине общественному вкусу", у меня установились прекрасные отношения с первого же дня, когда Юркун, познакомившийся со мною и Лурье в "Бродячей Собаке", привел нас к нему в квартиру Нагродской, на Мойке. Никакие принципиальные разногласия не могли помешать этим отношениям перейти в дружбу, насчитывающую уже двадцать лет. Точно так же знакомство с Мандельштамом, с которым мы почти одновременно дебютировали в "Аполлоне", быстро переросло границы, полагаемые простым литературным соседством, и, приняв все черты товарищества по оружию, не утратило этого характера даже в ту пору, когда мы очутились в двух разных лагерях.

Между прочим, не кто иной, как Мандельштам, посвятил меня в тайны петербургского "*savoir vivre*'а", начиная с секрета кредитования в "собачьем" буфете и кончая польской прачечной, где за тройную цену можно было получить через час отлично выстиранную и туго накрахмаленную сорочку – удобство поистине неоценимое при скудости нашего гардероба.

Пожалуй, один только Гумилев, не отделявший литературных убеждений от личной биографии, не признавал никаких ходов сообщения между враждующими станами и, глубоко оскорбленный манифестом "Идите к черту", избегал после выпуска "Рыкающего Парнаса" всяких встреч с будетлянами.

Это было довольно трудно, так как, помимо участия в диспутах, на которых выступали и мы, он сталкивался с нами почти каждый вечер в "Бродячей собаке", где нередко досиживал до первого утреннего поезда, увозившего его в Царское Село.

Исключение он делал лишь для Николая Бурлюка, отказавшегося подписать ругательный манифест: с ним он поддерживал знакомство и охотно допускал его к версификационным забавам "цеха", происходившим иногда в подвале. По поводу обычной застенчивости своего тезки, тщетно корпевшего над

каким-то стихотворным экспромтом, он как-то обмолвился двумя строками:

Издает Бурлюк
Неуверенный звук.

...”Бродячая Собака” была не единственным местом, где футуристы встречались со своими литературными противниками.

К числу таких мест нужно прежде всего отнести нейтральные ”салоны”, вроде собраний у Чудовских. Жена Валерьяна Чудовского, художница Зельманова, женщина редкой красоты, прорывавшейся даже сквозь ее беспомощные, писанные ярь-медянкой автопортреты, была прирожденной хозяйкой салона, умевшей вызвать разговор и искусно изменять его направление.

В тот вечер, когда меня впервые привел к Чудовским Мандельштам, у них были Сологуб с Чеботаревской, Гумилев, Георгий Иванов, Константин Миклашевский, Вольдемар Люсцинус, певец Мозжухин и еще несколько человек из музыкального и актерского мира.

Я не хочу останавливаться на подробном описании доморощенного отеля Рамбулье, где Сологуб неудачно острил и еще неудачнее сочинял экспромты, один из которых начинался буквально следующими строками:

Вот я вижу, там
Сидит Мандельштам...

Где автор тоненького зеленого ”Камня”, вскидывая кверху зародыши бакенбардов, дань свирепствовавшему тогда увлечению 1830 годом, который обернулся к нему Чаадаевым, предлагал ”поговорить о Риме” и ”послушать апостольское кредо”.

Где, перекликаясь с ним, Гумилев протяжно читал в нос свой ”Ислам” и подзадоривал меня огласить ”Пальму праведника”, вызывая во мне законное подозрение, что за настойчивостью акмеиста скрывается желание вывести на чистую воду будетлянина, затесавшегося в чужую ему среду. Где, говоря о постановке блоковских драм в Тенишевке, Чеботаревская находила исполнительницу роли Незнакомки, двоюродную сестру моей невесты, слишком *terre à terre*, но восхищалась музы-

кой Кузмина, послужившей поводом к пытке звуком, которой подверглись все гости Зельмановой, когда Мозжухин потряс стены квартиры раскатами чудовищного баса.

Где его огромный, похожий на детское колено кадык прыгал в вырезе крахмального воротника, как ядро, готовое разлететься на части в самом жерле гаубицы, и где Гумилев, не переносивший никакой музыки, в особенности когда она принимала характер затяжного бедствия, застыл в страдальческом ожидании ужина.

Я не хочу также останавливаться ни на "журфиксах" Паллады,[2] превратившей свое жилище в образцовый "женклуб", ни на собраниях в других домах, куда мы были вхожи.

...Однажды утром он (Хлебников) пришел ко мне на Галерную и объявил, что твердо решил добиться встречи, но не знает, как это сделать. Я ответил, что единственный способ – это пригласить Лелю Скалон и ее подругу Лилю Ильяшенко, исполнительницу роли "Незнакомки", в "Бродячую Собаку", но для этого, разумеется, нужна известная сумма денег на ужин и вино – денег, которых ни у него, ни у меня не было.

Так как он продолжал настаивать, не считаясь ни с чем, я предложил ему отправиться в ломбард с моим макинтошем и цилиндром и взять под них хоть какую-нибудь ссуду. Через час он вернулся в полном унынии: за вещи давали так мало, что он не счел нужным оставлять их в закладе.

Мы мрачно молчали, стараясь найти выход из тупика. Вдруг лицо Велемира прояснилось:

– А не взять ли нам денег у Гумилева?
– У Гумилева? Но почему же у него?
– Потому что он в них не стеснен, и потому, что он наш противник.
– Неудобно обращаться к человеку, который после нашего манифеста еле протягивает нам руку.
– Пустяки! Я сначала выложу ему все, что думаю об его стихах, а потом потребую денег. Он даст. Я сейчас еду в Царское, а вы на сегодня же пригласите Лелю и Лилю в "Собаку".

Он исчез, надев для большей торжественности мой злополучный цилиндр.

К вечеру он возвратился, видимо довольный исходом поездки. Выполнил ли он в точности свое намерение или нет, об этом могла бы рассказать одна Ахматова, присутствовавшая при его разговоре с Гумилевым, но деньги он привез.

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

МОИ ВСТРЕЧИ С АННОЙ АХМАТОВОЙ

Не могу точно вспомнить, когда я впервые увидел Анну Андреевну. Вероятно было это года за два до первой мировой войны в романо-германском семинарии Петербургского университета. К этому семинарию я прямого отношения как студент не имел, но часто там бывал: был он чем-то вроде штаб-квартиры молодого, недавно народившегося акмеизма, а заодно и местом встречи первых формалистов, еще не уверенных в себе и разрабатывавших свои теории скорей по отталкиванию от всякого рода неоскабичевских, чем по твердому убеждению. На русское отделение историко-филологического факультета романо-германцы посматривали свысока, и не без основания к этому. Гумилев, например, с насмешливым раздражением рассказывал, что на экзамене по русской литературе, — экзамене, на котором он собирался блеснуть знаниями и остротой своих суждений, — профессор Шляпкин спросил его: ”Скажите, как вы полагаете, что сделал бы Онегин, если бы Татьяна согласилась бросить мужа?”

В романо-германском семинарии беседы и споры велись на другом уровне, и для меня лично он был окружен особым, таинственным, неотразимо-обаятельным ореолом. Несколько раз в год устраивались там поэтические вечера, — не для публики, а для ”своих”, — и быть причисленным к ”своим”, пусть и не без снисхождения, казалось великим счастьем.

...Ахматова была уже знаменита, — по крайней мере в том смысле знаменита, в каком Малларме, беседуя с друзьями, употреблял это слово по отношению к Виллье де Лиль Адану: ”Его знаете вы, его знаю я... чего же больше?” В тесном кругу приверженцев новой поэзии о ней говорили с восхищением. Гумилев, ее муж, на первых порах относился к стихам Анны Андреевны резко отрицательно, будто бы даже ”умолял” ее не

писать, – и вполне возможно, что тут к его оценке безотчетно примешивались соображения и доводы личные, житейские. Не литературная ревность, нет, а непреодолимая, скептическая неприязнь, вызванная ощущением глубокого, коренного отличия ахматовского поэтического склада от его собственного. Признал он Ахматову как поэта, и признал полностью, без оговорок, лишь через несколько лет после брака.

ВЛАДИМИР ШКЛОВСКИЙ

Н. ГУМИЛЕВ. "КОСТЕР"

Лет пятнадцать тому назад[1] я видел Гумилева среди молодых романо-германистов в Петроградском университете. Тогда мы все занимались зараз несколькими языками Запада, сами писали стихи, и я впервые узнал имена Анри де Ренье, Леконта де Лиль и многих других. На этой почве из этой группы многие выросли в поэтов и, в первую голову, конечно, сам Гумилев. С молодости он много путешествовал, был три раза в Абиссинии, хорошо знал европейский Запад. Автор не только прекрасно чувствует русскую жизнь, но прямо космополитичен в оценке Запада. Он умеет ценить красоты Стокгольма, норвежских скал и в месте с тем манящую прелесть Эзбекие, "большого капрского сада". Во всем этом отразились его университетские филологические занятия ранних лет. Поэт "заблудился навеки в слепых переходах пространств и времен". Скитальческая жизнь наложила печать смелого пользования географическими прозаизмами в стихе, который говорит о "белых медведях в зоологическом саду", о Ледовитом океане, далее о "протестантском прибранном рае", о "нотариусе и враче у одра умирающего".

Мне думается, есть что-то общее между Блоком и Гумилевым. Последний раз я видел их обоих во "Всемирной Литературе". Высокие, несгибающиеся, стоя друг перед другом, оба читали вслух свои стихи особым распевным рецитирующим тоном, характерным для петроградских поэтов, когда они сами себе декламируют, и который отмечен Эйхенбаумом в его статьях.[2] У обоих поэтов есть повторяющиеся моменты в творчестве. У одного "прекрасная дама", у другого, как в настоящем сборнике, повторяется образ серафима, "крики природы". Поэт говорит про серафимских крылий переливный свет, язык серафимов; прозаический телефонный звонок говорит ему о сча-

стье любовного разговора, который "звонче лютни серафима в трубке телефонной".

При всем своем постижении чужеземной жизни автору по-прежнему знакомы красоты родной природы, родного искусства, и в творчестве Андрея Рублева ему, совершенно неожиданно для нас, открываются совсем другие моменты, моменты земной жизни.

Таким образом, настоящий сборник не дает нам чего-либо нового к прежней оценке произведений Гумилева. Нам он давно знаком по своим предшествующим стихотворениям. Поэт обвеян здесь какой-то грустью. Он говорит в своем стихе:

Господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век.

НИКОЛАЙ МИНСКИЙ

"ОГНЕННЫЙ СТОЛП"

От улыбчивого, затейливо-игривого Кузмина нелегко перейти к Гумилеву, столь же причастному мировой радости, но сосредоточенному, трезвому, живущему на большей глубине. И вообще нелегко говорить о стихах Гумилева теперь, когда имя его горит в наших сердцах нестихающей болью. Много времени пройдет, прежде чем рассеется кровавый туман, окутывающий его смерть, и прежде чем мы сможем спокойно рассматривать его творчество только на художественном плане. Теперь же, читая стихи Гумилева, мы больше думаем о его судьбе, чем о его гении. За его стихами мы ловим намеки на самооценку и самоопределение поэта, которые помогли бы нам понять, разгадать тайну его последних переживаний. Какие молитвы шептал он перед лицом смерти? Какие пророчества шептала ему она?

И такие намеки мы в самом деле находим в его последних стихах. Гумилев, вообще не любивший говорить о себе, на этот раз, как бы предчувствуя свой близкий конец, дал нам заглянуть в свою душу и сам нарисовал перед нами свой духовный образ.

Основной чертой творчества Гумилева всегда была правдивость. В 1914 году, когда я с ним познакомился в Петербурге, он, объясняя мне мотивы акмеизма, между прочим сказал: "Я боюсь всякой мистики, боюсь устремлений к иным мирам, потому что не хочу выдавать читателю векселя, по которым расплачиваться буду не я, а какая-то неведомая сила". В этих словах разгадка всего творчества Гумилева. Он выдавал только векселя, по которым сам мог расплатиться. Он подносил читателю только конкретное, подлинное, лично пережитое. Отсюда жизненность его вдохновений, отсутствие в них всякой книжности. Отсюда же активное отношение его к жизни. В стихи у

него выливается только избыток переживаний. Он сперва жил, а потом писал. А жить значило для него — мужественно преодолевать опасности, — в путешествиях, на охоте. Чувствительность, слезливость, жалостливость была чужда его душе. Войне он обрадовался чрезвычайно, как исходу для обуревавших его сил, и два Георгия, украшавших его "нетронутую пулей грудь", были им заслужены не в канцеляриях, а в "тяжкой работе Арея". После войны я встречался с ним в Париже. Прежняя его словоохотливость заменилась молчаливым раздумьем и в мудрых, наивных глазах его застыло выражение скрытой решимости. В общей беседе он мало участвовал, и оживлялся только тогда, когда речь заходила о его персидских миниатюрах. Я часто заставал его углубленным в чтение. Оказалось, что он читал Майн-Рида.

В разбираемом сборнике Гумилев в нескольких стихотворениях завещает нам свою авто-психографию, изображая в них не отдельные поэтические моменты, а общую схему своей духовной жизни.

В стихотворении "Память", которое открывает сборник, поэт рассказывает о четырех метаморфозах своей души, или, вернее, о последовательном пребывании в нем четырех различных душ, ибо люди, в отличие от змей, "меняют не тела, а души".

Первая душа сделала из него "колдовского ребенка", который останавливал словом дождь и в друзья избрал дерево и рыжую собаку.

Вторая душа превратила его в "поэта, который хотел стать богом и царем". "Он совсем не нравится мне", — чистосердечно сознается Гумилев.

Третья душа разбудила в нем мореплавателя и стрелка.

А теперь в нем обитает четвертая душа.

Я променял веселую забаву
На священный долгожданный бой,
Я — угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле.
Я возревновал о славе отчей,
Как на небесах, и на земле.
Сердце будет пламенеть палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,

Стены нового Иерусалима
На полях моей родной земли.

Какая поразительная по искренности и глубине душевная исповедь! Сравнивая между собой эти четыре души, мы получаем не убегающую прямую, а гармонически законченный круг.

Исходная фаза – наивная мистика, слияние детской души со всем миром, – со стихиями, с дождевыми облаками, послушными слову колдовского ребенка, с миром растительным – деревом, с миром животным – рыжей собакой.

Затем происходит отрезвление. Поэт, чуждый мистике, из глубины мира выныривает на его поверхность, воспевает его предметную внебожественную видимость, утверждая себя самого себя и через себя всякого человека "богом и царем" мира. Этот гордый и мужественный индивидуализм подробно охарактеризован Гумилевым в другом стихотворении "Мои читатели". Своих читателей он нашел не среди праздных изнеженных мечтателей, а среди людей сурового труда и подвига. И объясняет он это основными чертами своей поэзии:

Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержание выеденного яйца.
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борты,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать, что надо.
И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим на свете,
Скажет: я не люблю вас, –
Я учу их, как улыбнуться
И уйти, и не возвращаться больше.

В этом метком и ярком самоопределении с особенной силой поражает стих: "Я учу их, как не бояться". Можно быть уверенным, что в трагические минуты суда и казни он и себя самого научил, как не бояться и не оскорбить смерти неврастенией и душевной теплотой.

Но вернемся к теме. Эстетический индивидуализм не долго нравился поэту и в третьей фазе духовного развития он снова отрешается от себя и углубляется в созерцание мира, как мореплаватель и стрелок.

И, наконец, последняя фаза – неизбежный возврат к мистике, но уже не детски-наивной, а сознательно-волевой. И вот четвертая фаза кажется наиболее таинственной. Зная Гумилева, можно быть уверенным, что слова о долгожданном бое и новом Иерусалиме не пустая декламация, но как понять, какое под ними скрывается волевое содержание? Религиозное? Политическое? Если бы Гумилев мечтал о монархической реставрации, о возврате к старому, он не говорил бы о стенах нового Иерусалима. Не назад, а в глубь устремлена его мысль, и в этом еще больше убеждает нас другое стихотворение в том же сборнике, где поэт на вопросы души и тела дает следующий ответ:

– Ужели вам допрашивать меня,
Меня, кому единое мгновенье
Весь крик от первого земного дня
До огненного светопоставленья.

– Меня, кто словно древо Издрагиль
Пророс главою семью семь вселенных,
И для очей которого, как пыль
Поля земные и поля блаженных.

– Я тот, кто спит, и кроет глубина
Его невыразимое прозванье,
А вы, вы только отсвет сна,
Бегущего на дне его сознанья.

Боль, которую мы испытали, узнав о смерти поэта, усиливается от сознания, что он погиб в расцвете таланта, с запасом новых звуков и неизжитых настроений. Четвертой душе Гумилева судьба, быть может, предназначала воссиять огненным столбом в русской поэзии. Но этой судьбе не суждено было сбыться.

Русская поэзия надолго облеклась в безутешный траур.

НИКОЛАЙ ОЦУП

Н.С.ГУМИЛЕВ

Когда меня в начале 1918 года привели знакомиться с Н.С. Гумилевым, я сразу вспомнил, что уже где-то видел и слышал его. Где же? Сначала вспоминается мне "Привал комедиантов" в конце 1915 или в начале 1916 года.[1] Вольноопределяющийся с георгиевским крестом читает свои стихи:

Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемет...

Стихи он читает с трудом, как будто воздуха ему не хватает, несколько согласных произносит совсем невнятно, чуть-чуть в нос, и все же голос звучит уверенно и громко. Гумилеву аплодируют, он сходит с эстрады в публику и останавливается перед столиком дамы, его окликнувшей. Дама что-то говорит тихим голосом, показывая глазами на А.Толмачева, одного из поэтов свиты Игоря Северянина. Она, очевидно, просит Гумилева, в этот вечер мэтра эстрады, пригласить Толмачева[2] прочесть стихи. Гумилев отвечает нарочно громким голосом так, чтобы слышно было Толмачеву: "Я не могу допустить, когда я мэтр эстрады, выступление футуриста".

Я вспоминаю этот вечер, сидя за чаем у Гумилева в комнате, по стенам которой развешаны персидские миниатюры, шкура пантеры и длинное арабское ружье.

Гумилев рассказывает, как он убил пантеру, а мне мучительно хочется припомнить, где же еще раньше, гораздо раньше, чем в Привале, я видел эти странные косые глаза и слышал эту медленную важную речь.

И вдруг совершенно ясно вспоминаю Царскосельский

пейзаж, кажется, площадь у ворот "любезным моим сослуживцам" и гимназиста Гумилева.

Он так же важно и медлительно, как теперь, говорит что-то моему старшему брату Михаилу. Брат и Гумилев были не то в одном классе, не то Гумилев был классом младше. Я моложе брата на 10 лет, значит, мне было тогда лет шесть, а Гумилеву лет пятнадцать.[3] И все же я Гумилева отлично запомнил, потому что более своеобразного лица не видел в Царском Селе ни тогда ни после. Сильно удлиненная, как будто вытянутая вверх голова, косые глаза, тяжелые медлительные движения и ко всему очень трудный выговор, – как не запомнить! Помню, тогда же брат сказал мне, что этот гимназист – поэт Гумилев и что стихи его даже появились недавно в гимназическом журнале. Значительно позднее, лет через десять, у кого-то из царскосельцев я видел уцелевший номер этого рукописного журнала. Там, действительно, были какие-то ранние, очень звонкие стихи Гумилева, не включенные им, конечно, даже в первую книгу стихов.

Были у меня и другие воспоминания о молодом Гумилеве, вернее, о том образе поэта, который создавался из рассказов о нем его друзей Хмара-Барщевских.[4]

Гумилев, уже собиравший первую книгу стихов, бывал у Хмара-Барщевских и Анненских. В те годы я еще готовился поступать в первый класс гимназии. Когда Хмара-Барщевские меня пригласили репетитором, я сразу попал в атмосферу, насыщенную воспоминаниями о "последнем из царскосельских лебедей",[5] заполненную беседами о стихах и поэтах. Вот за эти два-три года я узнал многое об Анненском, в частности об отношении его к Гумилеву.

По рассказам Хмара-Барщевских, еще за шесть лет до своей смерти Анненский с вниманием следил за первыми литературными шагами Гумилева. Царскоселам, любившим поэзию, в те годы были известны имена земляков-поэтов Валентина Кривича (сына Иннокентия Анненского), Д.Коковцева, графа Комаровского и Н.Гумилева. Кривич больше за отцовские заслуги считался маститым. Комаровского считали не совсем нормальным (он действительно был серьезно болен), и к поэзии его особенно серьезных требований никто не предъявлял. Гумилева похваливали, но всегда ставили ему в пример Митеньку Коковцева: "Вот Коковцев уже сейчас настоящий поэт, а вы работайте, может быть, что-нибудь и выйдет".

Гумилев работал, ходил к Анненскому, и постепенно последнему стало ясно, что он имеет дело с подлинным поэтом.

Анненский любил стихи почти никому не известной гимназистки Горенко (Анны Ахматовой) больше, чем стихи Гумилева,[6] но с необычайной прозорливостью предвидел, что Гумилев пойдет по пути Брюсова успешнее, чем сам Брюсов. Этого, конечно, никто из ослепленных тогда великолепием брюсовской славы не думал. Меньше всех думал это в те годы, конечно, сам Гумилев, Брюсова боготворивший.

Все это вспомнилось мне в тот день, когда мой сверстник, тоже царскосел, поэт Рождественский, даже физически трепетавший перед Гумилевым, представил меня мэтру. Мэтр был к нам милостив, он недавно написал в одной из уже умиравших "буржуазных" газет лестную рецензию о нашем студенческом альманахе "Арион".

Первый разговор с Гумилевым оставил во мне глубокий след. Живой облик его как-то сразу согласовался с тем образом человека и поэта, который создался у меня раньше по рассказам Хмара-Барщевских, по стихам Гумилева и письмам его о русской поэзии в "Аполлоне".

Гумилев был человек простой и добрый. Он был замечательным товарищем. Лишь в тех случаях, когда дело касалось его взглядов на жизнь и на искусство, он отличался крайней нетерпеливостью.[7]

И я в родне гиппопотама,
Одет в броню моих святынь,
Иду торжественно и прямо
Без страха посреди пустынь.

Эти строчки Готье, переведенные Гумилевым, как будто специально написаны французским поэтом о своем русском переводчике.

Никогда Гумилев не старался уловить благоприятную атмосферу для изложения своих идей. Иной бы в атмосфере враждебной смолчал, не желая "метать бисер", путаться с чернью, вызывать скандал и пр. А Гумилев знал, что вызывал раздражение, даже злобу, и все-таки говорил не из задора, а просто потому, что не желал замечать ничего, что идеям его враждебно, как не желал замечать революцию.

Помню, в аудитории, явно почитавшей гениями сухих и простоватых "формалистов", заговорил Гумилев о высоком гражданском призвании поэтов-друидов, поэтов-жрецов. В ответ он услышал грубую реплику; ничего другого, он это отлично знал, услышать не мог и разубедить, конечно, тоже никого не мог, а вот решил сказать и сказал, потому что любил идти наперекор всему, что сильно притяжением ложной новизны.[8]

Тогда такие выступления Гумилева звучали вызовом власти. Сам Гумилев даже пролеткультовцам говаривал: "я монархист". Гумилева не трогали, так как в тех условиях такие слова принимали за шутку...

Рассказывали, что на лекции в литературной студии Балтфлота кто-то из сотни матросов, в присутствии какого-то цензора-комиссара, спросил Гумилева:

– Что же, гражданин лектор, помогает писать хорошие стихи?

– По-моему, вино и женщины, – спокойно ответил гражданин лектор.

Тем, кто знает сложное поэтическое мировоззрение Гумилева, конечно ясно, что такой ответ мог иметь целью только подразнить "начальство". Ведь начальство и в отношении к поэзии насаждало всюду систему воспитания в духе марксизма.

Буржуазному спецу разрешалось говорить о технике стиха, "идеологию" комиссары оставляли за собой. А тут вдруг такой скандальный совет воспитывать в себе поэта не с помощью "Капитала", а...

По окончании лекции комиссар попросил Гумилева прекратить занятия в студии Балтфлота.

Кто из петербуржцев не помнит какой-то странной, гладким мехом наружу, шубы Гумилева с белыми узорами по низу (такие шубы носят зажиточные лопари). В этой шубе, в шапке с наушниками, в больших тупоносых сапогах, полученных из Кубу (Комиссии по улучшению быта ученых), важный и приветливый Гумилев, обыкновенно окруженный учениками, шел на очередную лекцию в Институт Живого Слова, Дом Искусств, Пролеткульт, Балтфлот и тому подобные учреждения. Лекции он, как и все мы, читал почти никогда не снимая шубы, так холодно было в нетопленых аудиториях. Пар валит изо рта,

руки синеют, а Гумилев читает о новой поэзии, о французских символистах, учит переводить и даже писать стихи. Делал он это не только затем, чтобы прокормить семью и себя, но и потому, что любил, всем существом любил поэзию и верил, что нужно помочь каждому человеку стихами облегчать свое недоумение, когда спросит он себя: зачем я живу? Для Гумилева стихи были формой религиозного служения.

...Помню ночь у меня на Серпуховской, где в зимы 19-го, 20-го и 21-го гг. и Гумилев, и многие другие поэты бывали очень часто.

Глухо долетают издали пушечные выстрелы (ночь наступления на Кронштадт). Гумилев сидит на ковре, озаренный пламенем печки, я против него тоже на ковре. В доме все спят. Мы стараемся не говорить о происходящем – было что-то трагически обреченное в кронштадском движении, как в сопротивлении юнкеров в октябре 1917 года.

Стараемся говорить и говорим об искусстве.

– Я вожусь с малодаровитой молодежью, – отвечает мне Гумилев, – не потому, что хочу сделать их поэтами. Это конечно немыслимо – поэтами рождаются, – я хочу помочь им по человечеству. Разве стихи не облегчают, как будто сбросил с себя что-то. Надо, чтобы все могли лечить себя писанием стихов...

Гумилев не боялся смерти. В стихах он не раз благословлял смерть в бою. Его угнетала лишь расправа с безоружными.

Помню жестокие дни после кронштадского восстания.
На грузовиках вооруженные курсанты везут сотни обезоруженных кронштадских матросов.
С одного грузовика кричат: "Братцы, помогите, расстреливать везут!"

Я схватил Гумилева за руку, Гумилев перекрестился. Сидим на бревнах на Английской набережной, смотрим на льдины, медленно плывущие по Неве. Гумилев печален и озабочен.

"Убить безоружного, – говорит он, – величайшая подлость". Потом, словно встряхнувшись, он добавил: "А вообще смерть не страшна. Смерть в бою даже упоительна".

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю –

вспомнились мне слова Пушкина.

Первая строчка о Гумилеве, вторая о Блоке...

Последние два-три года жизни Гумилева почти день за днем известны нескольким ближайшим его друзьям, в том числе и пишущему эти строки.

Мы встречались каждый день и ездили вместе в бывшее Царское, тогда уже Детское Село – Гумилев читать лекции в Институте Живого Слова, я проведать мать. С ней и Гумилев подружился. Ей написал он свой последний экспромт (о Царском Селе).

Этот экспромт в одном из зарубежных журналов был моей матерью опубликован.

Вот он:

Не Царское Село – к несчастью,
А Детское Село – ей-ей.
Что ж лучше: быть царей под властью
Иль быть забавой злых детей?

У моей матери хранились несколько месяцев книги Гумилева, тайно вынесенные им самим и студистами из реквизированного Детскосельским Советом собственного дома, полученного Гумилевым в наследство от отца. Эти книги незадолго до ареста Гумилев с моей помощью в корзинах перевез на свою петербургскую квартиру.

Никогда мы не забудем Петербурга периода запустения и смерти, когда после девяти часов вечера нельзя было выходить на улицу, когда треск мотора ночью за окном заставлял в ужасе прислушаться: за кем приехали? Когда падаль не надо было убирать – ее тут же на улице разрывали исхудавшие собаки и растаскивали по частям еще более исхудавшие люди.

И все же в эти годы было что-то просветлявшее нас, и все же:

Я тайно в сердце сохраняю
Тот неземной и страшный свет,
В который город был одет.

Я навсегда соединяю
С Италией души моей
Величие могильных дней.
Как будто наше отрешенье
От сна, от хлеба, от всего,
Душе давало ощущенье
И созерцанья торжество...*

Умирающий Петербург был для нас печален и прекрасен, как лицо любимого человека на одре.

Но после августа 21-го года в Петербурге стало трудно дышать, в Петербурге невозможно было оставаться – тяжко больной город умер с последним дыханием Блока и Гумилева.

Помню себя быстро взбегающего по знакомой лестнице Дома Искусств. Иду к двери Гумилева и слышу сдавленный шепот за спиной.

Оборачиваюсь – Е., один из служащих Дома Искусств, бывший лакей Елисеева.

"Не ходите туда, у Николая Степановича засада".

Все следующие дни сливаются в одном впечатлении Смоленского кладбища, где хоронили Блока, и стенной газеты, сообщавшей о расстреле Гумилева.[9]

Гроб Александра Александровича Блока мы принесли на кладбище на руках. Ныло плечо от тяжелой ноши, голова кружилась от ладана и горьких мыслей, но надо было действовать: Гумилева не выпускают. Тут же на кладбище С.Ф. Ольденбург, ныне покойный А.Л. Волынский, Н.М. Волковысский и я сговариваемся идти в Чека с просьбой выпустить Гумилева на поруки Академии наук, Всемирной литературы и еще ряда других не очень благонадежных организаций. К этим учреждениям догадались в последнюю минуту прибавить вполне благонадежный Пролеткульт и еще три учреждения, в которых Гумилев читал лекции.

О посещении нами Чека с челобитной от всех приблизительно перечисленных выше учреждений уже вспоминал, кажется, Н.М. Волковысский.

———

* Н.Оцуп.

Говорить об этом тяжело. Нам ответили, что Гумилев арестован за должностное преступление.

Один из нас ответил, что Гумилев ни на какой должности не состоял. Председатель Петербургской Чека был явно недоволен, что с ним спорят.

– Пока ничего не могу сказать. Позвоните в среду. Во всяком случае, ни один волос с головы Гумилева не упадет.

В среду я, окруженный друзьями Гумилева, звоню по телефону, переданному чекистом нашей делегации.

– Кто говорит?
– От делегации (начинаю называть учреждения).
– Ага, это по поводу Гумилева, завтра узнаете.

Мы узнали не назавтра, когда об этом знала уже вся Россия, а в тот же день.

Несколько молодых поэтов и поэтесс, учеников и учениц Гумилева, каждый день носили передачу на Гороховую.

Уже во вторник передачу не приняли.

В среду,[10] после звонка в Чека, молодой поэт Р. и я бросились по всем тюрьмам искать Гумилева. Начали с Крестов, где, как оказалось, политических не держали.

На Шпалерной нам удалось проникнуть во двор, мы взошли по лестнице во флигеле и спросили сквозь решетку какую-то служащую: где сейчас находится арестованный Гумилев?

Приняв нас, вероятно, за кого-либо из администрации, она справилась в какой-то книге и ответила из-за решетки:

– Ночью взят на Гороховую.

Мы спустились, все больше и больше ускоряя шаг, потому что сзади уже раздавался крик:

– Стой, стой, а вы кто будете?

Мы успели выйти на улицу.

Вечером председатель Чека, принимавший нашу делегацию, сделал в закрытом заседании Петросовета доклад о расстреле заговорщиков: проф. Таганцева, Гумилева и других.

В тот же вечер слухи о содержании этого доклада обошли весь город.

Потом какие-то таинственные очевидцы рассказывали кому-то, как стойко Гумилев встретил смерть.

Что это за очевидцы, я не знаю – и без их свидетельства нам, друзьям покойного, было ясно, что Гумилев умер достойно своей славы мужественного и стойкого человека.

НИКОЛАЙ ОЦУП

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЕВ

Я горжусь тем, что был его другом в последние три года его жизни. Но дружба, как и всякое соседство, не только помогает, она и мешает видеть. Обращаешь внимание на мелочи, упуская главное. Случайная ошибка, неудачный жест заслоняют качества глубокие, скрытые. Вот почему вся мемуарная литература должна приниматься с осторожностью.

...Гумилева я всегда любил, но лишь сравнительно недавно произошла эта моя вторая с ним встреча. Слились в одно факты, о которых я узнал из его биографии, и те, которые мне привелось наблюдать самому. Гумилев – человек, поэт, теоретик, глава школы – теперь для меня едины. Пленительная эта фигура, одна из самых пленительных в богатой замечательными людьми русской поэзии. Попробуем восстановить этот образ.

Гумилев родился в Кронштадте в 1886 году. Раннее детство провел в Царском Селе. Родился в крепости, охраняющей дальнобойными пушками доступ с моря в город Петра. Для будущего мореплавателя и солдата нет ли здесь предзнаменования? А Царское Село, воистину город муз, город Пушкина и Анненского, не это ли идеальное место для будущего поэта?

...Да, он был некрасив. Череп суженный кверху, как будто вытянутый щипцами акушера. Гумилев косил, чуть-чуть шепелявил. В детстве он должен был от этого страдать, особенно сравнивая себя с более удачливыми детьми. Ведь он, как большинство поэтов, влюблялся очень рано. Нет сомнения, что в лучшей своей драме "Гондла" он выбрал героем горбуна, несчастного в любви, но одаренного чудным даром певца, отчасти по мотивам личным. Но об этом – впереди.

"Колдовской ребенок". Чрезвычайно важно и это. Пуш-

кин этого про себя не сказал бы. Но Гумилев нес в себе и веру и суеверия, сближающие его с поэтами средневековья. Он почитал астрологов, изучал Кабалу, верил в заклинательную силу амулетов.

Дерево, да рыжая собака,
Вот кого он взял себе в друзья.

Значит уже ребенком Гумилев был одиноким. Не человек ему друг. Мотив настойчивый. В "Детстве" он говорит:

Умру с моими друзьями,
Мать-и-мачехой, лопухом...

Все мы помним его веселым, общительным. А вот что было в его душе: с детских лет он от людей бежал, спасался. Не оттого ли так пленяла его "Муза дальних странствий"? Не оттого ли в путешествиях, на войне он более у себя, в своей стихии, чем в размеренных буднях, которых не выносил?

Козьмин сообщает о жизни Гумилева в Тифлисе, куда он перевелся в четвертый класс гимназии и где увлекался марксизмом.[1] Вряд ли это существенно. Уже в 1903 году он снова в Царском Селе.[2] Здесь гимназистом переживает он военный разгром России на Дальнем Востоке и первую революцию.

Гумилев был старше меня на 8 лет и был одно время одноклассником одного из моих старших братьев. Говорили о нем, как о поэте менее талантливом, чем Митенька Коковцев, мистик, тоже царскосел. Многое узнал я о Гумилеве и Ахматовой у Хмара-Барщевских, родственников Анненского.

Сближая рассказы с хроникой тех лет, вижу франтоватого гимназиста, не разделяющего увлечения революцией, стоящего вдалеке от событий, надменного, замкнутого, уже поглощенного жаждой славы. Хорошее ли это чувство? В самом высоком плане, конечно, нет. Но, если, например, даже такой поэт, как Леопарди, пишет в дневнике о своей "огромной, безграничной жажде славы", стоит ли за то же осуждать Гумилева? Он, впрочем, сам себя судил строго. Вот что говорит он про себя, юношу:

Он совсем не нравился мне. Это
Он хотел стать Богом и царем,
Он повесил вывеску поэта
Над дверьми в мой молчаливый дом.

... – Будем, как солнце![3]

Быть как солнце значило тогда выполнять завет того же Бальмонта:

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Из сочных гроздьев венки сплетать,
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу одежды с него сорвать.

Бальмонту вторил Брюсов:

Мы натешимся с козой,
Где лужайку сжали стены.

Теперь нашли бы у Гумилева фрейдовский комплекс: считая себя уродом, он тем более старался прослыть Дон-Жуаном, бравировал, преувеличивал. Позерство, идея, будто поэт лучше всех других мужчин для сердца женщин, идея романтически-привлекательная, но опасная, – вот черты, от которых Гумилев до конца дней своих не избавился. Его врагам и так называемым друзьям, которые, конечно, всегда хуже, чем открытые враги, это давало пищу для скверных шуток, для злословия за спиной. Но Гумилев был чистым, несмотря на "гумилизм".

Верный своему учителю Валерию Брюсову, он все же никогда не стал бы воспевать некрофильства, как это делал автор "Всех напевов". Гумилев был Дон-Жуаном из задора, из желания свою робкую, нежную, впечатлительную натуру сломать. Но было бы ошибкой считать, что героем он не был, что целиком себя выдумал. Бряцая медью в первом насквозь подражательном сборнике "Путь конквистадоров", он понемногу от Бальмонта и даже от французских парнасцев переходил к более серьезным, более глубоким увлечениям.

"Ему всю жизнь было 16 лет", – восклицает тот же Голлербах, никогда Гумилева не понимавший и не любивший.

Гораздо проницательнее Андрей Левинсон, сближавший автора "Мика и Луи", очаровательной африканской поэмы, с героями Фенимора Купера и Густава Эмара.[4] Но и это неверно. Гумилев – дитя и мудрец. Оба начала развивались в нем на редкость гармонично.

Как дитя, впервые увидевшее мир и полное неудержимого восторга, он как бы наново открывал Африку, "грозовые военные забавы", женскую любовь.

Но ведь такой мудрец, как Вордсворт, учитель *par exelence, the teacher,* именно этого и требовал от истинного поэта. Оттого и дороги были Гумилеву, непрерывно что-то для себя открывавшему не только во внешнем мире, но и в книгах, оттого и дороги были ему Вордсворт, Кольридж, поэты озерной школы.

Чрезвычайно высоко ставил он и Теофиля Готье, которого глубоко понял, превосходно переводил и которому посвятил замечальную статью. Готье современники тоже считали холодным. Гумилев с огненным своим, но затаенным горением принял обиду, нанесенную Готье, как свою собственную.

Понял он хорошо и Франсуа Виллона, поэта более значительного, чем Верлен.

Недооценил, правда, А. де Винье, хотя и взял из него две строчки эпиграфом для своих "Жемчугов". Иначе, наверно, посвятил бы этому едва ли не лучшему из поэтов Франции хотя бы несколько строк в своих всегда умных и проницательных статьях. Зато понял и полюбил Рабле и Шекспира.

Жажда все узнать, все испытать у декадентов ограничивалась кабинетными путешествиями в историю и географию народов, а также эротическими вдохновениями сомнительного свойства. Гумилев прошел и через это, но как случайный гость, не без отвращения, как мы видели, к самому себе.

Его тянет на простор, в первобытное, неиспорченное.

Плохой ученик, он сравнительно поздно кончил гимназию. И...

Вот мой Онегин на свободе...

Только он не "одетый по последней моде". Скорее, как бедный студент, энтузиаст живет он в Париже. И все же в 1907 году он в Африке.

Я люблю избранника свободы,
Мореплавателя и стрелка.

Ах, ему так звонко пели воды
И завидовали облака.

Гумилев нес сам в себе противоядие против того, что его окружало. Упадок религиозный, моральный, отчасти и политический в первом десятилетии нашего века был для него искуплен мощной силой русского модернизма. Он ощущал восьмидесятые годы с их полной отсталостью, как позор.

Прозвучавшая в 1892 году как призыв опомниться, статья Мережковского "О причинах упадка русской литературы" была предвестницей своего рода "*Sturm und drang*". Несмотря на все недостатки и уродства декадентства, оно вновь поднимало русскую поэзию на европейский уровень.

Гумилев понял, какая восходящая волна его несет. Отдаваясь с восторгом новым веяниям, он уже кует оружие для литературной борьбы. В нем зреет организатор, боец.

И вот, после первых головокружительных ощущений в Африке, привезя с собой вторую книгу стихов "Романтические цветы", напечатанную в 1908 г. в Париже, он снова в Царском Селе.

Поразительный учитель ему дан, увы, все лишь на два года: Иннокентий Анненский.

Я помню дни: я робкий, торопливый,
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый,
Слегка седеющий поэт.

Почему же "надменный, как юноша, лирик" (так называл себя сам Гумилев),[5] почему же он стал "робким, торопливым"? Не потому ли, что надменным он был в среде игравших в поэзию и в высокие чувства современников? Позднее он им бросил вызов:

Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из другой страны.

Но к чему было ему защищаться, отмежевываться от Анненского. Наш "конквистадор" в своих брюсовских доспехах чувствует себя в присутствии истинного большого поэта обезоруженным. Из поэтов, современников Анненского, Гумилев,

кажется, первый понял его значение. Анненский тоже отнесся к нему хорошо:

Меж нами сумрак жизни длинной,
Но этот сумрак не корю,
И мой закат холодно-дынный
С отрадой смотрит на зарю.
(Анненский – Гумилеву).

Еще один поэт, тоже эллинист, ученик Момзена, человек блестящего ума и эрудиции, Вячеслав Иванов, привлек в это время автора "Романтических цветов". "Назови мне своих друзей, и я скажу тебе, кто ты". Человек, ищущий дружбы таких сложных и тонких носителей культуры, как Анненский и Вячеслав Иванов, вряд ли похож на вечного гимназиста, каким пытались Гумилева изобразить его враги. Они считали его пустым. За него хочется ответить эпиграммой Пушкина:

Хоть, может, он поэт изрядный,
Эмилий – человек пустой.
А ты чем полон, шут нарядный?
А, понимаю, сам собой.
Ты полон дряни, милый мой!

"Романтические цветы" автор посвятил Анне Андреевне Горенко, то есть Анне Ахматовой, несомненно первой среди поэтесс русских и одной из самых первых среди женщин-поэтов вообще.

В ремешках пенал и книги были,
Возвращалась я домой из школы.
Эти липы, верно, не забыли
Нашу встречу, мальчик мой веселый.

Только ставши лебедем надменным,
Изменился серый лебеденок...

Эти строчки, напечатанные в "Четках", второй книге Ахматовой, посвящены Гумилеву. Под стихотворением дата: 1912 год, Царское Село. Уже в 1910 году Ахматова была женой Гумилева и в 1912-м с грустью вспоминала, быть может, те самые встречи, о которых он писал:

Вот идут по аллее, так странно нежны,
Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.

Уже 1912-й год. Но задержимся еще в 1909-м. Это год смерти Анненского. "Кипарисовый ларец" – катехизис современной чувствительности", пишет Гумилев, заканчивая некролог словами: "Пришло время сказать, что не только Россия, но и вся Европа потеряла одного из больших поэтов".

В конце 1911 года, два года после смерти Анненского, Гумилев напечатал в "Аполлоне" замечательные стихи, начинающиеся словами:

К таким нежданным и певучим бредням
Зовя с собой умы людей,
Был Иннокентий Анненский последним
Из царскосельских лебедей.

Лебеди Царского Села: Жуковский, Пушкин, Карамзин, а потом – Анненский, Гумилев, Ахматова. Гумилев, конечно, прав, что из скромности не назвал и себя царскосельским лебедем. Но уже Ахматова знает, что лебеденок лебедем стал...

Есть две версии последней строфы стихотворения "Памяти Анненского". Первая:

То муза отошедшего поэта,
Увы, безумная сейчас,
Беги ее, в ней нет отныне света
И раны, раны вместо глаз.

Вторая:

Журчит вода, протачивая шлюзы,
Сырой травою пахнет мгла,
И жалок голос одинокой музы,
Последней Царского Села.

Вторая версия благозвучней, но первая лучше показывает самого Гумилева: он музы Анненского боялся и был прав.[6] Для мужественной цельности автора "Колчана" у автора "Кипарисового ларца" слишком сильна обманчивая двойственность, разрушительная приблизительность.

Гумилев, герой легенды, певец свободных просторов, пьяненный природой, нет, не для него этот сумеречный свет лампы, зловещие тени в углах, тайная боль похоронного трилистника, пронизывающая всю поэзию Анненского. Аннен-

ского нельзя не любить. Но после него не мешает вспомнить о Пушкине. Вернемся к Гумилеву.

Мог ли быть счастливым его брак с Анной Ахматовой? Она еще, слава Богу, жива. Глубокое уважение и к ней, и к памяти Гумилева не позволяют касаться легкомысленно их биографии. Но их собственные стихотворные признания настолько красноречивы, что обеднять эту страницу, уже вписанную в историю литературы, было бы претенциозно.

Святой Антоний может подтвердить,
Что плоти я никак не мог смирить,

признается Гумилев. Ахматова же сама себя называет "и грешной и праздной".

Гумилев страстно искал идеальную женщину.

Я твердо, я так сладко знаю,
С искусством иноков знаком,
Что лик жены подобен раю,
Обетованному Творцом.

Уже юношеские "Жемчуга" привлекают напряженной тоской по Беатриче:

Жил беспокойный художник
В мире лукавых обличий,
Грешник, развратник, безбожник,
Но он любил Беатриче.

Так характеризует поэт, конечно, самого себя. Но рядом с обожанием есть у него и недоверие к женщине, готовность принять от нее удар измены.

Дама, чем красивей, тем лукавей...

Даже Улисс у Гумилева, хотя и не сомневается в верности Пенелопы, восклицает:

Пусть незапятнано ложе царицы,
Грешные к ней прикасались мечты.

И герой от жены уезжает в новое плавание...

О том, что в юности Гумилев ведал искушения любви и

самоубийства, мы узнаем из прекрасного стихотворения "Эзбекие", написанного в 1917 г. Поэт рассказывает, что десять лет назад, то есть в 1907 году, был измучен женщиной и хотел наложить на себя руки.

А вот и прямое отчаяние, отказ от мечты о Беатриче (цитирую снова стихи из юношеских "Жемчугов"):

Он поклялся в строгом храме
Перед статуей Мадонны,
Что он будет верен даме,
Той, чьи взоры непреклонны.

Когда же, после долгих лет распутной жизни, он возвращается к Мадонне, и та его упрекает, что он изменил обету, "Он", то есть Гумилев, отвечает:

Я нигде не встретил дамы,
Той, чьи взоры непреклонны.

И вот встреча с Ахматовой. Казалось бы, два больших поэта предназначены друг для друга. Но уже через два года после женитьбы Гумилев не скрывает своего радражения:

Из логова змиева,
Из города Киева
Я взял не жену, а колдунью.
А думал забавницу,
Гадал – своенравницу,
Веселую птицу-певунью...

Ахматова отвечает:

Настоящую нежность не спутаешь
Ни с чем, и она тиха.

Вероятно, эти строчки относятся не к Гумилеву, но и он, конечно, их заслужил.

Почему бы в самом деле женщина, да еще такая, как Ахматова, должна была отвечать требованиям довольно сомнительного идеала: быть "забавницей" и "веселой птицей-певуньей"? Несмотря на высокое стремление к Беатриче, Гумилев был слишком отравлен сомнениями. Конечно, и Ахматова не стремилась к тому, что было идеалом для пушкинской Татьяны:

Была бы верная супруга
И добродетельная мать.

Правда в том, что оба поэта принадлежали душой и телом своей эпохе, особой эпохе предвоенного Петербурга с его ночными кабаками, с его законами.

Да, я любила их, те сборища ночные.

признается Ахматова. В другом месте она уже открыто негодует на своего спутника, жалуясь кому-то:

Прощай, прощай, меня ведет палач
По голубым предутренним дорогам.

Не была ли Ахматова слишком сложна для своего цельного рыцаря-мужа?

Мне жалко ее, виноватую.

говорит он. В чем ее вина, это ясно из ее стихов. Но меньше ли вина самого Гумилева? Чем больше мы вникаем в его поэзию, тем яснее, что он любил любовь, а не одну женщину. Ни одной своеобразной индивидуальности у воспеваемых в его лирике героинь! Все на один манер, все со стандартными прелестями, воспеваемыми в условной форме под трубадуров и Петрарку или под самых патетических поэтов Востока. Из всех женских типов выделяется лишь один: Ахматова, быть может, именно потому, что она единственная Гумилева таким, каким он решил быть с женщинами, – не приняла.

Есть еще один очень важный вопрос в этом знаменитом романе.

Гумилев явно недооценивал поэзию своей жены. Почему? Маленькие люди инсинуировали, будто он ей завидовал. Это, конечно, не верно. Гумилев, как все мы, не чужд был человеческих слабостей, но благородство его натуры несомненно, и оно всегда брало верх.

Я думаю, что он просто был жертвой своей теории. Леконт де Лилль был против поэзии ламентаций, признаний, проповедовал большие темы, по преимуществу исторического характера. Гумилев долгое время был под влиянием Леконт де Лилля, которому даже посвятил отличные стихи. "Креол с лебединой душой" предъявлял поэзии требования, противополож-

ные дневниковой, исповедной лирике Ахматовой. Разлад между его русским последователем и представительницей столь чуждого Леконт де Лиллю начала был неизбежен.

1913-й год был решающим в судьбе Ахматовой и Гумилева. Она переживает сильное чувство к "знаменитому современнику с коротким звонким именем". Гумилев, после долгих жалоб на плен, вырывается на свободу. Глава экспедиции на Сомали, он снова упоен природой, путешествием. Но разрыв произошел перед этим. О нем говорит сам Гумилев в первой версии превосходного стихотворения "Пятистопные ямбы",[7] опубликованной в марте 1913-го года в "Аполлоне":

Я проиграл тебя, как Дамаянти
Когда-то проиграл безумный Наль...

Прежде чем продолжать биографию Гумилева, отметим три важнейших момента его творчества: африканские стихи, итальянские стихи и создание новой поэтической школы, акмеизма (об акмеизме подробно скажем дальше, касаясь роли Гумилева как теоретика).

Африканские стихи, почти все написанные анапестом, размером чрезвычайно подходящим для выражения восторга, замечательны по вдохновению, звучны, увлекательны. Одно стихотворение лучше другого. Гумилев доказал, что экзотика кабинетная – одно, а экзотика подлинная – совсем другое. Он доказал также, что Россия, уже влюбленная в Кавказ и Крым, ничуть не меньше других стран может полюбить природу, ей самой не свойственную.

В стихах Гумилева итальянских меньше единства, но есть среди них шедевры.

Единство есть в итальянских стихах Блока. Их пронизывает чувство, сближающее его, например, с прерафаэлитами, искавшими в Италии следов высокого христианского пафоса, мученичества, монастырской чистоты. Блок обрушивается на Флоренцию с какими-то савонаролловскими обличениями:

Всеевропейской желтой пыли
Ты предала себя сама,

громит он, забывая, что сами итальянцы, задолго до *Risorgimento* и вплоть до наших дней жаловались, что слава их великого прошлого давит Италию настоящего, превращая ее в огромный музей.

Гумилева его итальянские стихи сближают с автором "*Römische Elegien*", любившим Италию, как любовь, с веселой радостью эпикурейца. С той лишь разницей, что Гете искал для своего германского варварского начала, которое отлично сам сознавал, обуздывающей силы античности, классицизма. Гумилев же и не нуждался в Италии, как стихии латинской ясности, потому что у него была собственная ясность, ничем не возмущенная. Это с поразительной стройностью выпелось у него в одном из прекраснейших его стихотворений: Фра Беато Анжелико. Есть что-то общее между этим стихотворением и знаменитым "*Les phares*" Бодлера. Но, перечислив несколько гениальных живописцев, Бодлер обращается к Богу с гордым призывом признать заслугу "наших пламенных воплей, претворенных в искусство", а Гумилев, предпочитая славнейшим художникам Италии смиренного Фра Беато, кончает свою вещь смиренными же словами:

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

...Военные стихи Гумилева так же вдохновенны, как африканские. По глубине они даже лучше и уж наверно значительнее.[8] Иначе и не могло быть для поэта, сказавшего:

Победа, слава, подвиг, бледные
Слова, затерянные ныне,
Звучат в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне.

Военные призывы д'Аннунцио звучат чуть-чуть театрально рядом с военными стихами его русского почитателя. Среди поэтов, принявших войну с религиозной радостью, лишь один, Шарль Пеги, кажется мне по высоте и благородству чувства равным Гумилеву. Сходство их строчек местами поразительно.

...Во время войны поэт-солдат не изменил своему главному призванию. Наоборот. В 1916-м году написана лучшая из его больших вещей, драма в стихах "Гондла". Я лишь отчасти согласен с высокой оценкой "Отравленной туники", напечатанной в интереснейшей книге "Неизданный Гумилев". Глеб Струве эту драму, по-моему, переоценивает. Наоборот, отрывок прозы, напечатанный там же и тоже впервые,[9] мне кажется истинной находкой для всех, кто любит Гумилева, и может слу-

жить подтверждением того, что я пытаюсь установить дальше в связи с анализом стихов Гумилева, посвященных России.

"Отравленная туника", подобно другой драме в стихах "Дитя Аллаха", не лишена ни прелести, ни значительных художественных достоинств, но в обеих вещах есть тень гумилизма, хотя бы в чуть-чуть хвастливом превозношении двух поэтов-героев, уж как-то чересчур неотразимых для всех женщин... Гондла же горбун, несчастный в любви, хотя именно он и есть настоящий герой.

Принося себя в жертву, чтобы обратить в христианство грубых исландцев, волков, он, высмеянный, опозоренный, поруганный в любви к невесте, которая и сама над ним издевается, поражает нас, как стон, как упрек, и вместе восхищает, как подлинный избранник свободы.

Вещь глубоко биографична, на что я уже указывал, говоря о детстве поэта. Некрасивый Гумилев нашел в цикле кельтских легенд образ для своего долгого затаенного страдания: горбун, но дивный певец, верующий и добрый, не таким ли ощущал себя в самых тайных тайниках души герой-поэт, гордый, почти заносчивый, но только с виду и только с неравными.

Больше, чем где-нибудь, Гумилев в этой вещи подобен Лермонтову, к которому он вообще ближе, чем к кому-либо из русских поэтов.

...Награжденный двумя георгиевскими крестами, в феврале 1917-го года он в Петербурге. К революции он холоден. Спешит уехать. Его отправляют на салоникский фронт, куда он не доехал.

Лондон. Париж. Здесь он пишет стихи в альбом девушке, в которую влюблен. Стихов немало, уровень их не очень высок.

Вот и монография готова:
Фолиант почтенной толщины
О любви несчастной Гумилева
В год четвертый мировой войны.

Но монографии этой, наверно, никто не напишет. Петраркизм парижских этих стихов, собранных позднее в книге "К синей звезде", делает их условно-патетическими. Гумилев знал и любил провансальских трубадуров, но до уровня воспеваемого им мимоходом Жофре Рюделя в своем парижском цикле

он не поднимается. Зато, как только он отрезвляется от своей страсти, пишет он строчки воистину гумилевские, то есть и вдохновенные, и нелживые:

Если ты сейчас же не забудешь...
Девушку, которой ты не нужен,
Девушку, которой ты не нужен,
То и жить ты значит не достоин.

Последуем его примеру и забудем случайный эпизод.

Из Парижа через Лондон и Мурманск Гумилев возвращается в Россию, уже советскую... Отчего он не остался в Лондоне? Он, открыто говоривший, что предан идее монархии, он, любивший мир, экзотику, свободу, мореплаватель, охотник, почему он вернулся в "край глухой и грешный", как назвала Россию Ахматова?

В плане налаженном самим человеком его судьбы это возвращение необъяснимо. В другом плане... Но вернемся к событиям земным...

Его называли "заграничной штучкой". Иванов-Разумник над ним издевался, ставя ему в пример не только Блока и Белого, но и Клюева и Есенина.

Иванов-Разумник Гумилева не понял. Это – поэт глубоко русский, не менее национальный поэт, чем был Блок.

***

...Мудрая ясность Гумилева привела его к борьбе с символизмом и его злоупотреблениями. Отсюда статья "Наследие символизма и акмеизм", напечатанная в 1913-м году. Это как бы манифест новой школы.

Роль Гумилева как теоретика искусства и критика хорошо известна. Ее даже преувеличивают, конечно, во вред его поэзии. Так, Ив. Тхоржевский утверждает, что Гумилев-теоретик выше, чем Гумилев-поэт. Это совершенно не верно.

Гораздо вернее мнение поэта Георгия Иванова, говорящего, что поэзия и теория у Гумилева слиты в одно. Но Г. Иванов делает ошибку, восклицая: "Не умри Гумилев так рано, у нас было бы наше "*Art poétique*".[10]

Так как "*Art poétique*" написано у Г.Иванова по-французски, не может быть сомнения, что он имеет в виду теорию Буало. Тогда как Буало, посредственный моралист и слабый поэт, конечно, не может быть указан, как идеал для Гумилева, который, кстати, находится с ним в прямом разногласии.

...Я уже назвал поэтов, которых он особенно любил. Что касается его явного и тайного родства с поэтами русскими, то об этом следовало бы сказать особо, потому что сам он о них молчал, и могло показаться, что национальная поэзия, как и сама жизнь России, ему чужда. Мы только что пытались доказать обратное.

"Письма о русской поэзии", которые Гумилев писал между 1909 и 1915 годами, очень замечательны, но вовсе небезошибочны, как утверждает Г.Иванов и как склонен допустить В.Брюсов.

Боюсь, что Брюсов делал это потому, что Гумилев его перехваливал. Автор "Писем" и в самом деле слишком высоко ценит Брюсова, что, при строгом отношении к таким поэтам, как Сологуб, Блок и некоторые другие, – вряд ли оправдано.

Г.Иванов, вероятно, об этом не упоминает из желания украсить Гумилева воображаемой непогрешимостью. Совершенно напрасно.

Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю. –

шутил Пушкин. Без ошибки невообразимо, даже непривлекательно и творчество теоретика поэзии, в особенности с темпераментом Гумилева.

И все же "Письма о русской поэзии" – явление замечательное. Такие статьи, как "Анатомия стихотворения", – истинные шедевры. В отзывах на ту или другую книгу почти всегда поражает верная мысль, смелое обобщение, прямота, энергия.

В чем заслуга акмеизма, всем хорошо известно. Символизм иссяк, заигрывание с тайнами запредельного, туманные и многозначительные намеки, превыспренний словарь, – все это надо было убрать. На крайнем фронте беспорядочный натиск футуристов тоже был угрозой. Гумилев один обладал силой воли, ума и характера, достаточными для отпора, отбора,

организации. Довольно вспомнить имена поэтов, так или иначе к акмеизму причастных: уровень их поэзии вряд ли ниже, чем уровень поэзии декадентов или символистов в лучшие годы их расцвета.

Гумилев – организатор и друг поэтов – явление для меня лично незабываемое. Как это всегда бывает при почти ежедневной совместной работе, я с ним при жизни его расходился гораздо больше, чем расхожусь теперь, но всегда у меня к нему было доверие: он был неизмеримо выше мелких интриг, которыми маленькие люди, разъедаемые тщеславием, всегда и всюду отравляют литературную атмосферу, мешая подлинным поэтам в их высоком незаинтересованном служении.

...В России эпохи военного коммунизма среди своих коллег, терроризированных, голодных, Гумилев тверд и спокоен, но больше, чем когда-нибудь, ему нужно спасаться в область видений, снов.

Вероятно, будущим биографам поэта будет небезынтересно узнать, как и когда был написан "Заблудившийся трамвай", одно из центральных стихотворений "Огненного Столпа". Гумилев в это время был со мной в самой тесной дружбе, дни и ночи просиживал у меня на Серпуховской. Ночь с 29-го на 30-е декабря 1919 года мы провели у моего приятеля, импровизировавшего мецената, инженера Александра Васильевича К., по случаю договора, который он заключил с Гумилевым и который воспроизведен в фотокопии в моей университетской тезе.

Разумеется, К. переиздавать Гумилева не собирался, но, узнав, что поэт нуждается в деньгах, подписал бумагу, по которой автор "Колчана" получал 30 тысяч рублей. Мы веселились, пили, ночью нельзя было выходить, мы вышли уже под утро.

Когда мы направлялись к мосту, неожиданно за нами, несмотря на очень ранний час, загремел трамвай. Я должен был провожать даму, Гумилев пустился бежать.

Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку
Он оставлял и при свете дня...

На следующий день Гумилев читал мне "Заблудившийся трамвай". Прием наложения планов, уже давно разрабатыв-

шийся некоторыми из тогда еще совсем молодых петербургских поэтов, использован Гумилевым в этом стихотворении а позднее и в замечательном стихотворении "У цыган", с редким мастерством.

Отмечу, что в редакции, в которой Гумилев читал мне "Заблудившийся трамвай", сразу после его написания, были такие строчки:

Я же с напудренною косой
Шел представляться Императрице.[11]

...Есть у Гумилева, как у каждого большого поэта, прямые пророчества о своей судьбе. Не раз уже приводились в печати его беззлобные строчки, посвященные рабочему:

Все он занят отливаньем пули,
Что меня с землею разлучит.

Виноват ли рабочий? Конечно, нет.

Но погиб поэт, менестрель, звонким, веселым голосом будивший от сна "Русь славянскую, печенежью", погиб свободный, прямой, бесстрашный, верующий, добрый человек.

Гумилев в последние три года жизни держался, как певец в "Арионе" Пушкина:

Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен волною,
Я гимны прежние пою...

Гумилев и пел "прежние гимны", оставаясь хранителем поэтической культуры. Среди кельтских легенд, его вдохновлявших, одна была ему особенно дорога: легенда о волшебной скрипке или лютне, легенда, которой вдохновлено первое стихотворение в "Жемчугах" и пьеса в стихах "Гондла". Видел ли он в ней предсказание? Знал ли, что, прервав свою постоянную работу поэта, будет разорван эринниями, как разорван в легенде певец, выронивший лютню.

Мир, враждебный певцу, не это ли — волки легенды?

В годы, когда Россия в лице многих своих выдающихся людей живет и творит на Западе, одно имя достаточно для поддержания в нас связи с родиной, для полной гарантии от денационализации: имя Пушкина, самое русское и самое универсальное. Блок продолжает, сильнее, чем кто-нибудь, русскую

линию Пушкина, Гумилев – универсальную. Он даже расширил географические границы русских песен, введя в них Африку, экзотику.

Имя Гумилева может быть для нас и для Запада еще одним примером нерасторжимости русских и европейских судеб.

Гумилев не предал Востока, который дал России и всему миру базу для религии, науки, искусства. Но он и не сделал себе из Востока кумира, он учился сам и звал всех учиться у Запада.

Неутомимый садовник, он работал в том очарованном саду, про который сказал прекрасные слова в одном из лучших своих стихотворений "Солнце духа":

Чувствую, что скоро осень будет,
Солнечные кончатся труды,
И от древа духа снимут люди
Золотые, зрелые плоды.

ЛЕОНИД СТРАХОВСКИЙ

О ГУМИЛЕВЕ (1886-1921)

Двадцать пятого августа тысяча девятьсот двадцать первого года был расстрелян Николай Степанович Гумилев, один из прекраснейших русских поэтов, приведший русскую поэзию опять к чистоте, простоте, точности и ясности после ее засорения туманностями символистов. Он был арестован по делу так называемого Таганцевского заговора и наверное был бы отпущен, как учитель многих пролетарских поэтов в рабочих клубах, если бы он вызывающе не заявил на первом же допросе, что он – монархист. Из тюрьмы, когда он уже был уверен в своей участи, он писал своей жене: "Не беспокойся обо мне, я чувствую себя хорошо; читаю Гомера и пишу стихи".[1] А первого сентября в газете "Петроградская правда" на первой странице в списке расстрелянных по делу заговора, значилось: "Гумилев, Н.С., тридцати трех лет (на самом деле ему было 35 лет – Л.С.), филолог и поэт, член правления издательства "Мировая Литература", беспартийный, бывший офицер. Участвовал в составлении прокламаций. Обещал присоединить к организации группу интеллигентов в момент восстания. Получал деньги от организации для технических надобностей".

О Гумилеве-поэте писали многие. Его стихи магнетизируют. Помню, как юношей я купил в книжном магазине Вольфа на Невском проспекте в Петербурге книжку мне тогда неизвестного поэта, озаглавленную: "Романтические цветы". Вернувшись домой на Каменный Остров, я начал ее читать. Все сильнее и сильнее стихи ее меня захватывали. И вдруг две строчки прямо пронзили меня, и дух захватило:

Далеко, далеко на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Это была моя первая "встреча" с Николаем Степановичем.

После этого я продолжал "знакомство", покупая все его сборники стихов в меру моего ограниченного бюджета и читая его стихи в "Аполлоне", на который подписывалась моя тетушка, София Михайловна Ростовцева. А настоящая встреча и краткое знакомство произошли гораздо позже, а именно на литературном утреннике (в 2 часа дня!) в зале Тенишевского училища, организованном обществом "Арзамас".[2] Привел меня туда поэт Георгий Иванов. Было это в начале мая 1918 г. Большевики властвовали уже более полугода, но Петербург, посеревший, полинявший, с пыльными, засоренными улицами был прекрасен, как всегда, в эту памятную мне весну.

На утреннике выступали как видные, так и начинающие поэты. Среди последних особенно помню Леонида Канегиссера, в форме вольноопределяющегося, с бледным, красивым, чуть семитическим лицом. Кто мог бы предположить, что еще до конца лета он застрелит чекиста Урицкого и умрет мученической смертью? Первая часть утренника закончилась первым публичным чтением поэмы Блока "Двенадцать", эффектно продекламированной его женой, которая выступала под своей сценической фамилией: Басаргина. По окончании этого чтения в зале поднялся бедлам. Часть публики аплодировала, другая шикала и стучала ногами. Я прошел в крохотную артистическую комнату, буквально набитую поэтами. По программе очередь выступать после перерыва была за Блоком, но он с трясущейся губой повторял: "Я не пойду, я не пойду". И тогда к нему подошел блондин среднего роста с каким-то будто утиным носом и сказал: "Эх, Александр Александрович, написали, так и признавайтесь, а лучше бы не написали". После этого он повернулся и пошел к двери, ведшей на эстраду. Это был Гумилев.

Вернувшись в зал, который продолжал бушевать, я увидел Гумилева, спокойно стоявшего, облокотившись о лекторский пюпитр, и озиравшего публику своими серо-голубыми глазами. Так, вероятно, он смотрел на диких зверей в дебрях Африки, держа наготове свое верное нарезное ружье. Но теперь его оружием была поэзия. И когда зал немного утих, он начал читать свои газеллы, и в конце концов от его стихов и от него самого разлилась такая магическая сила, что чтение его сопровождалось бурными аплодисментами. После этого, когда появился Блок, никаких демонстраций уже больше не было.

По окончании утренника Георгий Иванов познакомил меня с Гумилевым. Узнав, что я пишу стихи, Николай Степа-

нович предложил мне прогуляться с ним. Мы пошли по Летнему Саду. Был весенний, хотя все еще прохладный день. Солнце пробивалось сквозь деревья, опушенные молодой листвой, и ложилось светлыми бликами на белый мрамор статуй, на желтый песок аллей и на чуть пробивающуюся траву. Мы представляли довольно странную пару в большевистском Петербурге. Я "донашивал" лицейскую форму. На мне была лицейская фуражка, и одет я был в черное пальто в золотыми пуговицами, на которых сияли двуглавые орлы, а на Гумилеве было элегантное пальто английского покроя и фетровая шляпа. Он ведь еще недавно вернулся из Англии.

Гумилев попросил меня прочесть свои стихи, и я прочел одно, как сейчас помню, начинавшееся следующими строками:

Твой портрет в деревянной раме
Смотрит вдумчиво со стены.
Ах, стихи о Прекрасной Даме
Не тебе ли посвящены?

Когда я кончил, Гумилев сказал: "Хорошо. Запоминаются". И повторил первую строфу. "Но почему 'Прекрасная Дама'?" – добавил он с улыбкой. "Лучше бы Беатриче или Ленора". Тем не менее, я был на седьмом небе и сейчас уже не помню, как закончилась наша прогулка, что еще Гумилев говорил, и как мы расстались. Вскоре после этого я бежал из красного Петербурга на Мурман и больше уже никогда Гумилева не видал. Но эта личная встреча и "акколада" мастера, давно уже почти боготворимого мной, запомнились на всю жизнь так ясно и рельефно, как будто это случилось только вчера.

Свое замечательное стихотворное "Вступление" к сборнику "Шатер", как известно, целиком посвященному Африке, Гумилев закончил следующей строфой, в которой он обращался к Богу:

Но последнюю милость, с которою
Отойду я в селенья святые,
Дай скончаться под той сикоморою,
Где с Христом отдыхала Мария.

Но судьба была жестока к Гумилеву. Его конец – пуля чекиста в затылок и безвестная могила. Глубочайшая трагедия русской поэзии в том, что три ее самых замечательных поэта кончили свою жизнь насильственной смертью и при этом в молодых годах: Пушкин – тридцати семи лет, Лермонтов – двадцати шести, и Гумилев – тридцати пяти.

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

ГУМИЛЕВ И БЛОК

Блок умер 7-го, Гумилев – 27-го августа 1921 года.[1] Но для меня они оба умерли 3-го августа. Почему – я расскажу ниже.

Пожалуй, трудно себе представить двух людей, более различных между собою, чем были они. Кажется, только возрастом были они не столь далеки друг от друга: Блок был всего лет на шесть старше.

Приндлежа к одной литературной эпохе, они были людьми разных поэтических поколений. Блок, порой бунтовавший против символизма, был одним из чистейших символистов. Гумилев, до конца жизни не вышедший из-под влияния Брюсова, воображал себя глубоким, последовательным врагом символизма. Блок был мистик, поклонник Прекрасной Дамы, – и писал кощунственные стихи не только о ней. Гумилев не забывал креститься на все церкви, но я редко видал людей, до такой степени не подозревающих о том, что такое религия. Для Блока его поэзия была первейшим, реальным духовным подвигом, неотделимым от жизни. Для Гумилева она была формой литературной деятельности.[2] Блок был поэтом всегда, в каждую минуту своей жизни. Гумилев – лишь тогда, когда он писал стихи. Все это (и многое другое) завершалось тем, что они терпеть не могли друг друга – и этого не скрывали. Однако, в памяти моей они часто являются вместе. Последний год их жизни, в сущности, единственный год моего с ними знакомства, кончился почти одновременной смертью обоих. И в самой кончине их, и в том потрясении, которое она вызвала в Петербурге, было что-то связующее.

Мы с Гумилевым в один год родились, в один год начали печататься,[3] но не встречались долго: я мало бывал в Петер-

бурге, а он в Москве, кажется, и совсем не бывал. Мы познакомились осенью 1918 г., в Петербурге, на заседании коллегии "Всемирной Литературы". Важность, с которою Гумилев "заседал", тотчас мне напомнила Брюсова.

Он меня пригласил к себе и встретил так, словно это было свидание двух монархов. В его торжественной учтивости было нечто столь неестественное, что сперва я подумал – не шутит ли он? Пришлось, однако, и мне взять примерно такой же тон: всякий другой был бы фамильярностью. В опустелом, голодном, пропахшем воблою Петербурге, оба голодные, исхудалые, в истрепанных пиджаках и дырявых штиблетах, среди нетопленного и неубранного кабинета, сидели мы и беседовали с непомерною важностью. Памятуя, что я москвич, Гумилев счел нужным предложить мне чаю, но сделал это таким неуверенным голосом (сахару, вероятно, не было), что я отказался и тем, кажется, вывел его из затруднения. Меж тем, обстановка его кабинета все более привлекала мое внимание. Письменный стол, трехстворчатый книжный шкаф, высокие зеркала в простенках, кресла и прочее – все мне было знакомо до чрезвычайности. Наконец, я спросил осторожно, давно ли он живет в этой квартире.

– В сущности, это не моя квартира, – отвечал Гумилев, – это квартира М.[4] – Тут я все понял: мы с Гумилевым сидели в бывшем моем кабинете! Лет за десять до того эта мебедь отчасти принадлежала мне. Она имела свою историю. Адмирал Федор Федорович Матюшкин, лицейский товарищ Пушкина, снял ее с какого-то корабля и ею обставил дом у себя в имении, возле Бологое, на берегу озера. Имение называлось "Заимка". По местным преданиям, Пушкин, конечно, не раз бывал в "Заимке"; показывали даже кресло, обитое зеленым сафьяном, – любимое кресло Пушкина. Как водится, это была лишь легенда: Пушкин в тех местах не бывал вовсе, да и Матюшкин купил это имение только лет через тридцать после смерти Пушкина. После кончины Матюшкина "Заимка" переходила из рук в руки, стала называться "Лидиным", но обстановка старого дома сохранилась. Даже особые приспособления в буфете для подвешивания посуды на случай качки не были заменены обыкновенными полками. В 1905 г. я сделался случайным полуобладателем этой мебели и вывез ее в Москву. Затем ей суждено было перекочевать в Петербург, а когда революция окончательно сдвинула с мест всех и все, я застал среди нее Гумилева. Ее настоящая собственница была в Крыму.[5]

Посидев сколько следовало для столь натянутого визита,

я встал. Когда Гумилев меня провожал в передней, из боковой двери выскочил тощенький, бледный мальчик, такой же длиннолицый, как Гумилев, в запачканной косоворотке и в валенках. На голове у него была уланская каска, он размахивал игрушечной сабелькой и что-то кричал. Гумилев тотчас отослал его – тоном короля, отсылающего дофина к его гувернерам. Чувствовалось, однако, что в сырой и промозглой квартире нет никого, кроме Гумилева и его сына.

Два года спустя переехал я в Петербург.[6] Мы стали видеться чаще. В Гумилеве было много хорошего. Он обладал отличным литературным вкусом, несколько поверхностным, но в известном смысле непогрешимым. К стихам подходил формально, но в этой области был и зорок, и тонок. В механику стиха он проникал, как мало кто. Думаю, что он это делал глубже и зорче, нежели даже Брюсов. Поэзию он обожал, в суждениях старался быть беспристрастным.

За всем тем его разговор, как и его стихи, редко был для меня "питателен". Он был удивительно молод душой, а может быть, и умом. Он всегда мне казался ребенком. Было что-то ребяческое в его под машинку стриженной голове, в его выправке, скорее гимназической, чем военной. То же ребячество прорывалось в его увлечении Африкой, войной, наконец – в напускной важности, которая так меня удивила при первой встрече и которая вдруг сползала, куда-то улетучивалась, пока он не спохватывался и не натягивал ее на себя сызнова. Изображать взрослого ему нравилось, как всем детям. Он любил играть в "мэтра", в литературное начальство своих "гумилят", то есть маленьких поэтов и поэтесс, его окружавших. Поэтическая детвора его очень любила. Иногда, после лекций о поэтике, он играл с нею в жмурки – в самом буквальном, а не в переносном смысле слова. Я раза два это видел. Гумилев был тогда похож на славного пятиклассника, который разыгрался с приготовишками. Было забавно видеть, как через полчаса после этого он, играя в большого, степенно беседовал с А.Ф. Кони – и Кони весьма уступал ему в важности обращения.

На святках 1920 года в Институте Истории Искусств устроили бал. Помню: в огромных промерзших залах зубовского особняка на Исаакиевской площади – скудное освещение и морозный пар. В каминах чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художнический Петербург – налицо. Гремит музыка. Люди движутся в полумраке, теснясь к каминам. Боже мой, как одета эта толпа! Валенки, свитеры, потертые шубы, с которыми невозможно расстаться и в танцевальном зале. И вот,

с подобающим опозданием, является Гумилев под руку с дамой, дрожащей от холода в черном платье с глубоким вырезом. Прямой и надменный, во фраке, Гумилев проходит по залам. Он дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается направо и налево. Беседует со знакомыми в светском тоне. Он играет в бал. Весь вид его гворит: "Ничего не произошло. Революция? Не слыхал".

***

...Гумилев слишком хорошо разбирался в поэтическом мастерстве, чтобы не ценить Блока вовсе. Но это не мешало ему не любить Блока лично. Не знаю, каковы были их отношения прежде того, но приехав в Петербург, я застал обоюдную вражду. Не думаю, чтобы ее причины были мелочные, хотя Гумилев, очень считавшийся с тем, кто какое место занимает в поэтической иерархии, мог завидовать Блоку. Вероятно, что дело тут было в более серьезных расхождениях. Враждебны были миросозерцания, резко противоположны литературные задачи. Главное в поэзии Блока, ее "сокрытый двигатель" и ее душевно-духовный смысл, должны были быть Гумилеву чужды. Для Гумилева в Блоке с особою ясностью должны были проступать враждебные и не совсем понятные ему стороны символизма. Не даром манифесты акмеистов были направлены прежде всего против Блока и Белого. Блока же в Гумилеве должна была задевать "пустоватость", "ненужность", "внешность". Впрочем, с поэзией Гумилева, если бы дело все только в ней заключалось, Блок, вероятно, примирился бы, мог бы, во всяком случае, отнестись к ней с большей терпимостью. Но были тут два осложняющих обстоятельства. На ученика – Гумилева – обрушивалась накоплявшаяся годами вражда к учителю – Брюсову, вражда тем более острая, что она возникла на развалинах бывшей любви. Акмеизм и все то, что позднее называли "гумилевщиной", казались Блоку разложением "брюсовщины". Во-вторых – Гумилев был не одинок. С каждым годом увеличивалось его влияние на литературную молодежь, и это влияние Блок считал духовно и поэтически пагубным.

В начале 1921 года вражда пробилась наружу. Чтобы попутно коснуться еще некоторых происшествий, я начну несколько издалека. Еще года за четыре до войны в Петербурге возникло поэтическое сообщество, получившее название "Цех Поэтов". В нем участвовали Блок, Сергей Городецкий, Георгий Чулков, Юрий Верховский, Николай Клюев, Гумилев и даже Алексей Толстой, в ту пору еще писавший стихи. Из молодежи

– О.Мандельштам, Георгий Нарбут и Анна Ахматова, тогдашняя жена Гумилева. Первоначально объединение было в литературном смысле беспартийно. Потом завладели им акмеисты, а несочувствующие акмеизму, в том числе Блок, постепенно отпали. В эпоху войны и военного коммунизма акмеизм кончился, "Цех" заглох. В начале 1921 г. Гумилев вздумал его воскресить и пригласил меня в нем участвовать. Я спросил, будет ли это первый "Цех", т.е. беспартийный, или второй, акмеистский. Гумилев ответил, что первый, и я согласился. Как раз в тот вечер должно было состояться собрание, уже второе по счету. Я жил тогда в "Доме Искусств", много хворал и почти никого не видел. Перед собранием я зашел к соседу своему, Мандельштаму, и спросил его, почему до сих пор он мне ничего не сказал о возобновлении "Цеха". Мандельштам засмеялся:

– Да потому, что и нет никакого "Цеха". Блок, Сологуб и Ахматова отказались. Гумилеву только бы председательствовать. Он же любит играть в солдатики. А вы попались. Там нет никого, кроме гумилят.

– Позвольте, а сами-то вы что же делаете в таком "Цехе"? – спросил я с досадой.

Мандельштам сделал очень серьезное лицо:

– Я пью чай с конфетами.

В собрании, кроме Гумилева и Мандельштама, я застал еще пять человек.[7] Читали стихи, разбирали их. "Цех" показался мне бесполезным, но и безвредным. Но на третьем собрании меня ждал неприятный сюрприз. Происходило вступление нового члена – молодого стихотворца, Нельдихена.[8] Неофит читал свои стихи. В сущности, это были стихотворения в прозе. По-своему они были даже восхитительны: той игривою глупостью, которая в них разливалась от первой строки до последней. Тот "Я", от имени которого изъяснялся Нельдихен, являл собою образчик отборного и законченного дурака, при том – дурака счастливого, торжествующего и беспредельно самодовольного. Нельдихен читал:

Женщины, двухсполовинойаршинные куклы,
Хохочущие, бугристотелые,
Мягкогубые, прозрачноглазые, каштановолосые,
Носящие всевозможные распашонки и матовые висюльки-серьги,
Любящие мои альтоголосые проповеди и плохие хозяйки –

О, как волнуют меня такие женщины!
По улицам всюду ходят пары,
У всех есть жены и любовницы,
А у меня нет подходящих;
Я совсем не какой-нибудь урод,
Когда я полнею, я даже бываю лицом похож
на Байрона...

Дальше рассказывалось, что нашлась все-таки какая-то Женька или Сонька, которой он подарил карманный фонарик, но она стала ему изменять с бухгалтером, и он, чтобы отплатить, украл у нее фонарик, когда ее не было дома. Все это декламировалось нараспев и совсем серьезно. Слушатели улыбались. Они не покатывались со смеху только потому, что знали историю фонарика чуть ли не наизусть: излияния Нельдихена были уже в славе. Авторское чтение в ”Цехе” было всего лишь формальностью, до которых Гумилев был охотник. Когда Нельхиден кончил, Гумилев, в качестве ”синдика” произнес приветственное слово. Прежде всего он отметил, что глупость доныне была в загоне, поэты ею несправедливо гнушались. Однако, пора ей иметь свой голос в литературе. Глупость – такое же естественное свойство, как ум. Можно ее развивать, культивировать. Припомнив двустишие Бальмонта:

Но мерзок сердцу облик идиота,
И глупости я не могу принять,

Гумилев назвал его жестоким и в лице Нельдихена приветствовал вступление очевидной глупости в ”Цех Поэтов”.

После собрания я спросил Гумилева, стоит ли издеваться над Нельдихеном и зачем нужен Нельдихен в ”Цехе”. К моему удивлению, Гумилев заявил, что издевательства никакого нет. – Не мое дело, – сказал он, – разбирать, кто из поэтов что думает. Я только сужу, как они излагают свои мысли или свои глупости. Сам я не хотел бы быть дураком, но я не в праве требовать ума от Нельдихена. Свою глупость он выражает с таким умением, какое не дается и многим умным. А ведь поэзия и есть умение. Значит, Нельдихен – поэт, и мой долг – принять его в ”Цех”.

Несколько времени спустя должен был состояться публичный вечер ”Цеха” с участием Нельдихена. Я послал Гумилеву письмо о своем выходе из ”Цеха”. Однако, я сделал это не только из-за Нельдихена. У меня была и другая причина, гораздо более веская.

Еще до моего переезда в Петербург, там образовалось отделение Всероссийского Союза Поэтов, правление которого находилось в Москве и возглавлялось чуть ли не самим Луначарским. Не помню, из кого состояло правление, преседателем же его был Блок. Однажды ночью пришел ко мне Мандельштам и сообщил, что "блоковское" правление Союза час тому назад свергнуто и заменено другим, в состав которого вошли исключительно члены "Цеха" – в том числе я. Председателем избран Гумилев. Переворот совершился как-то странно – повестки были разосланы чуть ли не за час до собрания, и далеко не все их получили. Все это мне не понравилось, и я сказал, что напрасно меня выбрали, меня не спросив. Мандельштам стал меня уговаривать "не подымать истории", чтобы не обижать Гумилева. Из его слов я понял, что "перевыборы" были подстроены некоторыми членами "Цеха", которым надобно было завладеть печатью Союза, чтобы при помощи ее обделывать дела мешочнического и коммерческого свойства.[9] Для этого они и прикрылись именем и положением Гумилева. Гумилева же, как ребенка, соблазнили титулом председателя. Кончилось тем, что я пообещал формально из правления не выходить, но фактически не участвовать ни в его заседаниях, ни вообще в делах Союза. Это-то и толкнуло меня на выход из "Цеха".

Блок своим председательством в Союзе, разумеется, не дорожил. Но ему не понравились явно подстроенные выборы, и он был недоволен тем, что отныне литературное влияние Гумилева будет подкреплено нажимом со стороны союзного правления. И Блок решился выйти из неподвижности.

Как раз в это время удалось получить разрешение на издание еженедельника под названием "Литературная Газета". В редакцию вошли А.Н. Тихонов, Е.И. Замятин и К.И. Чуковский. Для первого номера Блок дал статью, направленную против Гумилева и "Цеха". Называлась она "Без божества, без вдохновенья". "Литературная Газета" прекратила существование раньше, чем начала выходить: за рассказ Замятина и мою передовицу номер был конфискован еще в типографии по распоряжению Зиновьева. Статью Блока я прочел лишь много лет спустя, в собрании его сочинений. Признаться, она мне кажется очень вялой и туманной, как многие статьи Блока. Но в ту пору ходили слухи, что она очень резка. В одну из тогдашних встреч Блок и сам говорил мне то же. С досадой он говорил о том, что Гумилев делает поэтов "из ничего".

...Мой уход из "Цеха Поэтов"[10] не повлиял на наши личные отношения с Гумилевым. Около этого времени он тоже

поселился в "Доме Искусств", и мы стали видеться даже чаще. Он жил деятельно и бодро.[11] Конец его начался приблизительно в то же время, когда и конец Блока.

На Пасхе вернулся из Москвы в Петербург один наш общий друг, человек большого таланта и большого легкомыслия. Жил он, как птица небесная, говорил – что Бог на душу положит. Провокаторы и шпионы к нему так и льнули: про писателей от него можно было узнать все, что нужно. Из Москвы привез он нового своего знакомца. Знакомец был молод, приятен в обхождении, щедр на небольшие подарки: папиросами, сластями и прочим. Называл он себя начинающим поэтом, со всеми спешил познакомиться. Гумилеву он очень понравился.

Новый знакомец стал у него частым гостем. Помогал налаживать "Дом Поэтов" (филиал Союза), козырял связями в высших советских сферах. Не одному мне казался он подозрителен. Гумилева пытались предостеречь – из этого ничего не вышло. Словом, не могу утверждать, что этот человек был главным и единственным виновником гибели Гумилева, но после того, как Гумилев был арестован, он разом исчез, как в воду канул. Уже за границей я узнал от Максима Горького, что показания этого человека фигурировали в гумилевском деле и что он был подослан.

В конце лета я стал собираться в деревню на отдых. В среду 3-го августа мне предстояло уехать. Вечером накануне отъезда пошел я проститься кое с кем из соседей по "Дому Искусств". Уже часов в десять постучался к Гумилеву. Он был дома, отдыхал после лекции.

Мы были в хороших отношениях, но короткости между нами не было. И вот, как два с половиной года тому назад меня удивил слишком официальный прием со стороны Гумилева, так теперь я не знал, чему приписать необычайную живость, с которой он обрадовался моему приходу. Он выказал какую-то особую даже теплоту, ему как будто бы и вообще несвойственную. Мне нужно было еще зайти к баронессе В.И. Икскуль, жившей этажем ниже. Но каждый раз, как я подымался уйти, Гумилев начинал упрашивать: "Посидите еще". Так я и не попал к Варваре Ивановне, просидев у Гумилева часов до двух ночи. Он был на редкость весел. Говорил много, на разные темы. Мне почему-то запомнился только его рассказ о пребывании в царскосельском лазарете, о государыне Александре Феодоровне и великих княжнах. Потом Гумилев стал меня уверять, что ему

суждено прожить очень долго – "по крайней мере до девяноста лет". Он все повторял:

– Непременно до девяноста лет, уж никак не меньше.

До тех пор собирался написать кипу книг. Упрекал меня:

– Вот, мы однолетки с вами, а поглядите: я, право, на десять лет моложе. Это все потому, что я люблю молодежь. Я со своими студистками в жмурки играю – и сегодня играл. И потому непременно проживу до девяноста лет, а вы через пять лет скиснете.

И он, хохоча, показывал, как через пять лет я буду, сгорбившись, волочить ноги, и как он будет выступать "молодцом".

Прощаясь, я попросил разрешения принести ему на следующий день кое-какие вещи на сохранение. Когда наутро, в условленный час, я с вещами подошел к дверям Гумилева, мне на стук никто не ответил. В столовой служитель Ефим сообщил мне, что ночью Гумилева арестовали и увезли. Итак, я был последним, кто видел его на воле. В его преувеличенной радости моему приходу, должно быть, было предчувствие, что после меня он уже никого не увидит.

Я пошел к себе – и застал там поэтессу Надежду Павлович, общую нашу с Блоком приятельницу. Она только что прибежала от Блока красная от жары и запухшая от слез. Она сказала мне, что у Блока началась агония. Как водится, я стал утешать ее, обнадеживать. Тогда, в последнем отчаянии, она подбежала ко мне и, захлебываясь слезами, сказала:

– Ничего вы не знаете... никому не говорите... уже несколько дней... он сошел с ума!

Через несколько дней, когда я был уже в деревне, Андрей Белый известил меня о кончине Блока. 14-го числа, в воскресенье, отслужили мы по нем панихиду в деревенской церкви. По вечерам, у костров, собиралась местная молодежь, пела песни. Мне захотелось тайком помянуть Блока. Я предложить спеть "Коробейников", которых он так любил. Странно – никто не знал "Коробейников".

В начале сентября мы узнали, что Гумилев убит. Письма из Петербурга шли мрачные, с полунамеками, с умолчаниями.

Когда вернулся я в город, там еще не опомнились после этих смертей.

В начале 1922 года, когда театр, о котором перед арестом много хлопотал Гумилев, поставил его пьесу "Гондла", на генеральной репетиции, а потом и на первом представлении, публика стала вызывать:

– Автора!

Пьесу велели снять с репертуара.

АНДРЕЙ ЛЕВИНСОН

ГУМИЛЕВ

Когда, несколько месяцев тому назад, был замучен[1] и убит Н.С. Гумилев, я не нашел в себе сил рассказать о поэте: негодование и скорбь, чудовищность преступления заслонили на время образ его в интимной простоте и трудовой его обыденности. Впрочем, пафос и торжественность поэтического делания не покидали его и в быту каждодневном. Он не шагал, а выступал истово, с надменной и медлительной важностью; он не беседовал, а вещал наставительно, ровно, без трепета сомнения в голосе. Мерой вещей была для него поэзия; вселенная – материалом для создания образов. Музыка сфер – прообразом стихотворной ритмики. Свое знание о поэзии он считал точным, окончательным; он охотно искал твердых и повелительных формул, любил себя окружать учениками, подмастерьями поэтического цеха, и обучать их догме стихотворного искусства. В последние годы жизни он был чрезвычайно окружен, молодежь тянулась к нему со всех сторон, с восхищением подчиняясь деспотизму молодого мастера, владеющего философским камнем поэзии. В "Красном Петрограде" стал он наставником целого поколения: университет и пролеткульт равно слали ему прозелитов. Однако не отшлифованные с педантизмом схемы Гумилева, не рецепты творчества, им преподаваемые, завоевали ему подобную власть над умами. В нем чувствовалось всегда ровное напряжение большой воли, создающей красоту, а сквозь маску педанта с коническим черепом виден был юношеский пыл души, цельной без щербинки и, во многом, ребячески-простой. У этого профессора поэзии была душа мальчика, бегущего в мексиканские пампасы, начитавшись Густава Эмара. Поэт-скиталец, поэт-паломник и явился к нам издалека; на обложке первой его книжки, – если не считать предварительного, так сказать, поэтического опыта: "Пути конквистадоров", – обозначен как место издания Париж. Я был, помнится, первым из русских критиков, с волнением откликнувшихся на эти его

"Романтические цветы", потому что был озадачен и привлечен "необщим выражением" маленького сборника.[2] Насквозь эклектичная книга, где на малом пространстве нескольких десятков страниц сгрудились античность и экзотика, римские галеры и каравеллы Кортеза, сновало многоголосое и разноцветное, как в Левантинском порту, население образов, где русский ямб то уподоблялся патетическому и взбудораженному александрийцу Виктора Гюго, то кованому, насыщенному, как афоризм, стиху Эредиа, то легкой и крепкой восьмисложной строке Теофиля Готье. Гумилев показался мне тогда "французским поэтом на русском языке", царскосел-парижанином, но уже в самом характере воспринятых им воздействий заключалась немалая новизна. Поколение наших символистов черпало импульсы из творчества "проклятых поэтов", из демонической риторики Бодлера, тайнописи Малларме, текучего, аморфного, музыкального лиризма Поля Верлена, грандиозного бреда Верхарна. Юный Гумилев по внутренней необходимости обратился к тем поэтам, для которых "видимый мир существует". Тогдашний его "круг чтения" преопределяет поэтическую доктрину, вокруг которой он сгруппирует впоследствии важную часть молодых стихотворцев наших. Так подготовляется петербургская пора его деятельности, отмеченная сборниками: "Чужое Небо", "Жемчуга",[3] переводом "Эмалей и Камей" Теофиля Готье и критической работой в "Аполлоне".

...И не меньше, чем из примера таких писателей, как Теофиль Готье или Рабле, из ночных размышлений в палатке где-либо на плоскогорье Харрара возникла поэтическая доктрина а к м е и з м а , объединившая вокруг Гумилева сонм молодых поэтов: О.Мандельштама, Георгия Иванова, М.Зенкевича, других еще.

Чем же был этот загадочный акмеизм, что притязал упразднить и сменить русский символизм, его идеологию, его методы иносказания? Приятием и утверждением зримого и ощутимого мира, культом углубленной и усиленной конкретности, славословием вещи и ее имени: слова. Омолодить мир, увидеть его словно впервые в первозданном его облике, такова надежда. Самая же поэзия представлялась Гумилеву и его кругу не как плод прихотливых вдохновений, а как стихотворное ремесло, имеющее свои законы и приемы, свой материал: слово в его значении и его звучании, образности и ритме; недаром группа его, в которой участвовал тогда и ветреный, взбалмошный Сергей Городецкий, объединилась в цех, где вокруг мастеров сплотились ученики. Журнал и издательство "Гипербо-

рей" явились органами нового поэтического упования; так возник первый исключительно стихотворный журнал.[4]

Мне доныне кажется лучшим памятником этой поры в жизни Гумилева бесценный перевод "Эмалей и Камей", поистине чудо перевоплощения в облик любимого им Готье. Нельзя представить, при коренной разнице в стихосложении французском и русском, в естественном ритме и артикуляции обоих языков, более разительного впечатления тождественности обоих текстов. И не подумайте, что столь полной аналогии возможно достигнуть лишь обдуманностью и совершенством фактуры, выработанностью ремесла; тут нужно постижение более глубокое, поэтическое братство с иноязычным стихотворцем.

Наступила война, а с нею для Гумилева военная страда. Войну он принял с простотою совершенной, с прямолинейной горячностью. Он был, пожалуй, одним из тех немногих людей в России, чью душу война застала в наибольшей боевой готовности. Патриотизм его был столь же безоговорочен, как безоблачно было его религиозное исповедание. Я не видел человека, природе которого было бы более чуждо сомнение, как совершенно, редкостно, чужд был ему и юмор. Ум его, догматический и упрямый, не ведал никакой двойственности.

Гумилев ушел на фронт гусаром,[5] участвовал в трагическом походе в восточную Пруссию, был ранен, заслужил двух Георгиев, позже был направлен во Францию; позже состоял здесь ординарцем при Комиссаре Временного Правительства; я встретился с ним вновь в России уже на исходе 1918 года.

Как раньше в африканской пустыне, наконец, при винтовке, Гумилев двигался по широким просторам навстречу неизвестности, навстречу опасности. Его переживание войны было легким, восторженным; подвиг был радостным. Сборник "Колчан", памятка об этой поре, свидетельствут об этом состоянии его души, просветленном и экзальтированном.

"Дитя Аллаха" – лучшее из осуществленного Гумилевым в драматическом роде. Этому цельному человеку не давалось искусство масок; он не мог расчленить и воплотить во множестве фигур борение своей души, ясной и невинной. Так его ненапечатанная еще, кажется, "Окровавленная туника",[6] задуманная в духе Расиновых "правильных" трагедий, лишь цикл лирических отступлений и вялых диалогов. Его опыты как драматурга – заблуждение о самом себе, превышение данной ему власти.

В 18-м году мы встретились в издательстве "Всемирная литература"; на два с лишком года объединил нас общий труд, безнадежный и парадоксальный труд насаждения духовной культуры Запада на развалинах русской жизни. Кто испытал "культурную" работу в Совдепии, знает всю горечь бесполезных усилий, всю обреченность борьбы с звериной враждою хозяев жизни, но все же этой великодушной иллюзией мы жили в эти годы, уповая, что Байрон и Флобер, проникающие в массы хотя бы во славу большевистского "блефа", плодотворно потрясут не одну душу. Я смог оценить тогда обширность знаний Гумилева в области европейской поэзии, необыкновенную напряженность и добротность его работы, а особо его педагогический дар. "Студия Всемирной литературы" была его главной кафедрой; здесь отчеканивал он правила своей поэтики, которым охотно придавал форму "заповедей", столь был уверен в непререкаемости основ, им провозглашенных. Мы знаем поэтов мистиков, озаряемых молниями интуиции, послушных голосам в ночи. Таков был Блок. И как представить Блока преподавателем? Гумилев был по природе церковником, ортодоксом поэзии, как был он и христианином православным. Не мистический опыт, а откровение поэзии в высоких образцах руководило им. Он естественно влекся к закону, симетрии чисел, мере; помнится, он принялся было составлять таблицы образов, энциклопедию метафор, где мифы всех племен соседствовали с исторической легендой; так вот, сакраментальным числом, ключом, было число 12: 12 апостолов, 12 палладинов и т.д.

В общественном нашем быту, ограниченном заседаниями редакций, он с чрезвычайной резкостью и бесстрашием отстаивал достоинство писателя. Мечтал даже во имя попранных наших прерогатив и неотъемлемых прав духа апеллировать ко всем писателям Запада; ждал оттуда спасения и защиты.

О политике он почти не говорил: раз навсегда с негодованием и брезгливостью отвергнутый режим как бы не существовал для него. Он делал свое поэтическое дело и шел всюду, куда его звали: в Балтфлот, в Пролеткульт, в другие советские организации и клубы, название которых я запамятовал. Помню, что одно время осуждал его за это. Но этот "железный человек", как называли мы его в шутку, приносил и в эти бурные аудитории свое поэтическое учение неизмененным, свое осуждение псевдо-пролетарской культуре высказывал с откровенностью совершенной, а сплошь и рядом раскрывал без обиняков и свое патриотическое исповедание. Разумеется, Гумилев мог пойти всюду, потому что нигде не потерял бы себя.

В последний год он написал обширную космогоническую поэму "Дракон", законченную уже не при мне. После отъезда моего Гумилев недолго пробыл в Петрограде; им овладело беспокойство, он уезжал на юг, был арестован "за преступление по должности" (поэт!)[7] и в минувшее лето расстрелян заодно с шестьюдесятью жертвами. Так закончил жизнь стойкий человек, видавший в поэзии устремление к "величию совершенной жизни". Удивляться ли тому, что его убили? Такие люди несовместимы с режимом лицемерия и жестокости, с методами растления душ, царящими у большевиков. Ведь каждая юношеская душа, которую Гумилев отвоевывал для поэзии, была потеряна для советского просвещения.

У нас, за границей, нет почти книг Гумилева. Собрание его сочинений, хотя бы избранных, мне кажется необходимым, налицо лишь недавно вышедший в Риге сборник "Шатер",[8] это – часть задуманной Гумилевым "поэтической географии", развернутой на любимой странице: стихотворной карте Африки. Прочитав эту единственную доступную здесь книгу Гумилева, отдайте ее детям. Это – лучшее, что я могу сказать о ней; если же немногие и общие черты жизни поэта, здесь изложенные мною, приобретут ему несколько новых, посмертных друзей и оживят в памяти тех, кто знавал его, образ человека, которого нельзя забывать, – цель этой слишком краткой памятки достигнута.

АНДРЕЙ ЛЕВИНСОН

БЛАЖЕННЫ МЕРТВЫЕ

Когда не стало Блока, когда узнали: расстрелян Гумилев, "поэт, филолог, бывший офицер", – вести эти ударили по сердцам. Что и говорить: умершие и убитые, убитые тайно, убитые явно – оба имеют у нас "хорошую прессу". Блока, трагического, как Гамлет, как Эдип, со зловещим и отчаянным восторгом воспевшего 12 апостолов вселенского октября и погребенного ныне под смрадными развалинами своей безмерной иллюзии, реабилитируют и амнистируют наперебой суетнейшие из злободневных обозревателей. Мечут жребий о ризах мертвых поэтов. На собраниях в их память несется со всех сторон азартный крик: "Он наш!" – И каждый из торгующихся с шумом бросает на весы свои доводы. В Николае Гумилеве, чудо чьей жизни было в ее абсолютной растворенности, в поэтическом подвиге, любуются всего более монархистом; имена обоих то и дело служат аргументом в споре, трамплином для ораторских порывов.

Признаем: они сегодня всего более популярны среди тех, кто дотоле не бросил и взгляда на какую-либо из их страниц. Мы узнали на днях о тяжком положении Федора Сологуба, о безумии и гибели его жены. С тоской, с обидой смертельной думаю: и ему у нас, "за рубежом", как гласила некогда традиционная газетная рубрика, уготован апофеоз, и о нем заскрипят перья, надорвутся голоса, о нем, о старшине молодой поэзии нашей. Но под условием непременным: он должен сперва у м е р е т ь от голода и нищеты, лишний раз заклеймить своею смертью режим, убивающий поэтов. Тогда сподобится он венца мученического, а его поэзия, столь уединенная, будет всенародно признана прекрасной, – и он вкусит посмертную славу на десятках газетных столбцов.

Но пока в нем теплится жизнь, ничего, ни слова любви, уважения, простой памяти не донесется из зарубежной России

к нему в советскую юдоль. А если донесется что-либо, то хладнокровное, походя брошенное оскорбление, беспечный вымысел. Мы здесь торжественно, мы истово хороним мертвых поэтов наших, но нам слишком мало дела до живых. Говорю это, потому что сам еще половиною души с ними, живыми в царстве смерти, половиною души "советский" подданный, брошенный на колья волчьей ямы, где отмирает тело, гниет душа.

Одиночество их безмерно. Помните, что писали о том, как совершенно один умирал Блок. Но самое нестерпимое, казнь злейшая: чувство покинутости друзьями за рубежом, гордыми и пьяными своею вновь обретенной в изгнании человечностью, возвращенной свободой, восстановленной честью. Столь неслыханны были наши бедствия, что нам мнилось все взоры должны быть прикованы к нам. Убитый ныне Гумилев грезил наяву об обращении за защитой к писателям всего мира. У нас было отнято все, и все в нас было запятнано прикосновением, — неизбежным, — к звериному быту. Души наши были конфискованы; в себе уже не найти было опоры. Мы, советские, мы — "черненькие" — страстно чаяли ее от вас "беленьких", чистых людей эмиграции, спасших хотя бы бегством душу живую.

В сокровище, чуть ли не в святыню, обращался газетный, захватанный лист"оттуда": талисман, символ убереженной России, соблюденной свободы. Но для нас, о нас там не оказывалось ничего, — или горшее, чем ничего.

Помню, как сейчас: кто-то принес на заседание "редакционной коллегии издательства Всемирной Литературы" в Петрограде бумажку: копию письма Д.С. Мережковского, напечатанного в парижской газете. То, что называется по-советски "коллегией", была группа писателей и ученых, голодных, нищих, бесправных, отрезанных от читателей, от источников знания, от будущего, рядов которых уже коснулась смерть, писателей, затравленных доносами ренегатов, вяло защищаемых от усиливающегося натиска власти, — и безоговорочно, до конца (от истощения, как Ф.Д. Батюшков, от цынги или от пули) верных литературе и науке. И вот в письме этом для этого пусть фанатического, пусть безнадежного, но высокого, но бескорыстного усилия нашлось лишь два слова: "Бесстыдная спекуляция".

Я не забуду этого дня: Гумилев, "железный человек", как прозвал его я в шутку, — так непоколебимо настойчив бывал он при защите того, что считал достоинством писателя, —

был оскорблен смертельно. Он хотел отвечать в той же заграничной печати. Но как доказать всю чистоту своего писательского подвига, всю меру духовной независимости своей от режима? Не значило ли это обречь на гибель и дело и людей?

Так вот: заграничный праведник, столь беспечно, просто о них и не вспомнив, пожалуй, мимоходом, глухо заклеймивший несколько честных и страшно несчастных русских людей, не рисковал быть опровергнутым. Чего доброго, написав эти слова, он имел в виду лишь деловых "хозяев" этого начинания, разъяснением же своей мысли пренебрег. Но наше нестерпимое бремя посильно увеличил.

Поистине, он бил лежачего. Неужто и все благородные друзья мои, советские писатели, о чьей каждодневной пытке нет сил до конца подумать, должны погибнуть, сгинуть, как Блок, как Гумилев, чтобы нашлось и для них слово братства, жалости, благодарности? Неужто у нас хватит памяти о них – ровно на некролог?

Просматривал сегодня один пресловутый дневник, от 1919-20 года. Там где-то сказано со злорадством: писатель Х достал один вагон дров, и сказано явно в осуждение, да нет: с гадливостью.

Не умею передать, как сжалось у меня сердце. Ведь на дворе октябрь и там, где была Россия, – октябрь. Господи, дай, чтобы Х, "неправедный" писатель, замученный, страшно больной, с истраченной, в осколки разбитой душой, оторванный страшной советской нуждой от литературы, но пламенно, неистребимо преданный ей, достал для себя, для четырех детей своих, хоть ради четвертого из них, младенца, вагон дров, чтобы не умереть им в эту зиму от холода.

Умереть и получить отпущение грехов. Господи, дай, чтобы не было в Париже, в Праге и Берлине вечеров "памяти Х-в"!

Нельзя, чтобы живые стали завидовать мертвым. Они должны знать, что всю их боль, все их унижение, все их безобразие истощенных и затравленных зверей мы несем вместе с ними, что никто из нас не смеет кичиться своей чистотой, пока они томятся в смрадной трясине советской.

Если мы не можем помочь, надо хоть помнить.

ПЕТР РЫСС

У ТУЧКОВА МОСТА

Петроград был уже заплеван подсолнухом. Нагло гоняли по городу автомобили товарищи комиссары. Гноили в тюрьмах всех, носивших манжеты. Было голодно, серо, подло. И от этой тоски хотелось бежать, куда глаза глядят; но все тяжелее становилась большевистская могила, все труднее делалось уехать.

Помню, дул холодный ветер со взморья. С Песков я шел к Тучкову мосту. Там, в большой квартире, брошенной хозяином-профессором, в огромной гостиной (ах, как холодно там было!) собралась небольшая группа. Попили чаю без сахару, поговорили о политике:

– Будем читать стихи, забудем о сегодняшнем!

Предложение Ф.К. Сологуба было одобрено.

Читал свои новые стихи Н.С. Гумилев, такой странный, такой непохожий на человека двадцатого века. Его нет уже в живых: такие большевикам не нужны.

Потом, закрыв глаза, скрестив на груди руки, – прямые, могучие стихи читал Сологуб. Он называл их тогда "Стихами о России".

И маленькая, черная, импульсивная Ан. Ник. Чеботаревская, щуря глаза, дергала головой и вздыхала.

Я стоял у окна и глядел на набережную, на Тучков мост. Как бы из реки поднимались огни, мигали, переглядывались. Думалось:

– Петрограду быть пусту... так ли?

Поздней ночью расходились. Крепчал сырой, холодный ветер. Пьяный озорник грозил кому-то в пространство...

Вот теперь – с Тучкова моста – в Неву бросилась Ан.Ник. Чеботаревская. Навеки умолк Н.С. Гумилев.

И кажется: в огромной красного дерева гостиной, с закрытыми глазами, бледный, с руками, скрещенными на груди, сидит одинокий Федор Кузьмич и читает "Стихи о России".

Как, должно быть, холодно теперь в Петербурге, как рвет холодный ветер со взморья, как равнодушно перемигиваются огни на реке! Только и осталась там вера в Россию, да еще не до конца выплаканные стихи о ней, о России...

ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ГУМИЛЕВ И БЛОК

...Особенно интересно было видеть его в разговоре с Гумилевым. Они явно недолюбливали друг друга, но ничем не высказывали своей неприязни: более того, каждый их разговор представлялся тонким поединком взаимной вежливости и любезности. Гумилев рассыпался в изощренно-иронических комплиментах. Блок слушал сурово и с особенно холодной ясностью, несколько чаще, чем нужно, добавлял к каждой фразе: "уважаемый Николай Степанович", отчетливо, до конца выговаривая каждую букву имени и отчества.

Отношение их друг к другу не было равным. Гумилев действительно высоко ценил Блока как поэта, был автором восторженной статьи о нем в журнале "Аполлон", и вместе с тем ему было чрезвычайно досадно, что Александр Александрович не разделяет его взглядов на поэзию. Блок отдавал должное эрудиции Гумилева, но к гумилевским стихам относился без всякого энтузиазма. "Это стихи только двух измерений", – заметил он как-то, не то с досадой, не то с чувством какой-то внутренней обиды.

Однажды после долгого и бесплодного спора Гумилев отошел в сторону явно чем-то радраженный.

– Вот смотрите, – сказал он мне. – Этот человек упрям необыкновенно. Он не хочет понять самых очевидных истин. В этом разговоре он чуть не вывел меня из равновесия...

– Да, но вы беседовали с ним необычайно почтительно и ничего не могли ему возразить.

Гумилев быстро и удивленно взглянул на меня.

– А что бы я мог сделать? Вообразите, что вы разговарива-

ете с живым Лермонтовым. Что бы вы могли ему сказать, о чем спорить?

Как-то Гумилев подарил Блоку свою недавно вышедшую книгу, тут же набросав на первой странице несколько слов почтительного посвящения.[1] Блок поблагодарил его. На другой день он принес Гумилеву свой сборник "Седое утро". И когда Гумилев торжественно развернул его, мы все с недоумением прочли следующую надпись:

"Глубокоуважаемому и милому Николаю Степановичу Гумилеву, стихи которого я всегда читаю при свете дня"

Гумилев усмехнулся иронически и недовольно. Он-то во всяком случае не считал, что для стихов нужны сумерки или лунный свет.

...Блок переводил и сам, и тщательно редактировал чужие работы. Редактор он был требовательный и даже придирчивый, но старался передать не букву, а дух подлинника – полная противоположность Гумилеву, который, редактируя переводы французских поэтов, главным образом, парнасцев, прежде всего следил за неуклонным соблюдением всех стилистических, чисто формальных особенностей, требуя сохранения не только точного количества строк переводимого образца, но и количества слогов в отдельной строке, не говоря уже о системе образов и характере рифмовки. Блок, который неоднократно поступался этими началами ради более точной передачи основного смысла и "общего настроения", часто вступал с Гумилевым в текстологические споры. И никто из них не уступал друг другу. Гумилев упрекал Александра Александовича в излишней "модернизации" текста, в привнесении личной манеры в произведение иной страны и эпохи; Блоку теоретические выкладки Гумилева казались чистейшей схоластикой. Спор их длился бесконечно и возникал по всякому, порою самому малому, поводу. И чем больше разгорался он, тем яснее становилось, что речь идет о двух совершенно различных поэтических системах, о двух полярных манерах поэтического мышления. Окружающие с интересом следили за этим каждодневным диспутом, рамки которого расширялись до больших принципиальных обобщений.

...Мы мало говорили "на серьезные темы". Блок избегал их. Но одна беседа о поэзии мне запомнилась ясно. Было это после какого-то очередного спора с Гумилевым. Александр Александрович вышел взволнованным и несколько раздра-

женным. По обыкновению, он старался не показывать этого, но его настроение невольно прорывалось в жестах, в походке. Наконец, он не выдаржал.

– Вот, вы знаете Гумилева лучше меня. Во всяком случае, больше привыкли к нему. Неужели он в самом деле думает, что стихотворение можно взвесить, расчленить...

– Он убежден в этом.

– Удивительно. Как удобно и просто жить с таким сознанием. А вот я никогда не мог после первых двух строк увидеть, что будет дальше. То есть, конечно, это не совсем так, – добавил он тут же с непривычной торопливостью. – И прежде всего слышу какое-то звучание. Интонацию раньше смысла. Кто-то говорит во мне – страстно, убежденно. Как во сне. А слова приходят потом. И нужно следить только за тем, чтобы они точно легли в эту интонацию, ничем не противоречили. Вот тогда – правда. Всякое стихотворение вначале – звенящая, расходящаяся концентрическими кругами точка. Нет, это даже не точка, а скорее астрономическая туманность. И из нее рождаются миры.

– Гумилев смотрит иначе, – заметил я. – Он утверждает, что видит стихотворение все целиком, во всех его красках и формах. И ему остается только записать, чтобы не упустить ни одной детали. Более того, у него есть твердое убеждение, что тему будущих стихов можно поставить перед собою, как шахматную задачу и решить во всех возможных вариациях.

Блок горько усмехнулся.

– Счастливый человек! Но я не завидую ему. Значит, он никогда не поймет того, что говорит иногда Достоевский. Помните, как пришел к Грушеньке Алеша Карамазов – в горькую и страшную для нее минуту, когда она была готова броситься навстречу новому и неведомому счастью, быть может, сулящему ей гибель и пропасть впереди? Он смутил ее на мгновенье своей ясностью и чистотой. Но она схватила бокал шампанского и крикнула в каком-то порыве: "Выпьем за сердце, за подлое сердце мое!" И разбила хрусталь. Это был надрыв, вызов, неожиданный для нее самой. А как хорошо!

И помолчав с минуту, добавил:

– Я люблю женщин Достоевского. Что перед ними бледные девушки Тургенева, великие женщины Толстого? Всех их затмевает Настасья Филипповна или даже та же Грушенька, мещанка с ямочками на щеках. Они – страшное воплощение самой жизни, всегда неожиданной, порывистой и противоречивой. Их, как и жизнь, нельзя загадать наперед. Вот почему так губительны встречи с ними. Достоевский знал их

удивительно. Но это я так, кстати. Знаете, я все-таки не могу поверить, что Гумилев решает свои стихи, как теоремы. Он несомненно поэт. Но поэт выдуманного им мира. Не могу с ним согласиться. А настоящие стихи идут только от того, что действительно было, прошло через сознание, сердце, печень, если хотите. И вообще надо писать только те стихи, которых нельзя не написать. Да и, конечно, возможно меньше говорить о них.

...Таким казался он и на заседаниях Союза поэтов. Начавши так неохотно свое председательство, он, по свойственной ему добросовестности, терпеливо нес свои нелегкие обязанности. Для Блока они, действительно, были нелегкими. У меня, тогдашнего секретаря, сохранилось два-три протокола, из которых видно, что Александру Александровичу приходилось вникать в скучные хозяйственные мелочи молодой нашей организации, хлопотать о пайках, решать дровяные вопросы, писать обстоятельные аннотации на стихи вновь вступающих членов, улаживать конфликты с издательствами. Все это заметно тяготило его. Положение усложнялось тем, что Гумилев и его группа сразу же почувствовали себя чем-то обиженными и начали "борьбу за власть". На этой почве произошел ряд неприятных столкновений, завершившихся уходом Александра Александровича с председательского места в отставку. Вслед за ним был забаллотирован при новых выборах ряд близких Блоку поэтов, и я в том числе. Разногласия происходили и по творческим вопросам. Об этом есть глухое упоминание Блока в дневниках той поры.[2] Сказались эти разногласия и в одной из последних статей Александра Александровича – "Без божества, без вдохновенья", направленной против оторванного от жизни эстетизма. Черновики этой статьи вобрали в себя немало замечаний, набросанных Блоком в его полемических записях, адресуемых Гумилеву во время наших заседаний.

Но бывали и мирные встречи. Мне запомнился вечер в неуютной сводчатой комнате у Чернышева моста, где помещался тогда Комиссариат Народного Просвещения, оказывавший нам гостеприимство. Обычное заседание кончилось круговым чтением стихов, причем было поставлено условие прочесть то, что ближе всего авторскому сердцу. Когда дошла очередь до Блока, он на минуту задумался и начал своим мерным глухим голосом:

Что же ты потупилась в смущеньи,
Погляди, как прежде, на меня...

...В этот раз Блок прочел не больше пяти-шести стихотво-

рений. Все молчали, завороженные его голосом. И когда уже никто не ожидал, что он будет продолжать, Александр Александрович начал последнее: "Голос из хора". Лицо его, до сих пор спокойное, исказилось мучительной складкой у рта, голос зазвенел глухо, как бы надтреснуто. Он весь чуть подался вперед в своем кресле, на глаза его упали, наполовину их закрывая, тяжелые веки. Заключительные строчки он произнес почти шепотом, с мучительным напряжением, словно пересиливая себя.

И всех нас охватило какое-то подавленное чувство. Никому не хотелось читать дальше. Но Блок первый улыбнулся и сказал обычным своим голосом:

– Очень неприятные стихи. Я не знаю, зачем я их написал. Лучше бы было этим словам оставаться несказанными. Но я должен был их сказать. Трудное надо преодолеть. А за ним будет ясный день. А знаете, – добавил он, видя, что никто не хочет прервать молчание, – давайте-ка все прочитаем что-либо из Пушкина. Николай Степанович, теперь ваша очередь.

Гумилев ничуть не удивился этому предложению и после минутной паузы начал:

Перестрелка за холмами;
Смотрит лагерь их и наш:
На холме пред казаками
Вьется красный делибаш.

Светлое имя Пушкина разрядило общее напряжение. В комнату словно заглянуло солнце.

ВАСИЛИЙ НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО

РЫЦАРЬ НА ЧАС (ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГУМИЛЕВЕ)

Невыразимою грустью на меня повеяло от небольшой, изящно изданной книжки Гумилева – "К синей звезде". Точно из далекой, неведомо где затерянной могилы убитого поэта меня позвал его едва-едва различимый голос.

Мы обдумывали планы бегства из советского рая.

Мне перед этим два раза отказали в выдаче заграничного паспорта. Другого выхода для меня не было. Он тосковал по яркому солнечному югу, вдохновлявшему его заманчивыми далями. По ним еще недавно он странствовал истинным конквистадором. Рассказывал мне о приключениях в Абиссинии. Если бы поверить в перевоплощение душ, можно было бы признать в нем такого отважного искателя новых островов и континентов в неведомых просторах великого океана времен. Америго Веспуччи, Васко де Гамы, завоевателей вроде Кортеса и Визарро... Я хотел уходить через Финляндию, он через Латвию. Мы помирились на эстонской границе. Наш маршрут был на Гдов, Чудское озеро. В прибрежных селах он знал рыбаков, которые за переброс нас на ту сторону взяли бы недорого. Ведь денег у нас обоих было мало – и миллионов (тогда счет уже был на миллионы!) мы тратить не могли. И вот в таких именно беседах Николай Степанович не раз говорил мне:

– На переворот в самой России – никакой надежды. Все усилия тех, кто любит ее и болеет по ней разобьются о сплошную стену небывалого в мире шпионажа. Ведь он просочил нас, как вода губку. Нельзя верить никому. Из-за границы спасение тоже не придет. Большевики, когда им грозит что-нибудь оттуда – бросают кость. Ведь награбленного не жалко. Нет, здесь восстание невозможно. Даже мысль о нем предупреждена. И г о т о в и т ь с я к н е м у г л у п о . Все это вода на и х мельницу.

Помню одну из таких прогулок.

Навстречу вьюга. Волны снега неслись нам в лица. Ноги тонули в сугробах.

Гумилев остановился и с внутреннею болью:

– Да ведь есть же еще на свете солнце и теплое море и синее-синее небо. Неужели мы так и не увидим их... И смелые, сильные люди, которые не корчатся, как черви под железною пятою этого торжествующего хама. И вольная песня и радость жизни. И ведь будет же, будет Россия свободная, могучая, счастливая – только мы не увидим.

Этот душевный крик особенно действовал из уст такого по-видимому спокойного, невозмутимого человека, каким он казался, только казался. Его сдержанность была маскою, гордою и презрительной к людской пошлости, низменности и малодушию.

Он был бы на своем месте в средние века.

Он опоздал родиться лет на четыреста!

Настоящий паладин, живший миражами великих подвигов. Он увлекался бы красотою невероятных приключений, пытал бы свои силы в схватках со сказочными гигантами, на утлых каравеллах в грозах и бурях одолевал неведомые моря. И, разумеется, сырые и серые дни Севера среди трусливо припавшего к низинам народа, в вечных сумерках, где только безлистые ветви чахлых деревьев метались во все стороны – были не по нем, давили его могильною плитою.

Бывая у меня, он передавал свои красочные замыслы. Я думаю, лучшего слушателя он не мог найти: ведь в экзотическом мире, как свободная птица в горячем воздухе, носилась и моя мечта. Мусульманский Восток и африканские пустыни тревожили наше воображение. Часто, когда мы смолкали, переживая грезовые паузы, оказывалось, оба странствовали мысленно за морями и океанами. Сейчас, когда я перечитываю его стихи – строгий и суровый образ поэта, застегнувшегося как будто на все пуговицы, живой стоит передо мною. Он, казалось, весь был в железной непроницаемой броне, чтобы посторонний взгляд не угадал пламя,горевшее в его груди.

Он не мог иначе мыслить, как образами.

Я помню, как-то он приехал ко мне.

— Нет ли в ваших коллекциях или библиотеке рисунков, сделанных африканскими дикарями?

Тогда у меня была большая библиотека, собранная в далеких странствиях. Увы, от нее ни следа!.. Второй такой не составить... Где-то она теперь?

— Зачем вам?

— Я пишу географию в стихах... Самая поэтическая наука, а из нее делают какой-то сухой гербарий. Сейчас у меня Африка — черные племена. Надо изобразить, как они представляют себе мир.

Я не знаю, что вышло из этого. Издатель нашелся. Я видел первые печатные листы... Он не только как поэт сам увлекался часто даже странными идеями, нет. Он умел зажигать и окружающих, случалось, совсем не свойственным им энтузиазмом. Аудитории, в которых он неутомимо выступал как лектор, проникались его восторженностью и героизмом. Если бы существовала школа исследователей и авантюристов (в благородном значении этого опошленного теперь слова!), я не мог бы указать для нее лучшего руководителя.

Он был необыкновенно деятелен в эту мертвую зыбь нашей печати. Читал лекции в доме Искусств и пролетарским поэтам. Выступал и в Петербурге, и в Москве на литературных вечерах, живым словом заменивших убиенные большевиками журналы. И как себе, так и другим не давал поблажек. Его требовательность красоты и чистоты стиха доходила до фанатизма. До ярости доводили его статьи, затасканные приемы архивной словесности у молодых начинающих дарований. Сгнившие, навязшие в зубах сравнения, обычная, все нивелирующая плоскость, пошлые приемы мещанского юмора, заимствованные, тысячу раз повторявшиеся рифмы. А.М. Горький на Моховой устроил колоссальное предприятие — художественных переводов иностранных писателей. Оно сложилось в мощную организацию. Благодаря этому учреждению, немало наших беллетристов просуществовало в самый ужасный голодный период отечественных злоключений. Приготовлена была таким образом масса рукописей, едва ли десятая часть которых явилась в печати. Все остальное лежит под спудом и ждет воскрешающей трубы Архангела.

Николай Степанович там заведовал, кажется, отделом французской поэзии и доводил наших переводчиков до отчаяния. Он был так строг и к себе, и к другим, что забраковал

даже считавшиеся до тех пор классическими переложения песен Беранже, сделанные когда-то Вас. Курочкиным. Гумилев доходил до педантизма: великолепный перевод "Овечьего Источника" и "Собаки на сене" Лопе де Веги, исполненный А.Н. Бежецким (Масловым), он вернул – потому, что число строф в переводе не соответствовало такому же и в подлиннике. Надо было не только соблюдать арифметическую точность, но и каждой строке передать содержание авторской строки. Сам он умел так работать и беспощадно требовал того же от других.

Гумилев в то же время необыкновенно чутко относился к начинающим – именно в кучах навозу отыскивал жемчужные зерна. В слушателях особенно ценил оригинальность, хотя бы неловкую на первых порах, именно дорогую в каждом писателе. Он требовал от них упорной работы над собою.

– Над стихом надо изводиться, как пианисту над клавишами, чтобы усвоить технику. Это не одно вдохновение, но и трудная наука. Легче ювелиру выучиться чеканить драгоценные металлы... А ведь наш русский язык именно драгоценнейший из них. Нет в мире другого, равного ему – по красоте звука и по гармонии концепции.

С его легкой (в данном случае, впрочем, тяжелой) руки, во всей России сложились кружки поэтов под всевозможными кличками – от " жемчужной раковины" чуть ли не до "разбитого корыта". И, увы, стихи стали ремеслом. Явились десятки юных самозванных гениев, в звучных и по форме совершенных строфах которых истинная поэзия, по словам И.С. Тургенева, даже не ночевала. Почти накануне его нежданного, так изумившего всех ареста, он был у меня, чтобы повидаться с г. Оргом, тогда главною эстонской миссии в России. Орг в то же время был представителем только что образовавшегося книгоиздательства в Ревеле "Библиофил". Н.С. продал ему новые стихотворения и, покончив с условиями по этому поводу, заторопился в дом Мурузи на Литейную, где он должен был открыть новый кружок поэтов.

– Не слишком ли много их? – заметил я.

– Каждый человек поэт. Кастальский источник в его душе завален мусором. Надо расчистить его. В старое рыцарское время паладины были и трубадурами, как немецкие цеховые ремесленники мейстерзингерами... Мне иногда снится, что я в одну из прежних жизней владел и мечом, и песней. Талант не всегда дар, часто и воспоминание. Неясное, смутное, нечеткое. За ним

ощупью идешь в сумрак и туман к таящимся там прекрасным призракам когда-то пережитого...

В этот раз, повторяю, накануне своего ареста, он еще раз заговорил о неизбежности уйти из России.

– Ждать нечего. Ни переворота не будет, ни Термидора. Эти каторжники крепко захватили власть. Они опираются на две армии: красную и армию шпионов. И вторая гораздо многочисленнее первой. Я удивляюсь тем, кто составляет сейчас заговоры... Слепцы, они играют в руки провокации. Я не трус. Борьба моя стихия, но на работу в тайных организациях я теперь бы не пошел.

И узнав о том, что он взят в Чека, я ничего не понял.

Разумеется – глупая ошибка, недоразумение, которое разъяснится сейчас, и он будет выпущен. Вспомнили его работу с пролетарскими поэтами. В своих лекциях он не скрывал ненависти к деспотизму коммунистических тиранов. Но там, в кружке молодежи, предателей не было. Некоторое время меня мучило: не послужило ли поводом к аресту Гумилева устроенное мною знакомство его с Оргом и предполагавшееся печатание поэм Николая Степановича в Ревеле. Ведь всякое сношение с заграницей считалось в России – преступлением. И только через неделю появились первые смутные слухи о Таганцевском заговоре, к которому пристегнули поэта. Это показалось нам всем так нелепо, что мы успокоились...

Вы слышали о Гумилеве на войне?

В мировой бойне он был таким же пламенным и бестрепетным паладином, встречавшим опасность лицом к лицу. Товарищи кавалеристы рассказывают о нем много. В самые ужасные минуты, когда все терялись кругом, он был сдержан и спокоен, точно меряя смерть из-под припухших серых век. Его эскадрон, случалось, сажали в окопы. И всадники служили за пехотинцев. Неприятельские траншеи близко сходились с нашими. Гумилев встанет, бывало, на банкет бруствера, из-за которого немцы и русские перебрасываются ручными гранатами, и, нисколько не думая, что он является живой целью, весь уходит жадными глазами в зеленеющие дали. Там – в сквозной дымке стоят обезлиствевшие от выстрелов деревья, мерещутся развороченные снарядами кровли, зияет иззубреным пролетом раненая колокольня и плывет, едва-едва поблескивая, река. Гумилев – до пояса под воронеными дулами оттуда. По нем бьют. Стальные пчелы посвистывают у самой головы... Товарищи говорили: "пытает судьбу". Другие думали: для чего-то, втайне задуманного, испытывает нервы. И не сходит со своего

опасного поста, пока солдаты не схватят его и не стащат вниз. В кавалерийских атаках – он был всегда впереди. Его дурманило боевое одушевление. Он писал с фронта в Петербург: "Я знаю смерть не здесь – не в поле боевом. Она, как вор, подстерегает меня негаданно, внезапно. Я ее вижу вдали в скупом и тусклом рассвете, не красной точкою неконченной строки – не подвига восторженным аккордом". Эти полустихи полупроза – были пророческими...

Я тогда еще не был знаком с ним.

Любил его чудесную книжку рапсодий "Конквистадоры".

Ее нет в продаже. Она разошлась удивительно быстро, и почему-то он ее не переиздавал. Маленькие поэмы ее были похожи на стройные каравеллы испанских завоевателей, под горячим солнцем скользившие по неведомым океанам к чудесным, сказочным берегам. Строки их звучали, как звон мечей о стальную броню... Как-то говорю о них К.И. Чуковскому.

– Хотите познакомиться с автором?

– Еще бы.

Я еще заранее мечтал о встрече с ним, как перед тем о Максимильяне Волошине и потом о В.Ходасевиче.

Дня через два ко мне на Николаевскую пришел Чуковский.

– Я к вам не один...

День был тусклый, серый... И в этом тусклом, сером выступало позади что-то неопределенное. Ни одной черты, которая остановила бы на себе внимание. Несколько раскосые из-под припухших век глаза на бледном, плоском лице. Тонкая фигура... Солнечный поэт, и ничего в нем от солнца и красочного востока. Он странствовал по его востоку – я по северу и западу, спускаясь до южных границ Марокко и потом до таинственных Тимбукту и Диенне... Диенне, в котором до сих пор в нравах и в постройках нет-нет да и скажется древний Египет,через весь этот громадный континент забросивший сюда своих посельников. В России росла страшная явь большевизма. Было жутко, нудно, холодно и голодно. Хотелось отойти от нее, отогреться на впечатлениях знойного далекого, недосягаемого юга. Забыться в свободных просторах спаленных небом пустынь... И мы потом целые дни говорили о чужой, сказочной жизни... Хотели даже начать ряд лекций об Африке. Думаю, в советском раю они не имели бы успеха. Слишком львиные приволья и черные племена были в Петербурге ни к месту и не ко времени. Я был несколько раз у Гумилева, кажется, на Ивановской. Николай Степанович

жил в изящной, полной прекрасных картин, уступленной ему С.К. Маковским, квартире. Потом он переехал, но в этой все кругом говорило о настоящем поэте. Было изящно. Много хороших картин и не нашего холодного севера, а опять-таки прекрасного яркого юга. Я никогда не понимал, как можно в мутном и тусклом Петербурге, где долгая зима все кутает кругом в свой снеговой саван, такие же саваны развешивать по стенам.

— Вам хорошо работается здесь?

— Да... но не так, как в Париже.

Он со страстною тоскою вспоминал о нем.

Он именно там выковывал свой чудесный талант. Солнечные утра, когда он сидел под тенью цветущих деревьев одинокий, задумчивый, так много дали ему. В мировом центре города-света (*ville-lumière*) ленивая мысль и анемичное творчество невольно, точно наливаются здоровою горячею кровью. Все вас зовет к труду. В самом воздухе какой-то особенный озон, что ли, дыша которым вы тянетесь к неоглядным просторам искусства. На этой вечной живой этнографической выставке вы родните с ширями и далями всей земли, делаетесь ее гражданином и еще глубже и умиленнее поэтому любите запавшее в холодные туманы отечество.

В Гумилеве жил редкий у нас дар восторга и пафоса.

Он не только читателя, но и слушателя в длинные и скучные сумерки петербургской зимы уносил в головокружительную высь чарующей сказки. Часто музыка его стихов дополняла недосказанное их образами.

И этого поэта, поэта-рыцаря, уходившего душою в фата-моргану тропиков, прислушивавшегося из своего далека задумчиво и чутко к таинственным зовам муэдзинов и шороху караванов в золотых песках загадочных пустынь, безграмотные, глупые и подлые люди убили, как бродячую собаку, где-то за городом, так что и могилу его нельзя найти. Братскую могилу, куда с ним легли такие же неповинные, как и он, профессора, художники с едва-едва вышедшими из детства девочками.

Хороши и пролетарские поэты.

Они могли бы спасти своего учителя.

Ведь Гумилев в их студии преподавал им — полуграмотным, но жадно рвавшимся к искусству и знанию, законы поэзии, ее историю, приобщая их к ее красоте и мощи. Поливал эту молодую, пока бесцветную, поросль живоносными водами нашей

великой литературы, связывая своих учеников, родня их с бессмертными творцами чудесного русского языка. Они его жадно слушали, любили. Но когда понадобилось собраться всей аудиторией и пойти к комиссару Чека, человеку их партии, бывавшему в их клубах, считавшемуся с их симпатиями, они трусливо, малодушно и подло отреклись от Н.С. Гумилева.

– Знаете, мы справлялись по телефону, но нам оттуда посоветовали не мешаться в это дело...

Серьезно пытались спасти поэта Дома Литераторов и Искусств. Об этом писали и Амфитеатров и Волковысский, участвовавший в депутации к начальнику Чрезвычайки.

Наших представителей комиссар Чрезвычайки встретил недоуменно:

– Что это за Гумилевский. И зачем он вам понадобился?

– И вообще, к чему нам поэты, когда у нас свои есть...

Разумеется, следователи на Гороховой были грамотнее этого эскимоса. Один из них оказался даже правоведом. Ни в чем не уличенный Гумилев, как мне рассказывали, держался с никогда не изменявшим ему спокойствием и мужеством. Как и в окопах под адским огнем германской атаки. Встречал опасность, не опуская глаз и презрительно глядя на эту стаю палачей. Может быть, он считал ниже своего рыцарского достоинства скрывать убеждения, не следовал примеру Петра Апостола, которому нужен был петух, чтобы прийти в себя.

Как Гумилев провел канун обычной в советском раю казни?

Я рисую себе застенок вшивой тюрьмы, где вместе с ним метались измученные пытками смертники. Думаю, что он оставался так же спокоен, как всегда, мечтая в последние минуты о счастливых солнечных далях. О раннем утре перед кошмаром этого соромского убийства, о тех истязаниях и муках, которым подвергали обреченных агенты Чрезвычайки передают нечто невероятное... Я воздерживаюсь приводить здесь слухи, тогда волновавшие Петербург. Все равно, нет тайного, что со временем не сделалось бы явным. Пусть их расскажут другие...

Гумилев любил цитировать две строки из Альфреда де Виньи. Он поставил их эпиграфом к своим "Жемчугам":

Qu'ils seront doux les pieds de celui qui viendra
Pour m'annoncer la mort...

Ужасная русская действительность подарила своего поэта варварскою и подлою вестницею смерти во вшивом и смрадном каземате.

В последнее свидание в Доме Литераторов Гумилев говорил мне о своих поэтических замыслах. Жалко, что здесь я не могу остановиться на них. Нет места. И без того мой очерк слишком разросся. В них воскресал арийский восток. "Дитя Аллаха" было только вступлением в этот сказочный мир.

Мне и до сих пор слышится его напевный голос:

И снова властвует Багдад,
И снова странствует Синбад,
Вступая с демонами в ссору...
И от египетской земли
Опять уходят корабли
В великолепную Бассору...*

Вскоре после мученической смерти Рыцаря на Час одна из его восточных пьес была поставлена в коммунистическом театре.

Мне рассказывали:

В первом ряду сидел комиссар Чека и двое следователей.

Усердно аплодировали и... вызывали автора!

Убитого ими.

С того света! Из грязной ямы, куда было брошено его еще дышавшее и шевелившееся тело... Какая трагическая гримаса нашей невероятной яви! Что перед нею средневековый *danse macabre*?

------

* Стихи написаны в прошедшем времени. Гумилев читал их в настоящем.

СОЛОМОН ПОЗНЕР

ПАМЯТИ Н.С. ГУМИЛЕВА

"Вот наступит лето, возьму в руки палку, мешок за плечи, и уйду за границу: как-нибудь проберусь", – говорил Николай Степанович Гумилев, когда мы весной этого года, перед моим отъездом из Петрограда, прощались.

Я уехал. Общие знакомые писали, что он выпустил сборник стихотворений "Шатер". Потом пришло печальное сообщение о его аресте, но сообщавшие это добавляли, что его освобождения ждут со дня на день, ибо никакого серьезного обвинения ему предъявить не могут.

И вдруг ужасная телеграмма о его расстреле.

Кажется невероятным, чтобы даже советская власть, власть в центре, где все же хорошо знают настроение и образ жизни наших писателей и поэтов, могла причислить его к кругу заговорщиков, роющих ей яму. Правда, раньше он был офицером, сражался на войне, а при большевиках не состоял на военной службе. Но своей принадлежности к офицерскому кругу он никогда не скрывал.

Он большевиком никогда не был; отрицал коммунизм и горевал об участи родины, попавшей в обезьяньи лапы кремлевских правителей. Но нигде и никогда публично против них не выступал. Не потому, что боялся рисковать собой – это чувство было чуждо ему, не раз на войне смотревшему в глаза смерти, – а потому, что это выходило за круг его интересов. Это была бы политика, а политика и он, поэт Гумилев, – две полярности. Поэт, передавший на русском языке граненый хрустальный стиль Теофиля Готье, переводчик Гильгамеша, мечтатель экзотических картин природы далекой Абиссинии, певец героических деяний конквистадоров, он жил грезами

за пределами окружающей современности и удивился бы, если бы его позвали на борьбу с нею. Его жизнь при большевиках была трагически тяжела. Он голодал и мерз от холода, но мужественно переносил все лишения. Ходил на Мальцевский рынок и продавал последний галстук, занимал у знакомых по полену, проводил целые дни в "Доме Литераторов"[1], потому что там было тепло и светло. Но все, на что мог решиться, это на побег, которого так и не осуществил.

Он жил литературой, поэзией. Жил сам и старался приобщить к ним других. Он был инициатором литературной студии при "Доме Искусств", – инициатором и главным руководителем. В жестокой, звериной обстановке советского быта это был светлый оазис, где молодежь, не погрязшая еще в безделье и спекуляции, находила отклики на эстетические запросы. Пусть его теория стихосложения была малонаучна, его взгляды порою причудливы. Но он умел внушить молодежи любовь к поэзии, развивать в ней вкус и понимание художественных красот. И молодежь его уважала, ценила его советы, и не один из молодых поэтов развился, благодаря его указаниям.

За А.Блоком – Гумилев. Их не забудут и смерти их не простят большевикам.

АЛЕКСАНДР АМФИТЕАТРОВ

Н.С. ГУМИЛЕВ

...Когда его месяц тому назад арестовали, никто в петроградских литературных кругах не мог угадать, что сей сон означает. Потому что, – казалось бы, – не было в них писателя, более далекого от политики, чем этот цельный и самый выразительный жрец "искусства для искусства". Гумилев и почитал себя, и был поэтом не только по призванию, но и, так сказать, по званию. Когда его спрашивали незнакомые люди, кто он таков, он отвечал – "я поэт", – с такою же простотою и уверенностью обычности, как иной обыватель скажет – "я потомственный почетный гражданин", "я присяжный поверенный", "я офицер" и т.п. Да он даже и в списках смертников "Правды" обозначен, как "Гумилев, поэт". Поэзия была для него не случайным вдохновением, украшающим большую или меньшую часть жизни, но всем ее существом; поэтическая мысль и чувство переплетались в нем, как в древнегерманском мейстерзингере, с стихотворским ремеслом, – и недаром же одно из основанных им поэтических товариществ носило имя-девиз "Цех поэтов". Он был именно цеховой поэт, то есть поэт и только поэт, сознательно и умышленно ограничивший себя рамками стихотворного ритма и рифмы. Он даже не любил, чтобы его называли "писателем", "литератором", резко отделяя "поэта" от этих определений в особый, магически очерченный, круг, возвышенный над миром, наподобие как бы некоего амвона. Еще не так давно мы, – я и он, – всегда очень дружелюбные между собою, – довольно резко поспорили об этом разделении в комитете Дома Литераторов, членами которого мы оба были, по поводу непременного желания Гумилева ввести в экспертную комиссию этого учреждения специального делегата от Союза Поэтов,[1] что мне казалось излишним. А однажды – на мой вопрос, читал ли он, не помню уже, какой роман, – Николай Степанович совершенно серьезно возразил, что он никогда не читает беллетристики, потому что,

если идея истинно художественна, то она может и должна быть выражена только стихом... Он был всегда серьезен, очень серьезен, жречески важный стихотворец-гирофант. Он писал свои стихи, как будто возносил на алтарь дымящуюся благоуханием жертву богам, и вот уж кто истинно-то мог и имел право сказать о себе:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв...

Всем своим внутренним обликом (в наружности между ними не было решительно ничего общего) Гумилев живо напоминал мне первого поэта, которого я, еще ребенком, встретил на жизненном пути своем: безулыбочного священнодейца Ап.Ник. Майкова... Другие мотивы и формы, но то же мастерство, та же строгая размеренность вдохновения, та же рассудочность средств и, при совершенном изяществе, некоторый творческий холод... Как Майков, так и Гумилев принадлежали к типу благородных, аристократических поэтов, неохотно спускавшихся с неба на землю, упорно стоявших за свою привилегию говорить глаголом богов. Пушкин рассказывает о ком-то из своих сверстников, что тот гордо хвалился: – В стихах моих может найтись бессмыслица, но проза – никогда! Я думаю, что Гумилев охотно подписался бы под этою характеристикою.

Арест человека, столь исключительно замкнутого в своем искусстве, возбудил в недоумевающем обществе самые разнообразные толки. Тогда шла перерегистрация военных "спецов", – думали, что Гумилев попал в беду, как бывший офицер, который скрывал свое звание. Другие полагали, что он арестован как председатель Клуба поэтов за несоблюдение каких-то формальностей при открытии этого довольно странного учреждения, принявшего к тому же несколько слишком резвый характер. Принадлежности поэта к какому-нибудь заговору никто не воображал. Не верю я в нее и теперь, когда он расстрелян, как будто бы участник заговора. И не верю не только потому, что быть политическим заговорщиком было не в натуре Гумилева, но и потому, что скажу откровенно: если бы Гумилев был в заговоре, я знал бы об этом.[2] Сдержанный и даже скрытный вообще, он был очень откровенен со мною именно в политических разговорах по душам, которые мы часто вели, шагая вдвоем по Моховой, Симеоновской, Караванной, Невскому, сокрушаясь стыдом и горем, что умирающему Петро-

граду не достает сил, энергии, героизма, чтобы разрушить постылый "существующий строй"...

Мы не были политическими единомышленниками. Напротив. Мой демократический республиканизм был ему не по душе. Как-то раз я, шутя, напомнил ему, что Платон, в своей идеальной утопии государства, советовал изгнать поэтов из республики. – Да поэты и сами не пошли бы к нему в республику, – гордо возразил Гумилев. Он был монархист – и крепкий. Не крикливый, но и нисколько не скрывающийся. В последней книжке своих стихов, вышедшей уже под советским страхом, он не усумнился напечатать маленькую поэму о том, как он, путешествуя в Африке, посетил пророка-полубога "Махди", и –

Я ему подарил пистолет
И портрет м о е г о Государя.

На этом, должно быть, и споткнулся он, уже будучи под арестом. Что арестовали его не как заговорщика, тем более опасного, важного, достойного расстрела, есть прямое доказательство. Депутация Профессионального Союза Писателей, недели через две после ареста, отправилась хлопотать за Гумилева. Председатель Чрезвычайки не только не мог ответить, за что взят Гумилев, но даже оказался не знающим, кто он такой...[3]

– Да чем он, собственно, занимается, ваш Гумилевич?
– Не Гумилевич, а Гумилев...
– Ну?
– Он поэт...
– Ага? значит, писатель... Не слыхал... Зайдите через недельку, мы наведем справки...
– Да за что же он арестован-то?
Подумал и... объяснил:
– Видите ли, так как теперь, за свободою торговли, причина спекуляции исключается, то, вероятно, господин Гумилев взят за какое-нибудь должностное преступление...

Депутации оставалось лишь дико уставиться на глубокомысленного чекиста изумленными глазами: Гумилев нигде не служил, – какое же за ним могло быть "должностное преступление"? Аполлону, что ли, дерзостей наговорил на Парнасе?

Над удивительным свиданием и разговором этим мы мно-

го смеялись в Петрограде, никак не предчувствуя, что смех будет прерван пулями и кровью...

По всей вероятности, Гумилеву на допросе, как водится у следователей ЧК, был поставлен названный вопрос о политических убеждениях. Отвильнуть от подобного вопроса какимнибудь спасительным обиняком не составляет большой хитрости, но Гумилев был слишком прямолинеен для фехтования обиняками. В обществе товарищей республиканцев, демократов и социалистов он, без страха за свою репутацию, заявлял себя монархистом (хотя очень не любил Николая II и все последнее поколение павшей династии). В обществе товарищей атеистов и вольнодумцев, не смущаясь насмешливыми улыбками, крестился на церкви и носил на груди большой крестельник. Если же на допросе следователь умел задеть его самолюбие, оскорбить его тоном или грубым выражением, на что эти господа великие мастера, то можно быть уверенным, что Николай Степанович тотчас же ответил ему по заслуге – с тою мнимо холодною, уничтожающею надменностью, которая всегда проявлялась в нем при враждебных столкновениях, родня его, как некий анахронизм, с дуэлистами-бреттерами "доброго старого времени". И как офицер, и как путешественник, он был человек большой храбрости и присутствия духа, закаленных и в ужасах великой войны, и в диких авантюрах сказочных африканских пустынь. Ну, а в чрезвычайках строптивцам подобного закала не спускают. Ставили там людей к стенке и за непочтительную усмешку при имени Ленина или в ответ на провокаторский гимн следователя во славу Третьего Интернационала...

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

ПАМЯТИ ГУМИЛЕВА

Обыкновенно говорят: "время летит". О далеких событиях, врезавшихся в память, с удовольствием замечают, что они были "как будто вчера". Но в наши года даже и это изменилось. Вспомните начало войны, – ведь это было всего лишь пятнадцать лет тому назад. Пятнадцать лет! А кажется – целая вечность. И действительно, столько за эти пятнадцать лет произошло, столько нового возникло, столько старого погибло, вообще "так мало прожито, так много пережито", что на несколько иных благополучных веков с избытком хватило бы.

Мне в эти дни вспоминается арест и последовавший за тем расстрел Н.С. Гумилева. Было это в августе 1921 года, – как давно! Будто солдатам на войне, месяцы нам теперь насчитываются за годы. Но то, чтобы события стирались или тускнели в памяти. Нет, как в бинокль с обратной стороны – все совершенно ясно и отчетливо, но удалено на огромное расстояние.

Утром ко мне позвонили из "Всемирной литературы":
– Знаете, "Колчан" задержан в типографии... Вероятно, недоразумение какое-нибудь.

"Колчан" – название одной из ранних книг Гумилева. Тогда как раз печаталось второе ее издание. Сначала я не понял. о чем мне сообщают, подумал, что действительно речь идет о типографских или цензурных неурядицах. И только по интонации, по какой-то дрожи в голосе, по ударению на словах "задержан" я догадался, в чем дело. Тогда в городе к этому условному телефонному языку все были привычны и понимали его с полуслова. Да и не сложные велись разговоры, все говорили равнодушно и как будто невзначай: "знаете, скоро кажется, будет тепло", – знали, что по слухам ожидаются

перемены. Если кто-либо внезапно "заболевал" – понимали, что больница находится на Гороховой или Шпалерной.[1] Как только распространилась весть, что "Колчан' задержан", начались хлопоты о его скорейшем освобождении. Ездили по властям и большим, и малым, телеграфировали Горькому, который тогда находился в Москве. Но никто не предполагал, что конец будет такой быстрый и роковой. Хлопотали, не думая о расстреле – не было к нему никаких оснований. Даже и по чекистской мерке не было.

В эти дни скончался Александр Блок. Мы толковали между собой: знает ли "Колчан" в тюрьме о смерти поэта, как подействовало на него это известие.

Гумилев раз или два прислал из заключения записку. Просил какие-то мелочи, Евангелие и, кажется, Гомера. Но читать ему пришлось недолго.[2]

Как все это было давно.

Удивительно, что ранняя насильственная смерть дала толчок к расширению поэтической славы Гумилева. Никогда при жизни Гумилева его книги не имели большого распространения.[3] Никогда Гумилев не был популярен. В стихах его все единогласно признавали большие достоинства, но считали их холодными, искусственными. Гумилев имел учеников, последователей, но проникнуть в широкую публику ему не давали, и по-видимому, он этим тяготился. Он хотел известности громкой, влияния неограниченного. И вот это совершается сейчас, – может быть, не в тех размерах, как Гумилев мечтал, но совершается. Имя Гумилева стало славным. Стихи его читаются не одними литературными специалистами или поэтами; их читает "рядовой читатель" и приучается любить эти стихи – мужественные, умные, стройные, благородные, человечные – в лучшем смысле слова.

КОММЕНТАРИИ

Э. Голлербах. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Н.С.ГУМИЛЕВЕ

Напечатано в журнале «Новая русская книга», № 7, 1922, стр. 37-41. Эрих Федорович Голлербах (1895-1942) – искусствовед, литературовед, критик, поэт. Автор или редактор-составитель более сорока книг, а также автор многочисленных статей и рецензий.

Голлербах писал в своих статьях о Гумилеве многократно, чаще всего на уровне упоминания его имени или очень кратко – несколько предложений. Например, в антологии «Царское Село в поэзии», вышедшей вскоре после гибели Гумилева, о нем сказано Голлербахом лишь несколько слов, причем не совсем ясно по цензурным ли соображениям или же потому, что Голлербах был поклонником Блока. Последнее обстоятельство подспудно отразилось и в голлербаховских воспоминаниях о Гумилеве, ибо по тем временам было среди петроградских любителей поэзии почти обязательным стандартом: или предпочтение отдавалось Блоку или Гумилеву. Голлербах был «блокистом», и в его отношении к Гумилеву чувствуется снисходительность. В одной из своих статей Н. Оцуп заявляет прямо: Голлербах не любил Гумилева. Однако виделись они часто, и Голлербах мог бы рассказать о Гумилеве значительно больше, чем он сделал. О том же говорит и заголовок этой статьи: «Из воспоминаний о Н. С. Гумилеве».

Точнее всего свое отношение к Гумилеву Голлербах выразил противопоставляя его Блоку, вполне по рецепту своей эпохи, – в статье, написанной непосредственно после расстрела Гумилева:

Возвращаемся к «мэтрам». Если можно противопоставить Блоку когонибудь из современников, то в качестве антипода назовем Н. Гумилева. В погибшей до рождения «Литературной Газете» должна была появиться статья Блока об акмеизме под названием «Без божества, без вдохновенья».

Не совсем справедливо было бы сказать, что акмеисты существуют «без божества и вдохновенья». Но и «божество» и «вдохновенье» для них, конечно, дело девятое. «Мастерство» и «выдумка» ценятся ими выше всего.

Блок и Гумилев не только разные мироощущения, это – разные стихии творчества. Это Моцарт и Сальери нашей поэзии. Блок вещал, Гумилев выдумывал. Блок творил, Гумилев изобретал. Блок был художником, артистом, Гумилев был мастером, техником, Блок был больше поэтом, чем стихослагателем: поэзия была ему дороже стихов. Гумилев был версификатором, филологом по преимуществу. «Я угрюмый и упрямый зодчий Града, восставшего во мгле» – сказал о себе Гумилев («Огненный столп»). И в самом деле он был строителем прежде всего. Стихи не вылетали у него, как «пух из уст Эола», а чеканились, как ювелирная вещь, строились, как архитектурное сооружение. Не то у Блока. Он жил не стихами, но поэзией. Потому и умер, что не мог больше дышать поэзией, т.е. воздухом поэта.

(Э. Голлербах, «Дары поэтов» – «Веретено». Литературно-художественный альманах. Книга первая, стр. 202).

1. По окончании гимназии Гумилев попал в Париж, где в то время жил Бальмонт. С его стихами Гумилев уже был хорошо знаком, он увлекался также Эдгаром По в переводе Бальмонта. Александр Биск, поселившийся в Париже также в 1906 г., писал в очерке «Русский Париж»: «Весной 1906 года Бальмонт жил в тихой улице за Люксембургским садом. Молодой поэт, только что приехавший из России, автор настоящих записок, шел на поклон к королю поэтов. Нынешнее поколение и представить себе не может, чем был Бальмонт для тогдашней молодежи. Блок был новичком... Брюсов еще не был признанным мэтром; все остальные поэты – Андрей Белый, Сологуб, Мережковский, Гиппиус, Вячеслав Иванов – считались второстепенными. Безраздельно царил Бальмонт. Правда, «Будем как солнце» было уже позади, начинался медленный спуск с вершины, но обаяние Бальмонта было еще в полной силе... Телефонные звонки тогда были редкостью, всегда можно было ожидать неожиданных посетителей... Бальмонт был первый, кого я посетил в Париже, поэтому я спросил его, где собираются русские поэты и писатели... Он послал меня к Елизавете Сергеевне Кругликовой. Это была известная художница, у которой был прием по четвергам, когда собиралось разношерстное общество – русские и французы, знаменитости и малые сии... Когда появлялся новый гость, Кругликова, назвавши его, представляла присутствующих: сначала громким отчетливым голосом: Бальмонт, Минский, Волошин, Плехановы, а затем уже менее внятно: Биск, Смирнов и прочая молодежь».

Гумилев приехал в Париж примерно в то же самое время, что и Биск или несколько позднее и повторил тот же путь, что и Биск. Но вместо неожиданного визита к Бальмонту, Гумилев написал ему письмо, ответа не последовало. Затем он попал в салон Кругликовой, но вероятнее всего уже после своего первого африканского путешествия. О желании встретиться с Бальмонтом узнаем из письма Гумилева Брюсову от 30 октября

1906 г.: «Приехав в Париж, я послал Бальмонту письмо как его верный читатель, а отчасти в прошедшем и ученик, прося позволенья увидеться с ним, но ответа не получил». И через несколько строк: «Знаменитый поэт, который даже не считает нужным ответить начинающему поэту, сильно упал в моем мнении как человек». Нам неизвестны достоверные свидетельства о том, что встреча с Бальмонтом все же состоялась. Во всяком случае, в письме от 6 апреля 1908 г. Брюсову Гумилев пишет, что познакомился с некой барышней, которая бывает у Бальмонта, из чего следует, что сам он к Бальмонту невхож. Тем не менее странно, как Гумилев не встретился с Бальмонтом у Кругликовой, где оба часто бывали.

2. О том же пишет Георгий Иванов в «Петербургских зимах»: «Девиз Гумилева в жизни и поэзии был: «всегда линия наибольшего сопротивления». Это мировоззрение делало его в современном кругу одиноким» (стр. 216).

3. В предисловии к антологии «Царское Село в поэзии» Голлербах писал: «Отчасти повлиял Анненский на М. Кузмина и Н. Гумилева. Последний был его учеником в гимназии. Долго живя в Царском, он «впитал» в себя и прочувствовал поэзию «русского Версаля». В стихотворении «Памяти Анненского» ему удалось создать почти портретный образ поэта, с красивою и грустною жизнью осиротевшего парка».

Дмитрий Кленовский.
ПОЭТЫ ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ ГИМНАЗИИ

Впервые опубликовано в «Новом журнале», № 29, 1952, стр. 132-138. Дмитрий Иосифович Крачковский (Кленовский) – поэт. Родился он в Петербурге 24 сентября 1983 г. Умер в Траунштейне (Бавария) в декабре 1976 г. Попал в Баварию в начале Второй мировой войны. Кленовский – автор многих поэтических сборников. В этих книгах встречаются стихи, в которых упоминается имя Гумилева, как и стихи ему посвященные.

Н.С.Гумилеву

Как валежник, сухие годы
Под ногою хрустят мертво,
Волчьей ягодою невзгоды
Обвивают истлевший ствол.

И сквозь голые сучья небо –
Словно треснувшая слюда.
Все чужое: краюха хлеба,
Сеновал, скамья и вода.

Дай мне руку! Как никогда ты
Мне, учитель, нужен сейчас,
В час бессмысленнейшей расплаты,
В обнаженный, как череп, час.

Другое его стихотворение является, пожалуй, лучшим комментарием к его же очерку «Поэты царскосельской гимназии»:

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ

Есть зданья неказистые на вид,
Украшенные теми, кто в них жили.
Так было с этим.
Вот оно стоит
На перекрестке скудости и пыли.

Какой-то тесный и неловкий вход
Да лестница взбегающая круто
И коридоров скучный разворот... –
Казенщина без всякого уюта.

Но если приотворишь двери в класс –
Ты юношу увидишь на уроке,
Что на полях Краевича, таясь,
О конквистадорах рифмует строки.

А если ты заглянешь в кабинет,
Где бродит смерть внимательным дозором, –
Услышишь, как седеющий поэт
С античным разговаривает хором.

Обоих нет уже давно. Лежит
Один в гробу, другой без гроба, – в яме,
И вместе с ними, смятые, в грязи,
Страницы с их казненными стихами.

А здание? Стоит еще оно,
Иль может быть уже с землей сравнялось?
Чтоб от всего, чем в юности, давно,
Так сердце было до краев полно,
И этой капли даже не осталось.

Андрей Белый. НА ЭКРАНЕ ГУМИЛЕВ

Печатается по книге Белого «Между двух революций», Л., 1934, стр. 172-173, 178. У Белого название главы – «На экране (Манасевич-Мануйлов, Гумилев, Александр Бенуа)». Стр. 182 в книге Белого является началом главы «Болезнь». В настоящем издании отрывок из этой главы дан под «* * *»Белый Андрей (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева, 1880-1934) поэт, прозаик, критик, теоретик литературы.

В конце декабря, но не позднее 7 января 1907 г. Гумилев отправился

с визитом к Зинаиде Гиппиус. Он позвонил. Долго не открывали, наконец, вышла горничная и, возможно, все было точно так же, как описывает свой визит к Мережковским Андрей Белый: «Я позвонил: передняя – белая; горничная в черном платьице, в беленьком чепчике; вижу из двери: на белой стене рыжеватая женщина в черном атласе, с осиной талией, в белой горжетке, лорнетик к глазам приложив...» В своих воспоминаниях Белый уверяет, что на звонок Гумилева, впрочем, не горничная, а он сам чуть ли не бросился в переднюю открывать дверь. За дверью стоял, по описанию Белого, «бледный юноша с глазами гуся». Гумилев же изображал сцену иначе: «Войдя, я отдал письмо и был введен в гостиную. Там, кроме Зинаиды Николаевны, был еще Философов, Андрей Белый и Мережковский». Разговор, который эта компания навязала еще не успевшему оглядеться и смущающемуся двадцатилетнему юноше, пришедшему к «великим», с некоторой мягкостью можно назвать отвратительным. Все, кроме почти немедленно ушедшего Мережсковского, принялись дружно навешивать на гостя всевозможные ярлыки. Без того, чтобы подвести под некую жесткую рубрику совсем незнакомого человека, казалось, они не могли с ним общаться. Затем начались издевательства. «Дразнили беднягу, который преглупо стоял, – пишет А. Белый, – ...шел от чистого сердца к поэтам же». Затем появился Мережковский и, сунув руки в карманы, сказал с французским прононсом: «Вы, глубчик, не туда попали! Вам здесь не место». И тут же Гиппиус указала на дверь лорнеткой.

Между тем в письме Зинаиде Гиппиус Брюсов осведомляется, приходили ли к ней его брат и «юноша Гумилев». «Первого не рекомендую, второго – да», – заканчивает письмо Валерий Брюсов. На это Гиппиус ответила: «О Валерий Яковлевич! Какая ведьма «сопряла» вас с ним? Да видели ли вы его? Мы прямо пали. Боря (т.е. Андрей Белый – В.К.) имел силы издеваться над ним, а я была поражена параличом. Двадцать лет, вид бледно-гнойный, сентенции старые, как шляпка вдовицы, едущей на Драгомиловское. Нюхает эфир (спохватился) и говорит, что он один может изменить мир: «До меня были попытки... Будда, Христос... Но неудачные». После того. как он надел цилиндр и удалился, я нашла номер «Весов» с его стихами, желая хоть гениальностью его строк оправдать ваше влечение, и не могла. Неоспоримая дрянь. Даже теперь, когда так легко и многие пишут стихи, – выдающаяся дрянь. Чем, о, чем он вас пленил?»

Брюсов надолго запомнил это письмо. Через семь лет в одной своей небольшой заметке он пишет: «Я взял под свое «покровительство» в редакции «Весов» Н. Гумилева и решительно защищал его от столь же решительно отрицательных его оценок (которые высказывала, например, З.Гиппиус)». Брюсов действительно покровительствовал начинающему Гумилеву; он же написал Белому, находящемуся в конце 1906 г. за границей: «Если вам можно, познакомьтесь с Николаем Степановичем Гумилевым, бульвар Сен-Жермен, 68; кажется, талантлив и во всяком случае молод». Известен и ответ А. Белого: «Познакомился с Гмилевым. Может быть, письма его и интересны, но общий облик его – «паныч ось сосулька!» (Гоголь. «Вий), и сосулька глупая».

Память об этой встрече сказалась в рецензии Гумилева на поэтический сборник Белого «Урна». Рецензия была напечатана в газете «Речь» 4 мая 1909 г. В ней Гумилев писал: «Из всего поколения старших символистов Белый наименее культурен, – не книжной культурой ученых... в этой культуре он силен... а истинной культурой человечества, которая учит уважению... и кладет отпечаток на каждое движение человека». В этой же рецензии Гумилев говорит, что следит за творчеством Белого давно и с интересом. Гумилев был знаком со стихами Белого уже в ту пору, когда готовил к печати «Путь конквистадоров». Брюсов в своем отзыве на эту книгу в «Весах» подметил, что некоторые строфы в ней «до мучительности напоминают» Белого. Знаком был Гумилев и со статьями Белого, по крайней мере с теми, что печатались в «Весах», которые Гумилев читал регулярно. Он продолжает получать «Весы» и в Париже». Его имя встречается в списке заграничных подписчиков, напечатанном в одном из номеров «Весов».

Имя Белого упомянуто Гумилевым и в его первом «письме о русской поэзии» в первом номере «Аполлона» (октябрь, 1909). В характере этого упоминания просматривается автобиографический подтекст. Гумилев писал здесь о стихах сотрудника «Весов» Б. Садовского: «Я думаю, ни у кого не повернется язык упрекнуть поэта за такую скромность. Если он может не многое, то, по крайней мере, ясно сознает свои силы. Несколько строф, навеянных Брюсовым и Белым, только подтверждают мою мысль... *так бесхитростно переняты в них особенности обоих образцов*». Эти слова были запоздалым ответом Брюсову, упрекавшему юного Гумилева в подражании Белому. Гумилев даже употребляет здесь брюсовский оборот речи в его отзыве на «Путь конквистадоров»: «Отдельные строфы... напоминают *свои образцы* – то Бальмонта, то Андр. Белого».

В следующем «письме о русской поэзии» опять упоминается имя Белого и опять лишь вскользь, но в этом беглом упоминании уже чувствуется будущий акмеист, который строит свою поэтическую систему, отталкиваясь от символизма и преодолевая его. Речь идет о первой книге П. Сухотина «Астры». В ней, – пишет Гумилев, – «багряные закаты *каких-то невиданных солнц*», конечно взяты у Белого, но в стихах Сухотина они стали «*ровнее и проще*». «Теперь для них уже не надо подниматься на снеговые вершины, их видно с любого балкона».

В «Аполлоне» № 6, 1910 имя Белого встречается в отзыве на книгу Алексея Сидорова «Первые стихи». По словам Гумилева, Сидоров подражает Белому. Но начинающему поэту не хватает «смелости и свежести выдумки, на которой *главным образом* и держится поэзия Андрея Белого». В следующем номере «Аполлона» в статье Гумилева «Жизнь стиха» Белый отнесен к «поборникам тезиса искусство для жизни». Для Гумилева этот подход к искусству – «нецеломудренный», равно как и точка зрения защитников тезиса «искусство для искусства».

В «Аполлоне» № 8, 1910 напечатана была статья Гумилева «Поэзия в

«Весах», в которой находим следующую лаконичную характеристику: «Андрей Белый пытающийся внести красочный импрессионизм своих юношеских произведений в самые повседневные переживания». Однако все эти частные наблюдения над поэзией Андрея Белого в целом не умаляют в глазах Гумилева того места, которое Белый твердо занял в современной русской поэзии. Его имя он ставит рядом с Блоком, неизвестно наравне ли, но сразу вслед за ним. В рецензии на «Антологию» издательства «Мусагет» Гумилев отметил стихотворение Белого «Перед старой картиной». Оно, по слову Гумилева, – «прекрасно». Из романтизма есть два выхода, – поясняет свою оценку Гумилева, – «в сторону Гейне и в сторону Готье». Белый идет в этом стихотворении по более трудному пути Готье. В этом предельно кратком отзыве сказано чрезвычайно многое. Рецензия написана была в период, непосредственно предшествующий созданию Цеха поэтов и формулировке концепции акмеизма. Симвлизм понимался современниками как поэзия романтическая. Для Гумилева уже к этому времени явно обозначилась ценность равновесия как психологической и эстетической категории. Равновесие всех частей стихотворения весьма не благоприятная почва для романтизма. Выход из романтизма в сторону Гейне означает иронию. Летом 1911 г., пережив вспышку нового увлечения Анненским, Гумилев ясно осознал, что по своему темпераменту он не может быть продолжателем «иронической» линии в поэзии.

Но символизм Анненского ближе романскому духу. Романтизм Гейне и даже его тип «выхода из романтизма» для Гумилева неприемлем вдвойне: в силу его личного «решительного предпочтения романского духа перед германским» и по причине несущественности иронии в мире, где «все явления братья». Блок для Гумилева в известной степени ассоциируется с Гейне. Отсюда отталкивание от «царственного безумия» Блока, родственного германскому духу. Совсем иной выход из романтизма в сторону Готье. Готье станет столпом и утверждением истины в эстетике акмеизма. Во-первых, он «бесконечно жаден до жизни». И уже в этом его качестве акмеизмм найдет вдохновение для своей «интенсивности», преодолевая экстенсивность символизма. Во-вторых, Готье, в отличие от стольких романтиков, в отличие от Блока, «не поддался очарованию сплина». Он избегает туманного и отвлеченного. Наконец, путь Готье намного труднее, а девиз акмеизма – идти по пути наибольшего сопротивления. Таким образом, оценка стихотворения Белого в «Антологии» «Мусагета» основана на продуманной шкале эстетических ценностей и привлекательна своей объективностью, на которую не влияют личные воспоминания.

В дальнейших критических выступлениях Гумилева еще несколько раз встречается имя Белого: обычно в позитивном контексте. Об одной из позднейших личных встреч двух поэтов известно из мемуаров И. Одоевцевой: «Случилось это, – пишет она, – 30 апреля двадцатого года, «прием-раут» на квартире Гумилева в честь прибывшего в Петербург Андрея Белого. На нем состоялся «смотр молодых поэтов» – Оцупа, Рождественского и меня... Мы все трое читаем перед Белым стихи, явно не произ-

ведшие на него ни малейшего впечатления, хотя он и рассыпается в безграничных похвалах...» («На берегах Сены», стр. 441).

Александр Биск. РУССКИЙ ПАРИЖ 1906-1908 г.

В настоящее издание влючен лишь имеющий отношение к Гумилеву отрывок из очерка А. Биска, опубликованного в журнале «Современник» (Торонто), № 7, 1963, стр. 59-68.

Биск Александр Акимович (1883-?) – поэт и переводчик Рильке. В 1912 г. вышла его книга «Рассыпанное ожерелье. Стихи. 1903-1911», СПб., изд. М. Семенова. Биск прибыл в Париж за несколько месяцев до приезда Гумилева – весной 1906 г. и в том же году они познакомились. Видеться они могли у художницы Кругликовой, которая регулярно по четвергам устраивала приемы. Иногда это были, как писал Биск, – «костюмированные вечера с обильным угощением». В ту пору, когда Гумилев жил в Париже (лето 1906 – весна 1908) на вечерах у Кругликовой бывали очень многие русские писатели, приезжавшие в Париж или подолгу жившие там: Волошин, Минский, Амфитеатров, Любовь Столица, Бальмонт и др.

1. Речь идет о журнале «Сириус», который Гумилев на паях с художниками Фармаковским и Божеряновым издавал в Париже в начале 1907 г. Всего вышло три номера.

2. Стихи Биска были напечатаны во втором номере «Сириуса».

Алексей Толстой. Н.ГУМИЛЕВ

Опубликовано в парижской эмигрансткой газете «Последние новости» 23 и 25 октября 1921 г.

Толстой Алексей Николаевич (29 дек. 1882 – 23 фев. 1945) – прозаик и драматург. Толстой начинал как поэт, в 1907 г. вышла его книга «Лирика» (Пб., издание автора). Гумилев и Толстой познакомились в Париже в 1908 г. По возвращении в Россию два писателя поддерживали дружеские отношения, оба участвовали в журналах «Остров» и «Аполлон», а также в «Про-Академии» и на «башне» у Вяч. Иванова в первой половине 1909 г. Известен лишь один отзыв Гумилева о стихах Толстого – несколько строк в рецензии на вышедшую по-французски «Антологию русских поэтов» под ред. Жана Шюзвиля. Гумилев отмечает здесь зависимость Толстого-поэта на протяжении своей краткой поэтической карьеры от Городецкого. Имя Толстого встречается в письмах Гумилева Брюсову. В письме от 7 марта 1908 г. читаем: «Не так давно я познакомился с новым поэтом, мистиком и народником Алексеем Н. Толстым (он послал вам свои стихи). Кажется, это типичный «петербургский» поэт, из тех которыми столько занимается Андрей Белый. По собственному признанию, он пишет стихи всего один год, а уже считает себя metr'ом. С высоты своего величья он сообщил несколько своих взглядов и кучу стихов. Из трех наших встреч я вынес только чувство стыда перед

Андреем Белым, которого я иногда упрекал (мысленно) в несдержанности его критики. Теперь я понял, что нет таких насмешек, которых нельзя было бы применить к рыцарям «Патентованной калоши». В другом письме, написанном почти через месяц (6 апреля 1908 г.), Гумилев сообщает Брюсову: «Скоро наверное в Москву приедет поэт гр. Толстой, о котором я Вам писал. За последнее время мы с ним сошлись, несмотря на разницу наших взглядов, и его последние стихи мне очень нравятся».

1 ...под каштанами летом 908 года. – Гумилев уехал из Парижа в начале мая 1908 г.

2. ...кончившего с медалью царскосельскую гимназию – «Аттестат зрелости Николая Гумилева», опубликованный Е.Вагиным в 1982 г., содержит только две пятерки. Все другие отметки, включенные в аттестат, – тройки и четверки.

3. Разумеется, он был назван «Остров» – «Остров» имел подзаголовок «Ежемесячный журнал стихов»; о том же еще раз сообщалось в начале первого номера – «посвященного исключительно стихам современных поэтов». В первом номере были напечатаны стихи И. Кузмина «Благовещение», «Успение», «Покров», «Одигитрия», стихотворение Вяч.Иванова «Суд огня», два стихотворения Волошина, газелы Потемкина, стихи А.Н. Толстого:

Утром росы не хватило,
Стонет утроба земная.
Сверху то высь затомила
Матушка степь голубая,
Бык на цепи золотой
В небе высоко ревет...
Вон и корова плывет,
Бык увидал огневой,
Вздыбился, пал...

Именно на эти стихи была написана пародия неизвестным автором:

Корова ль, бык, мне все равно.
Я – агнец, ты – овца.
Я куриц все люблю равно
Без меры, без конца.

(См. «Остов» или Академия на Глазовской улице», – пародия, перепечатанная в книге М. Баскера и Ш. Греем: Н. Гумилев, «Неизданное и несобранное», стр. 185-186). В первый номер «Острова» вошли стихотворения Гумилева: «Царица», «Воин Агамемнона», «Лесной пожар». Толстой пишет, что второй номер журнала «не хватило денег выкупить из типографии». Считается, что этот номер в библиотеках не сохранился. На первый номер «Острова» появилась в «Весах», № 7, 1909 рецензия С. Соловьева, в которой он писал о Гумилеве, что, по-видимому, он находит-

ся под влиянием Леконта де-Лиля. Его влечет античная Греция, еще больше – красочная экзотика Востока. Стих Гумилева заметно крепнет. Попадаются у него литые строфы, выдающие школу Брюсова, напр.:

Узорный лук в углу был согнут,
И, вольность древнюю любя,
Я знал, что мускулы не дрогнут,
И острие найдет тебя.

Попадаются яркие образы, – пишет далее С. Соловьев, – напр., «твои веселые онагры звенели золотом копыт». К сожалению, Гумилев злоупотребляет изысканными рифмами. Так, в трех строфах подряд у него встречается: бронзы – бонзы, злобе – Роби, Агры – онагры. А через несколько строф далее идут: согнут – дрогнут, былое – алоэ... В античном стихотворении «Воины Агамемнона» Гумилев не строго античен. Рядом с прекрасным и вполне греческим «вождем золотоносных Микен» неприятно поражает совсем современное: «сказка – в изгибе колен».

Другая известная нам рецензия на «Остров» (написана С. Ауслендором) была опубликована в газете «Речь» в номере от 29 июня 1909 г. Что касается даты издания первого номера, то судить о ней можно по письму Гумилева Кузмину: «Наконец-то вышел первый номер «Острова», – пишет Гумилев. – Я высылаю Вам на днях...» В письме Ф.М. Самоненко Гумилев сообщает, что второй номер «Острова» выйдет в конце августа. О содержании второго номера можно судить лишь по рецензиям на него. Гумилев писал об этом загадочно исчезнувшем втором номере в декабрьской книжке «Аполлона» (1909). «Во втором номере «Острова», – пишет Гумилев, – стихи Анненского «То было на Валлен-Коски» и «Шарики». О других участниках «Острова» Гумилев в своей рецензии не упоминает. Однако вслед за его рецензией на той же и на следующей странице напечатан отзыв М. Кузмина под названием «Журнал «Остров» 1909 г., № 2. Спб.» Судя по этой рецензии, во втором номере «Острова» были напечатана стихи Л. Столицы, «Солнечные песни» А.Н.Толстого, сонет Л. Дмитриевой, стихи Блока, Белого, Эльснера, Лившица, С. Соловьева. «Особенно хорош его «Отрок со свирелью», – заключает М. Кузмин. Что касается Гумилева, то Кузмин посвятил ему в своей рецензии лишь одно предложение: «Н. Гумилев дал изящный сонет, начинающийся с довольно рискованного утверждения: «Я попугай с Антильских островов».

4. Немедленно афишка была превращена в еженедельный стихотворный журнал. – Речь идет о неизученной странице в биографии Гумилева. Известно, что в это время, т.е. после напечатания второго номера «Острова» Гумилев сотрудничает в «Журнале театра», редактором которого был упоминаемый Толстым Б.С. Глаголин, а издателем А.С. Суворин. В числе сотрудников «Журнала театра» были объявлены близкие знакомые Гумилеева С. Судейкин, М. Кузмин, М. Волошин.

5. Его младший брат-гимназист – Здесь Толстой напутал. У Гумилева был только один брат – старший.

6. ...его влекла туда встреча с Д. Речь идет о Елизавете Дмитриевой, в замужестве Васильевой, но более известной под одним из ее псевдонимов – Черубина де Габриак. Толстой здесь опять напутал: его не могла туда влечь «встреча с Д.», так как в Коктебель к Волошину он поехал вместе с нею. В письме к Волошину, написанном в мае 1909 г., он сообщает: «В Коктебель я думал выехать числа 27-го, вряд ли раньше, может быть позже». Гумилев с Дмитриевой, по хорошо документированной датировке Бакстера и Греем, приехали в Коктебель 30 мая 1909 г., уехал же он в начале июля. По дороге в Коктебель 26 мая Гумилев уже был в Москве и пытался встретиться с Брюсовым. Сохранилось письмо последнего с выражением сожаления о том, что Гумилеву не удалось застать Брюсова дома.

7. «Капитаны» – были напечатаны в первом номере «Аполлона», вышедшем 25 октября 1909 г.

8. Здесь же он вызвал В. на дуэль. Дуэль состоялась в начале двадцатых чисел ноября. О Гумилеве и Черубине см. в настоящем издании воспоминяния Гюнтера и Волошина.

9. Шервашидзе Александр Константинович, князь (1872-?) – театральный художник, сотрудник «Аполлона».

10. Зноско-Боровский Евгений Александрович (1884-1954) – секретарь редакции «Аполлона» – драматург, критик, театровед, шахматист. Умер в эмиграции. О Гумилеве он написал несколько рецензий, печатавшихся в «Литературных и популярно-научных приложениях «Нивы». В рецензии на «Колчан» (ЛиПНПН, № 7, 1916, стр. 456-458) он писал: «Красною нитью проходит по всей этой книге отрицательное отношение к неясному, расплывчатому приятию мира, к нечеткой, приблизительной фиксации мысли и образа, ко всему недоговоренному и подразумевамому. Слово, до конца верное определяемому им понятию, правдивая, вплоть до прозаизма подлинность рисунка – вот что хотят провести в современную поэзию акмеисты и адамисты. Многое в этом кредо имеет хорошее, ясное, светлое будущее. Молодая поэзия наша – в громадном количестве своих представителей – действительно заблудилась на туманных дорогах всяких нездоровых западнических течений, и вернуть ее на ясный, солнечный, трезвый путь – более чем желательно. Но нельзя даже во имя художественной правды так явно пренебрегать заветами старой лирики, как это делают подчас акмеисты, сознательно равнодушные к музыкальной стороне своих произведений, вплоть до употребления некрасивых, грубо-прозаических слов, неправильных ударений, нарочитых пересеканий ритма и т.д. Все эти недочеты, впрочем, у автора «Колчана» почти отсутствуют, во всяком случае, по отношении внешности. Его холодный, умный стих строго отчеканен, хотя чаще вне музыки и чувства, вне творческих бездн и фетовских высот. Н.Гумилев прежде всего рассудочен и уравновешен, в творчестве его философ всегда берет верх над лириком, почти не оставляя последнему места. Стихи его

тем не менее несомненно интересны – и широкой культурностью мысли скорее европейского, чем славянского склада, и красивой четкостью отделки».

11. К у з м и н Михаил Алексеевич (1875-1936) – поэт. Тема взаимоотношений Гумилева и Кузмина – одна из важнейших для истории поэзии серебряного века – остается слабо изученной. Гумилев посвятил Кузмину стихотворение «В библиотеке», вошедшее в книгу «Жемчуга». Как критик Гумилев писал о Кузмине часто: в статье «Жизнь стиха»; упоминает его имя в рецензии на альманах «Смерть»; в статье «Поэзия в «Весах»; в отзыве на книгу «Стихотворения» рано умершего Ю.Сидорова. В рецензии на «Антологию» книгоиздательства «Мусагет» Гумилев называет некоторые стихотворения Кузмина «классически безупречными». В 1912 г. он пишет рецензию на вторую книгу стихов Кузмина «Осенние озера», и года за два до того (также в «Аполлоне») – заметку о прозе Кузмина. Помимо того, имя Кузмина встречается и в других рецензиях Гумилева: на книги Вс. Курдюмова, Г. Иванова, А. Короны, на французскую антологию русской поэзии и др. Четыре письма Гумилева Кузмину были опубликованы в кн.; Н.С. Гумилев, «Неизданные стихи и письма». Париж, 1980. В кн. под ред. Баскера и Греем «Неизданное и несобранное» перепечатана из приложения «Нивы» рецензия на «Осенние озера», подписанная инициалами Н.Г. Редакторы этой книги считают, что эта рецензия написана Гумилевым. В вышедших в Вене «Гумилевских чтениях» (1984) опубликована некогда печатавшаяся в газете «Речь» (22 мая 1908) рецензия Гумилева на «Осенние озера» Кузмина.

Кузмин также неоднократно писал о Гумилеве, далеко не всегда доброжелательно. Например, в рецензии на «Чужое небо» он пишет: «Нам кажется, что эта третья книга (на самом деле это была четвертая книга – В.К.) не составляет собою книги, как «Жемчуга» того же автора. Это зависит не от небольшого ее объема... а от недостаточной выраженности перемен и эволюций, совершающихся с поэтом. Если бы он оставался таким же, как в «Жемчугах», объединив случайно написанные стихотворения в небольшую книгу, никто бы не мог задаваться вопросом о том, достаточно ли характеристична эта книга, которая определялась бы первой, достаточно выраженной, но дело в том, что в книге «Чужое небо» Гумилев от «Жемчугов» отошел, но ни к чему определенному еще не пришел. Он «пуст» – вот все, что можно про него сказать, хотя уже намечаются черты, по которым можно гадать, какою будет его следующая книга, более определенная, нежели изданная «Аполлоном». Большая свобода формы, более прочувствованная лирика, стремление к большой простоте, освобождение от романтического эстетизма. При сохранении всей крепости стиха и выдержанности форм нам кажутся показателями очень симптоматическими не только для одного Гумилева... Кажется, и от Гумилева, судя по «Чужому небу», можно ожидать его «Зеркала теней», которое удивит, пленит и разочарует поклонников бывшего его экзотизма. Что он при всех своих переменах не утратит заостренной и

крепкой формы, порукой почти все пьесы нового сборника» («Лит. и популярно-научные приложения «Нивы», январь 1913, стр. 161-162).

Упоминание имени Гумилева имеется в дневнике Кузмина, который все еще не опубликован, кроме некоторых фрагментов, появившихся в «Литературном наследстве», т. 92. Например, в записи от 4 апреля 1911 г. читаем: «Были Гумилевы, Толстые, Аничков, Верховский, Чулков, Мандельштам. Читали много. Николай Степанович остался у нас ночевать». Имеется также сведение о поездке Гумилева с Кузминым в Киев в конце ноября или в начале декабря, сразу после дуэли, о которой говорит в настоящем очерке А.Н. Толстой. Гумилев и Кузмин останавливались у Экстеров. В апреле 1911 г. Кузмин приезжал в Царское Село к Гумилеву. Кузмин привез с собой поэта Всеволода Князева – познакомить с Гумилевыми. Еще одна информация, касающаяся взаимоотношений двух поэтов: 29 сентября 1920 г. в Доме Искусств состоялось чествование М.А. Кузмина. Сначала приветствие от Союза поэтов произнес Блок. Затем от коллегии редакторов издательства «Всемирная литература» взял слово Гумилев. Содержание его речи до нас не дошло.

О взаимоотношениях двух поэтов некоторые сведения содержатся в «Записках об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской. «Одни делают всю жизнь только плохое, – записывает Чуковская слова Ахматовой, – а говорят о них все хорошо. В памяти людей они сохраняются как добрые. Например, Кузмин никому ничего хорошего не сделал. А о нем все вспоминают с любовью». В другом месте в тех же «Записках»: «У нас, у Коли, например, все было всерьез, а в руках Кузмина все превращалось в игрушки... С Колей он дружил только вначале, а потом они быстро разошлись. Кузмин был человек очень дурной, недоброжелательный, злопамятный. Коля написал рецензию на «Осенние озера», в которой назвал стихи Кузмина «будуарной поэзией». И показал, прежде чем напечатать, Кузмину. Тот попросил слово «будуарная» заменить словом «салонная» и никогда во всю жизнь не прощал Коле этой рецензии» («Записки об Анне Ахматовой», т. 1, Париж, 1976, стр. 150).

Противоположное мнение об этих взаимоотношениях находим в воспоминаниях В. Петрова о Кузмине: «Впрочем, литературные разногласия, пишет искусствовед Петров, – не всегда переносились на личные взаимоотношения поэтов. Гумилев сердечно любил Кузмина как человека и, мне кажется, разглядел в нем нечто очень существенное и характерное. У Гумилева была теория, согласно которой у каждого человека есть свой истинный возраст, независимо от паспортного и не изменяющийся с годами. Про себя Гумилев говорил, что ему вечно тринадцать лет. А Мишеньке (т.е. Кузмину) – три. Я помню, – рассказывал Гумилев, – как вдумчиво и серьезно рассуждал Кузмин с моими тетками про малиновое варенье. Большие мальчики или тем более взрослые так уже не могу разговаривать о сладком – с такой непосредственностью и всепоглощающим увлечением».

В той же статье В. Петров приводит слова Ахматовой, подтверждаю-

щие ее мнение, записанное Лидией Чуковской: «Впоследствии я слышал от А.А. Ахматовой, что, по ее убеждению, рецензия Гумилева навсегда оттолкнула Кузмина от всей группы акмеистов») В. Петров. «Калиостро», «Новый журнал», 163, 1986, стр. 90).

12. Зимой 10 – 11 года – Цех поэтов был основан в октябре 1911 г.

13. Он получил три Георгия – Гумилев был награжден двумя Георгиевскими крестами.

14. В шестнадцатом году он был послан в Париж – Гумилев уехал заграницу в 1917 г. и пробыл там один год.

15. «Посредине странствия земного» – название было переменено на «Огненный столп», вышедший в количестве одной тысячи экземпляров в издательстве «Петрополис» в 1921 г. в Петрограде. Книга посвящена Анне Николаевне Гумилевой. Отпечатан сборник был в августе 1921 г., возможно, в те дни, когда Гумилев находился в тюрьме.

С. К. Маковский. НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ (1886-1921)

Печатается по книге Маковского «На парнасе серебряного века», Издательство Центрального объединения политических эмигрантов из СССР, Мюнхен, 1962, стр. 197-222. В подзаголовке этого очерка дата рождения Гумилева ошибочно указана как 1882-ой год. В настоящем издании этот очерк напечатан с небольшими сокращениями.

Маковский Сергей Константинович (15.8.1877–13.5.1962) – историк искусства, художественный критик, поэт, мемуарист, издатель, редактор, организатор художественных выставок. Выступил в печати как художественный критик в 1898 г. В 1905 г. вышел его поэтический сборник «Собрание стихов». В 1907 г. участвовал в создании журнала «Старые годы» и был одним из его редакторов. В 1909 г. основал журнал «Аполлон». Опубликовал восемь книг по искусству, самые известные из которых «Страницы художественной критики» в трех томах и «Силуэты русских художников». Маковский автор девяти сборников стихов и двух мемуарных книг. Его цикл сонетов «Нагарэль» посвящен Гумилеву.

1. В очерке «Николай Гумилев по личным воспоминаниям» Маковский писал, что познакомился с Гумилевым 1 января 1909 г. О выставке, на которой состоялось это знакомство, Гумилев написал небольшую статью, напечатанную в «Журнале театра литературно-художественного общества», № 6, 1909.

2. «Тихие песни» Анненского вышли в 1904 г.

3. Ср. с рецензией на «Романтические цветы» в журнале «Образование», № 7, 1908. Неизвестный автор, подписавшийся Л.Ф., заканчивает свой отзыв о сборнике стихов Гумилева следующими словами: «Книжка опрятная и недурная, но мы не хотим скрыть, что знаки препинания во многих цитированных здесь стихах составляют честь нашу, а не автора».

4. Имеется в виду статья В.М. Жирмунского «Преодолевшие симво-

лизм», напечатанная в «Русской мысли», № 12, 1916. Позднее эта статья была включена в книгу Жирмунского «Вопросы теории литературы», Л., 1928.

5. В шестидесятые годы Ахматова просмотрела сборники Гумилева и отметила стихи, в которых, с ее точки зрения, говорилось о ней, хотя формально эти стихи ей посвящены не были. Таких стихотворений в общей сложности насчитывается двадцать два. При чтении подборка этих стихотворений, подготовленных к печати Э.Г. Герштейн и опубликованных в «Новом мире», № 9, 1986, возникает ряд хорошо обоснованных сомнений. Например, легко усомниться в обоснованности мнения Ахматовой относительно стихотворения «Семирамида», формально посвященного «Светлой памяти И.Ф. Анненского». Воспоминания Ахматовой о Гумилеве фрагментарны и эгоцентричны. Обычно они представляют собой краткие упоминания в мемуарной прозе Ахматовой или упоминания в беседах с Л. Чуковской. В печати она избегала называть имя Гумилева гораздо чаще, чем это требовалось условиями времени. Например, в своей автобиографии, написанной за несколько месяцев до смерти, вспоминая о влиянии Анненского, Ахматова говорит: «Когда мне показали корректуру «Кипарисового ларца» Иннокентия Анненского, я была поражена и читала ее, забыв все на свете». Корректуру «Кипарисового ларца» показал ей Гумилев – за несколько дней до их свадебного путешествия. Имя Гумилева в этой автобиографии упоминается лишь один раз – причем не только по цензурным соображениям. В 1965 г., когда писалась эта автобиография, поэзия Гумилева в СССР еще не была реабилитирована, но упоминание его имени в разных контекстах встречается в печати буквально тысячи раз. Например, в 1965 г. вышли в свет «Записные книжки» Блока под редакцией Вл. Орлова – одного из официальных советских гонителей Гумилева. Тем не менее имя Гумилева в этой книге встречается более сорока раз, и оно не было вычеркнуто ни самим Орловым, ни цензурой. Причем речь идет о книге, изданной поистине массовым тиражом – сто тысяч экземпляров.

«Ахматовой (насколько помню), – пишет Маковский, – он посвятил открыто всего одно стихотворение». Маковский имеет в виду «Возвращение» (Я из дому вышел, когда все спали), вошедшее в «Колчан». «Открытыми» посвящениями Ахматовой можно считать и два акростиха Гумилева, опубликованных Георием Ивановым в вышедшем под его редакцией посмертном сборнике Гумилева. Анне Андреевне Горенко Гумилев посвятил сборник «Романтические цветы»; ей же (Ахматовой) посвящен второй раздел книги «Чужое небо», а также три новеллы под общим названием «Радости земной любви» («Весы», № 4, 1908). Дебют Ахматовой состоялся в журнале «Сириус», издаваемом Гумилевым (1907). Гумилев также написал для «Аполлона» большую рецензию о второй книге Ахматовой «Четки».

6. Других данных для точной датировки этого стихотворения, кроме воспоминаний Маковского, в литературе о Гумилеве не имеется. Гумилев вернулся в Петербург после своей второй поездки в Абиссинию в конце

марта 1911 г. Стихотворение «Из логова змиева» было напечатано впервые в июле того же года. Датировка Маковского чрезвычайно проясняет содержание этого стихотворения.

7. Ср. с автобиографией Ахматовой: «Весну 1911 года я провела в Париже, где была свидетельницей первых триумфов русского балета». И в другой своей автобиографии: «Весны 1910-11 годов я провела в Париже. Модильяни».

8. Маковский здесь не совсем точен: Ахматова к этому времени напечатала свои стихи, по крайней мере, в трех журналах. – См. «Русские советские писатели. Поэты. Библиографический указатель», т. 2. М., «Книга», 1978, стр. 153.

9. В «Аполлоне», № 4, 1911 было напечатано четыре стихотворения Ахматовой: «Сероглазый король», «В лесу», «Над водой» и «Мне больше ног моих не надо».

10. Сын Гумилева и Ахматовой родился 1 октября 1912 г.

11. В упомянутой выше (примечание 5)публикации Герштейн из этих трех стихотворений включено только «Эзбекие».

12. Речь идет о статье Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». В ней Готье не цитируется. Цитируемое Маковским стихотворение Готье было переведено Гумилевым и опубликовано раньше – в 1911 г. в «Аполлоне». В том же девятом номере за 1911 г. была напечатана статья Гумилева «Теофиль Готье».

13. Цех поэтов возник осенью 1911 г. Гумилев собственноручно написал приглашение нескольким петербургским поэтам, которые и встретились в октябре 1911 г. на квартире у С.М. Городецкого. К тому времени мысль о провозглашении акмеизма у Гумилева еще не вполне созрела. В начале состав Цеха был весьма разношерстным. Полного перечня участников Цеха до сих пор не существует. Сложность составления такого списка, в частности, состоит в том, что не каждый присутствовавший на цеховых заседаниях формально являлся членом кружка. В 1913 г. Гумилев писал Брюсову, что в стоящем совершенно отдельно от акмеизма Цехе в общей сложности 26 членов. Жирмунский в своей книге об Ахматовой приводит «восстановленный ею в рукописных воспоминаниях» список, включающий семнадцать имен, к которому надо прибавить и саму Ахматову, а также двух синдиков – Гумилева и Городецкого и «стряпчего» – Д.В. Кузьмина-Караваева. Кроме них, Жирмунский говорит, что в Цехе бывали Клюев и Хлебников, а на открытии присутствовал Блок. Однако Жирмунский забыл упомянуть бывавших в Цехе Пяста, Грааля Арельского, Верховского, Чулкова, А. Толстого. Новых членов принимали большинством голосов и только в исключительных случаях «без баллотировки». Именно таким образом был утвержден членом Цеха в 1912 г. Георгий Иванов.

14. Журнал «Гиперборей» выходил в 1912-1913 гг. Этот «ежемесячник стихов и критики» выпускался не особенно регулярно с октября 1912 г. по декабрь 1913 г. Всего вышло десять номеров (один из них сдвоенный). Редактором и издателем был М. Лозинский. Однако в каждом

выпуске «выходящего десять раз в год» «Гиперборея» указывалось, что журнал издается при непосредственном участии С. Городецкого и Н. Гумилева. В большей степени, чем Лозинскому или Городецкому, журнал был обязан своим существованием Гумилеву. Само его название воспринималось как квинтэссенция гумилевской эстетики: ибо гиперборейцы – это хранители храма Аполлона, мифическая раса вечно юных людей, наслаждавшихся непрерывным солнечным светом. Эта мифологема была наилучшим символом для рельефного выражения идей нарождавшегося акмеизма. Современники воспринимали «Гиперборей» как своеобразное отпочкование от «Аполлона», ибо несколько поэтов одновременно сотрудничали в обоих журналах. Сам редактор «Гиперборея» в то же время был секретарем редакции «Аполлона». Если не считать мало удавшейся попытки издавать журнал «Остров», «Гиперборей», благодаря Гумилеву, явился первым в России периодическим изданием, целиком посвященным модернистской поэзии. Поэтический отдел всегда был главным, а в некоторых номерах «Гиперборея» единственным отделом. Критический отдел занимал подчиненное место и полностью посвящался разбору новейших поэтических сборников. Здесь печатались рецензии Городецкого, Лозинского, Мандельштама, Г. Иванова, но чаще других в критическом отделе выступал Гумилев. Некоторые его рецензии не подписаны, но в них с несомненностью виден стиль Гумилева, его фразеология, встречающаяся в его же рецензиях в «Аполлоне». При журнале возникло издательство того же имени. Под его издательской маркой вышли книги Гумилева «Фарфоровый павильон» и «Мик».

Сергей Маковский.
НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ ПО ЛИЧНЫМ ВОСПОМИНАНИЯМ

Печаталось в «Новом журнале», № 77, 1964, стр. 157-189 с примечанием редактора журнала: «Эта работа о Гумилеве – последняя работа покойного С.К. Маковского...» К этому примечанию нужно добавить, что данный очерк представляет собою новый вариант воспоминаний о Гумилеве, вошедших в книгу Маковского «На парнасе серебряного века» (см. в настоящем издании).

Маковский Сергей Константинович (1877-1962) – историк искусства, художественный и литературный критик, поэт, мемуарист. Редактировал «Старые годы», был редактором «Аполлона», а в эмиграции – редактором журналов «Встреча» и «Дело». Выпустил ряд сборников русских зарубежных поэтов (издательство «Рифма»). В 1926-1932 гг. был одним из редакторов газеты «Возрождение». Издал две книги своих мемуаров – «Портреты современников» и «На парнасе серебряного века». По словам Терапиано, в последние годы жизни Маковский готовил третий том воспоминаний, однако книга эта осталась неизданной. См. о нем также в комментариях к его очерку «Николай Гумилев (1886-1921)» в настоящем издании.

1. О том же пишет Г. Иванов в небольшом своем очерке «Блок и Гу-

милев» («Сегодня». № 277, 1929): «Гумилев был слабый, неловкий, некрасивый ребенок, но он задирал сильных и соперничал с ловкими и красивыми. Неудачи только пришпоривали его».

2. Отца звали Степан Яковлевич.

3. С Николаем Сверчковым Гумилев ездил в Абиссинию не в 1907-ом, а в 1913 г. См., в частности, недавно напечатанный в «Огоньке» (апрель, № 14, 1987) дневник Гумилева, писавшийся во время этого (его последнего) африканского путешествия. В той же публикации в «Огоньке» приведены несколько строк интереснейших воспоминаний Николая Сверчкова.

4. Невестка Гумилева (жена его старшего брата Дмитрия) писала, что мать поэта была родом «из старинной дворянской семьи».

5. Гумилев учился в первой и затем во второй тифлисской гимназии и пробыл на Кавказе в общей сложности около трех лет, а не шесть лет, как пишет Маковский.

6. Маковский имеет в виду следующие слова Н. Оцупа: «По рассказам Хмара-Барщевских, еще за шесть лет до своей смерти Анненский с вниманием следил за первыми литературными шагами Гумилева».

7. Здесь у Маковского ошибка: «Романтические цветы» вышли в свет в январе 1908 г. Помимо новых стихов, в нее вошли в новой редакции три стихотворения из «Пути конквистадоров».

8. Здесь опять неточно. К 1907 г. Гумилев выпустил только одну книгу стихов. В 1908 г. после выхода в свет «Романтических цветов» он задумал издать «Жемчуга», но об издании «Чужого неба» еще не могло быть речи.

9. Сначала Гумилев поступил на юридический факультет Петербургского университета. На историко-филологический он был переведен 1 сентября 1909 г.

10. Корректуру «Жемчугов» Гумилев правил в апреле. В том же месяце книга вышла в свет (1910).

11. Эта встреча в вагоне не могла произойти осенью. Гумилев и Ахматова вернулись из Парижа летом 1910 г., скорее всего в первой половине июня. Ср. со словами Ахматовой: «В 1910-м (25 апреля ст.ст.) я вышла замуж за Н.С. Гумилева и мы поехали *на месяц* в Париж» (А.Ахматова. Коротко о себе. – В кн.: А.Ахматова. Стихотворения и поэмы. «Сов. писатель», 1976, стр. 20).

12. В африканское путешествие Гумилев уехал через пять месяцев после венчания – в сентябре 1910 г.

13. До своей первой публикации в «Аполлоне» Ахматова напечатала стихи в «Сириусе», «Всеобщем журнале» и «Гаудеамусе».

14. Стихотворение вошло в «Жемчуга».

15. Третья с конца строка читается в «Чужом небе»:

Что, взойдя на крутую скалу

16. Последняя строка второго четверостишья в «Чужом небе»:

Перед *пыльными* грудами книг.

17. Ср.: «Первого октября 1912 года родился мой единственный сын

Лев» (А.Ахматова, «Коротко о себе» – автобиография, печатавшаяся в нескольких разных изданиях, напр., в кн. «Стихотворения и поэмы» в Большой серии Библиотеки поэта, Л., 1976).

18. Здесь неточность. Ахматова в это время стала готовить к печати не «Белую стаю», а «Четки» (первое издание в марте 1914 г.).

19. Речь идет о Татьяне Викторовне Адамович, сестре Георгия Адамовича.

20. «Актеон» был напечатан в седьмом номере «Гиперборея» (1913).

Владимир Пяст. ВСТРЕЧИ

Настоящая публикация представляет собой отрывки, относящиеся к Гумилеву, из книги Пяста «Встречи», напечатанной в 1929 г. и с тех пор по настоящее время не переиздававшейся. Владимир Александрович Пяст (Пестовский), 1886-1940 – поэт, мемуарист, критик. См. о нем нашу статью в журнале «Стрелец», № 6, 1986.

1. Незадолго до того времени – Гумилев вернулся в Царское Село из Парижа в мае 1908 г. За границей он выпустил только один сборник стихов, а не несколько, как пишет Пяст. Это были «Романтические цветы», вышедшие в свет в Париже в январе 1908 г. тиражом 300 экземпляров.

2. Потемкин Петр Петрович (1886-1926) – поэт, сатирик, переводчик, драматург. Печатался, в частности, и в «Аполлоне». О Потемкине упоминает Андрей Белый в мемуарах «Начало века»: «В Петербурге войною шел на нас Блок, поэты из «Вены» (такой ресторан был), где Дымов, Куприн, Арцыбашев, Потемкин себя упражняли в словах, собирались брататься с Ивановым и Городецким...» Блок в письме Белому от 6 июня 1911 г. отзывается о стихах Потемкина – «это уже какая-то нестроевая рота». Потемкин одно время был в числе ближайших друзей Гумилева. «Сатириконовец» Потемкин за свою общительность, легкость нрава, богемность почитался своего рода душой «Бродячей собаки». Здесь он, случалось, разыгрывал свои остроумные скетчи. Одно из его стихотворений – «Дворцовая набережная» – облетело весь Петербург.

Когда весной разводят
Дворцовый мост, не зря
Гулять тогда выходят
Под вечер писаря.

После революции он эмигрировал. Сначала жил в Праге, потом поселился в Париже. Однажды в Париже им была устроена панихида по «Бродячей собаке», которая в его жизни, очевидно, сыграла бо́льшую роль, чем в судьбе любого из ее завсегдатаев. Некоторые из этих завсегдатаев, эмигрировавших во Францию, присутствовали на этой сим-

волической панихиде. Гумилев писал о Потемкине в 1909 г. («Аполлон», № 2) – о попытке этого поэта «написать поэму из современной жизни». Хотя стих отличается ясностью (серьезная похвала в устах Гумилева), поэма в целом оказалась неудачной. У Потемкина «пока мало данных писать большие вещи», – суммирует свое впечатление Гумилев. В следующем году в «Аполлоне» появилась статья Гумилева «Поэзия в «Весах». Серьезным упущением этого журнала Гумилев считал «непривлечение к сотрудничеству П. Потемкина, одного из самых своеобразных молодых поэтов современности». В своей другой статье в том же номере «Аполлона» (№ 8, 1910), лишь упоминая Потемкина, Гумилев относит его к числу поэтов, создававших свой стиль. Другой краткий отзыв находим у Гумилева в его рецензии на вышедшую в 1911 г. «Антологию» книгоиздательства «Мусагет»: «Неровны, как всегда, стихи Петра Потемкина, хотя теперь удачных выражений у него больше, чем неудачных». И наконец, в 1912 г. Гумилев пишет рецензию на только что вышедший в свет сборник стихов Потемкина «Герань». «Кажется поэт, наконец, нашел себя. С изумительной легкостью и быстротой, но быстротой карандаша, а не фотографического аппарата, рисует он гротески нашего города, всегда удивляющие, всегда правдоподобные».

3. Стихотворным переводом «Танца мертвых» – Драма Ведекинда «Пляска мертвых» в переводе Потемкина была опубликована в 1907 г.

4. Нечто вроде революции – имеется в виду временный выход Гумилева с ближайшими друзьями из Академии стиха и основание Цеха поэтов осенью 1911 г.

5. На первых же осенних собраниях Академии – собрания Академии стиха начались осенью 1909 г. Гумилев женился на Ахматовой 25 апреля 1910 г. Так что на первых собраниях Академии Пяст никак не мог видеть жену Гумилева.

6. На этом-то собрании была изложена – Статья Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» была напечатана в первом номере «Аполлона» за 1913 г. «Диаду», как говорит Пяст, «акмеизм-адамизм» Сергей Городецкий впоследствии интерпретировал прямо в противоположном смысле. В книге «Мой путь» он писал: «Выдумали «акмеизм» (Гумилев предлагал «адамизм»)».

7. Именно тою «рабочей комнатой» – в последней части своей статьи «Они» («Аполлон», № 2, 1909) Анненский писал о новейшей поэзии: «Последний этап. Кончились горы и буераки... Мы в рабочей комнате. Конечно, слова и здесь все те же, что были там. Но дело в том, что здесь это уже заведомо только слова. В комнату приходит всякий, кто хочет... Комнату эту я, впрочем, выдумал – ее в самой пылкой мечте даже нет. Но хорошо, если бы она была».

А. Гумилева. «НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЕВ»

Опубликовано в «Новом журнале», № 46, 1956, стр. 107-126.

Анна Андреевна Гумилева – невестка поэта. Ее воспоминания явились одним из фундаментальных вкладов в мемуарную литературу о Гумилеве. Впрочем, были и голоса, упрекавшие автора этих не претендующих на литературную отточенность воспоминаний в ряде неточностей. Через десять лет после опубликования этих воспоминаний И.В. Одоевцева откликнулась на них в «Новом журнале»: «Г.Струве, – пишет Одоевцева, – справедливо «без особого доверия» отнесся к домыслам и заключениям невестки Гумилева о любви Гумилева, якобы единственной настоящей его любви к его рано умершей кузине Маше Кузминой-Караваевой и к тому, что написанный в 20 году «Заблудившийся трамвай» относится именно к ней». Я не знаю, – продолжает Одоевцева, – был ли влюблен Гумилев в свою кузину, он при мне вообще никогда не вспоминал о ней. Но я охотно допускаю это. Ведь Гумилев был влюблен несчетное число раз... Но рассказ о том, что «Заблудившийся трамвай» (кстати, написанный не в 20-м, а весной 21 года) относится к Маше Кузьминой-Караваевой вполне фантастичен. Небезынтересно упомянуть, что в первом варианте «Машенька» называлась «Катенькой» – и только впоследствии, в честь «Капитанской дочки» превратилась в Машеньку... Та же невестка Гумилева перепутала даты второй женитьбы Гумилева и рождения его дочери Елены. Гумилев действительно вернулся в Петербург в мае и вскоре же, – по желанию Анны Ахматовой, – произошел развод с ней. Но женился он на Анне Николаевне Энгельгардт не «в следующем году», а по словам самого Гумилева, «тут же», т.е. через неделю после развода...»

1. Поскольку свадьба старшего брата Гумилева – Дмитрия – была отпразднована 5 июля 1909 г., то знакомство Н.С. Гумилева с его будущей невесткой имело место где-то в первой половине 1909 г.

2. Гумилеву в это время шел 24-ый год.

3. С. Маковский в книге «На парнасе серебряного века» писал о внешности Гумилева и впечатлениях, оставшихся от первой встречи. Она произошла в 1909 г., еще точнее – 1 января 1909 г.: «Юноша был тонок, строен, в элегантном университетском сюртуке, с очень высоким темносиним воротником (тогдашняя мода) и причесан на пробор тщательно. Но лицо его благообразием не отличалось: бесформенно-мягкий нос, толстоватые бледные губы и немного косящий взгляд (белые точеные руки я заметил не сразу)».

4. Первый номер «Аполлона» вышел в октябре 1909 г. «Общество ревнителей художественного слова», созданное по инициативе Гумилева и собиравшееся на заседания при редакции «Аполлона», начало свою деятельность также в октябре. Прошение в петербургское градоначальство об учреждении этого общества было подано за подписями Маковского, Анненского и Вяч. Иванова еще до выхода в свет первого номера «Аполлона». В дневнике Блока есть запись, относящаяся к началу октября

1909 г.: «Выбран в совет Общества ревнителей художественного слова». Кроме того, в книге Маковского «Портреты современников» говорится, что выступления Анненского продолжались в этом Обществе (или иными словами – Академии стиха) «в течение двух первых месяцев». Следовательно, речь идет о существовании Общества ревнителей на протяжении двух месяцев до смерти Анненского (он умер 30 ноября). Хотя у нас нет точной даты, на основании разных источников можно предположить, что Академия стиха была открыта в первых числах октября. С самого начала ее существования Гумилев вошел в совет Академии – вместе с Ивановым, Анненским, Маковским, Блоком и Кузминым. Собрания Академии бывали раз или два в месяц. Состав Академии не был постоянным. Менялось даже самое стойкое ее ядро – президиум. К осени 1913 г. президиум, или как он иногда назывался «совет общества ревнителей», состоял уже из пяти человек. Гумилева в их числе не было. Гумилев был «доизбран в совет» вместе с В. Недоброво и В. Чудовским 30 ноября 1913 г. Второе избрание Гумилева в президиум может быть объясненно тем, что с осени 1912 г. уехавший за границу Вяч. Иванов уже не мог вмешиваться в дела Общества. Еще в 1911 г. Гумилев покинул Академию фактически из-за Вяч.Иванова. Впрочем, этот уход ускорил создание Цеха поэтов. Вернувшись из-за границы, Вяч. Иванов поселился в Москве, и Гумилев согласился войти в состав президиума. Он оставался активным членом Академии до весны 1914 г. Неизвестно, прочел ли Гумилев в Академии хоть один доклад, но в прениях он выступал довольно часто. Без стимулов, полученных в Академии, Гумилев не стал бы таким точным, осторожным и вдумчивым критиком. Трудно сказать, был ли это заранее подготовленный доклад или просто спонтанное выступление, когда в конце января 1914 г. Гумилев «изложил свои взгляды на эпический род и его современные возможности» («Аполлон», 5, 1914, стр. 53-54). Это «изложение взгляда» имело место после чтения Гумилевым своей поэмы «Мик и Луи». «Большая часть выступавших оспаривали», – заканчивает свой отчет автор заметки в «Аполлоне».

Сохранилось несколько других сведений, касающихся деятельности Гумилева в Академии. Так, в записных книжках Блока имеется запись от 26 марта 1910 г., в которой упоминается Гумилев: «Замечание Вяч. Иванова – символизм хочет говорить правду. – А что такое правда? – спросил Кондратьев. И Гумилев делает замечание». В журнале «Труды и дни», № 2 сообщается о заседании в Академии стиха 18 февраля 1912 г.: «чтение и обсуждение докладов Вячеслава Иванова и А. Белого о символизме. В прениях – В. Пяст, В. Чудовский, С. Городецкий, Н. Гумилев. Двое последних заявили о своем отрицательном отношении к символизму». Затем находим запись в дневнике Блока, сделанную 17 апреля 1912 г. Эта запись лишь слегка приоткрывает завесу над тем, что происходило в Академии: «утверждения Гумилева, что «слово должно значить только то, что оно значит» – глупо, но понятно психологически как бунт против В. Иванова и даже как желание развязяться с его авторитетом и деспотизмом». И еще одно сведение, касающееся уча-

стия Гумилева в Академии: в ноябре 1913 г. состоялось заседание, на котором Гумилев читал свою одноактную пьесу «Актеон». По поводу этого чтения в «Аполлоне» № 1-2, 1914 было сказано, что оно вызвало «особенно продолжительные прения». Тема об участии Гумилева в Академии до сих пор остается белым пятном в литературе о нем. Для более подробной разработки этой темы мы не располагаем достаточной информацией. Имеются, правда, еще некоторые беглые упоминания во «Второй книге» – мемуарах Надежды Мандельштам. «Блудный сын» Гумилева, – пишет она, – ...был прочитан в Академии стиха, где княжил Вячеслав Иванов, окруженный почтительными учениками. Вячеслав Иванов подверг «Блудного сына» настоящему разгрому. Выступление было настолько резкое и грубое («никогда ничего подобного мы не слышали»), что друзья Гумилева покинули Академию и организовали Цех поэтов в противовес ей». Рассказ этот приводится со слов А. Ахматовой. Было ли выступление Вяч. Иванова действительно неслыханно грубым или это деформация, случившаяся в передаче впечатления многолетней давности? Не добавлено ли к этому рассказу «остроты» самой Надеждой Мандельштам?

5. Из многих источников хорошо известно о дуэли Гумилева и Волошина в 1909 г. О другой или других дуэлях сведения неопределенные. Имеется, например, упоминание о «дуэлях» у Георгия Иванова в его небольшой газетной статье «Блок и Гумилев» («Сегодня», № 277, 1929): «Он дрался н а д у э л я х, охотился на львов, пошел добровольцем на войну и получил там два Георгия...»

6. В аттестате зрелости Гумилева, выданном «Николаевской Императорской Царскосельской гимназией» 30 мая 1906 г., – пятерки по русскому языку и логике; по другим предметам – тройки и четверки.

7. В Париже Гумилев издавал «Сириус», имевший подзаголовок «Двухнедельный журнал Искусства и Литературы». Вышло всего три номера и вряд ли с промежутком в две недели. В настоящее время этот журнал – большая библиографическая редкость. В первом номере «Сириуса» – повесть Гумилева «Гибели обреченные» подписана его настоящей фамилией, а стихотворение «Франция», напечатанное там же, подписано псевдонимом К-о – может быть, в противоположность Анненскому, подписавшему свои «Тихие песни» псевдонимом Ник. Т-о. Впрочем, в оглавлении автором стихотворения «Франция» назван К... Помимо двух вещей Гумилева, в первом номере был напечатан «этюд» «Помпея» Мстислава Фармаковского, художественная критика и три репродукции с картин С. Данишевского, Я. Николадзе м А. Божерянова. Обложка журнала была выполнена Божеряновым. Журнал открывался небольшим обращением «От редакции»: «Издавая первый русский художественный журнал в Париже, этой второй Александрии утонченности и просвещения, мы считаем долгом познакомить читателей с нашими планами и взглядами на искусство. Мы дадим в нашем журнале новые ценности для изысканного миропонимания и старые ценности в новом аспекте. Мы полюбим все, что дает эстетический трепет нашей душе, будет ли это развратная, но роскош-

ная Помпея или Новый Египет, где времена сплелись в безумьи и пляске, или золотое средневековье, или наше время строгое и задумчивое. Мы не будем поклоняться кумирам, искусство не будет рабыней для домашних услуг. Ибо искусство так разнообразно, что свести его к какой-либо цели, хотя бы и для спасения человечества, есть мерзость перед Господом». Подписи под этой редакционной вступительной заметкой не имеется. Можно предположить, что заметка была написана Гумилевым, так как другими участниками первого номера были художники (не литераторы). Скорее всего проект был написан Гумилевым и должно быть был кое в чем подправлен другими участниками. Впрочем, рука юного Гумилева в этой заметке чувствуется с определенностью, если не во многом, то, по крайней мере, в упоминании о «Новом Египте», где «времена сплелись в безумьи и пляске».

В конце журнала было приложено объявление о подписке, которое также помогает составить представлени о том, каким виделся этот журнал Гумилеву в ближайшем будущем: «Открыта подписка на три меесяца на литературно-художественный журнал «Сириус». Подписчики получат 6 нумеров размером от одного до двух печатных листов с репродукциями на отдельных листах. ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 3 месяца: в Париже 5 фр., в России и заграницей 3 рубля. Отдельные нумера в Париже 1 фр., в России 50 коп. Адрес редакции... Прием по делам редакции по пятницам от 1 ч. до 3 ч.» Во втором номере была напечатана прозаическая миниатюра Гумилева «Карты» (подпись – Анатолий Грант), стихотворение Ахматовой «На руке его много блестящих колец» (ее первое выступление в печати), стихи Александра Биска, продолжение повести Гумилева «Гибели обреченные». В третьем номере было напечатано стихотворение Гумилева «Неоромантическая сказка», его же очерк «Вверх по Нилу» и продолжение повести «Гибели обреченные», оставшейся неоконченной.

На обложке и на титульном листе первого номера «Сириуса» нет ни числа, ни месяца – только год: 1907. Датировать этот выпуск помогают письма Гумилева Брюсову. В письме от 8 января 1907 г. сообщается: «Теперь приступаю к самому главному. Несколько русских художников, живущих в Париже, затеяли издавать журнал художественный и литературный. Так как среди них пишу я один, то они уговорили меня взять заведывание литературной частью с титулом редактора-издателя. Его направление будет новое, и политика тщательно изгоняема. Он будет выходить еженедельно размером в один или два печатных листа. Его небольшой размер почти дает мне возможность надеяться избежать ошибок и неловкостей, которые могут произойти от моей неопытности. Теперь, Валерий Яковлевич, если бы Вы могли дать нам что-нибудь свое – стихотворение, рассказ или статью, – Вы еще раз доказали бы свою бесконечную доброту ко мне. К несчастью, дело настолько молодое, что мы ничего не можем сказать о гонораре. Мы, его устроители, работаем соврешенно бесплатно» (Н.С. Гумилев. «Неизданное», 1980, стр. 9). Словом, журнал был задуман, очевидно, в конце 1906 г. Первоначальный план состоял в издании не двухнедельника, а еженедельника. Стро-

ки эти также подтверждают предположение, что заметка «От редакции» была целиком или в основном написана именно Гумилевым.

Дополнительные сведения об издании «Сириуса» находим в письме Гумилева Брюсову от 24 марта 1907: «Теперь, я надеюсь, Вы уже получили «Сириус». Если же нет, то напишите об этом одно слово, я высылаю его в третий раз и начинаю ссору с почтой. Если будет время и желание, напишите несколько слов,как Вы нашли мою прозу. Вам я открою инкогнито: Анатолий Грант – это я. Что же мне было делать, если у нас совсем нет подходящих сотрудников. Приходится хитрить, и истина об Анат. Гранте – тайна даже для моих компаньонов. Я очень огорчен нашей художественной критикой, но увы, я не свободен. Меня с моими компаньонами связывают прежде всего денежные счеты». Таким образом, к марту был издан второй или третий номер «Сириуса», так как в этом письме упоминается псевдоним Гумилева, в первом номере не появлявшийся.

Как было сказано, дебют Ахматовой имел место именно в «Сириусе», однако сама Ахматова к издательской затее Гумилева отнеслась скорее иронически. Одно из ее писем к Сергею Владимировичу фон Штейну, мужу старшей сестры Ахматовой, датированное 13 марта 1907 г., также помогает уяснить хронологию, связанную с изданием «Сириуса». В этом письме речь идет о втором номере журнала. «Зачем Гумилев взялся за «Сириус»? – пишет Ахматова. – Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчастиев наш Микола перенес, и все понапрасну. Вы заметили, что сотрудники почти все так же известны и почтенны, как я? Я думаю, что нашло на Гумилева затмение от Господа». (А: Ахматова. «Стихи. Переписка. Воспоминания. Иконография», Анн Арбор, «Ардис». 1977).

О «Сириусе» находим также несколько слов в одном практически неизвестном мемуарном очерке Г. Иванова. Этот очерк, появившись много лет назад в ежедневной газете, никогда более не перепечатывался: «Молодые поэты издавали этот журнал вскладчину. Каждую неделю члены «Сириуса» собирались в кафе, чтобы читать друг другу вновь написанное. Редко кто приходил на такое собрание без материала – по большей части его бывал излишек. Особенно плодовит был один из членов кружка: он каждую неделю приносил не меньше двух новых рассказов и гору стихов. Считался он неудачником. критиковали его беспощадно. Он не унывал, приносил новое, снова его ругали. Звали этого упорного молодого человека – граф А.Н. Толстой. Молодые люди разъехались из Парижа – «Сириус» прекратился. Но память о нем осталась настолько приятная, что бывшие его сотрудники, завоевав себе имена и печатаемые охотно всюду, пытались восстановить «Сириус». Так был основан «Остров»... «Остров», бывший по составу сотрудников повторением «Сириуса» – скоро прекратился. Тогда Гумилеву, инициатору парижского журнала, пришла мысль не реставрировать его, а основать новый и по духу и по составу сотрудников, но такого же типа – только поэты хозяева, никаких издателей и гонораров, словом, вполне свое хозяйство» («Дни»,

№ 972, 1926). В цитируемом отрывке все факты безнадежно напутаны. Мы цитируем эти строки скорее как курьез, но также и для того, чтобы показать преемственность между «Сириусом» и последующими журналами – «Островом» и «Гипербореем». Именно кратковременный и в главном «приятный», как пишет Г. Иванов, опыт помог Гумилеву участвовать в дальнейшем основании эфемерного «Острова», а затем более стабильного «Гиперборея». Итак, важнейшим результатом «Сириуса» был именно «Гиперборей», первый номер которого вышел через шесть с половиной лет после закрытия «Сириуса».

8. Ахматова рассказывала Л. Чуковской: «У меня в молодости был трудный характер,я очень отстаивала свою внутреннюю независимость и была очень избалована. Но даже свекровь моя меня ставила потом в пример Анне Николевне (второй жене Гумилева – В.К.). Это был поспешный брак. Коля был очень уязвлен, когда я его оставила, и женился как-то наспех, нарочно, назло» (Л. Чуковская. «Записки об Анне Ахматовой», т. 1, YMCA-PRESS, 1976, стр. 120).

Со слов брата Ахматовой, Надежда Мандельштам рассказывала об этом браке во «Второй книге»: «В семье всегда считали этот брак обреченным на неудачу, и потому никто не пришел в церковь на венчание. Ахматова подтвердила, что так и было. Ее оскорбляло отношение семьи».

9. В своей автобиографии «Коротко о себе» Ахматова писала: «Первого октября 1912 года родился мой единственный сын Лев».

10. В 1912 г. Гумилев и Ахматова побывали в Генуе, Пизе, Флоренции, Болонье, Падуе, Венеции. В письме Брюсову Гумилев писал, что «проехал почти всю Италию». Письмо это датировано 20-ым мая 1912 г.

11.Об обстоятельствах отъезда см. в воспоминаниях Г. Иванова.

12. Валериан Адольфович Чудовский – критик, печатался в «Аполлоне», был членом Общества ревнителей художественного слова, работал хранителем в Императорской публичной библиотеке.

13. Ахматова и Гумилев развелись в августе 1918 г., в том же месяце Ахматова вышла замуж за В.К. Шилейко.

14. О том, что среди лекторов словесного отделения Института истории искусств был и Гумилев, находим подтверждение в воспоминаниях основателя института В. Зубова.

Относительно Института живого слова писала Ирина Одоевцева: «Гумилев в последние дни своей жизни никак не мог ездить ежедневно в Царское Село... Лекции в «Живом Слове» он вообще прекратил читать в конце 20-го года за полным отсутствием слушателей. Но и в 1919 году, хотя небольшая группа «живословцев» выехала в Царское Село на летний отдых, он там никаких лекций не читал. Все же в то лето 19-го года он постоянно ездил в Царское...» (И. Одоевцева, рец. на «Собр. соч.» Гумилева – «Новый журнал», № 84, 1966, стр. 286).

15. В той же рецензии Одоевцева писала, что Гумилеву «удалось перевезти свою библиотеку в Петербург на Преображенскую улицу, № 5, где он тогда жил».

16. Об этом эпизоде рассказано в воспоминаниях Леонида Страховского, включенных в настоящее издание.

17. И. Одоевцева писала по поводу воспоминаний Анны Гумилевой: «Дочь Гумилева родилась не в 1920 году... а весной 1919 года. Я увидела ее впервые летом 19 года – ей тогда, по словам отца, было три месяца».

В заключение этого комментария приводим письмо читателя «Последних новостей», рассказывающее о судьбе брата Гумилева и его жены (автора данных воспоминаний) непосредственно после гибели поэта. Это письмо было напечатано в «ПН» (Париж), № 457, 12 октября 1921:

ПАМЯТИ Н. ГУМИЛЕВА (Письмо в редакцию)

Милостивый Государь, г. Редактор,

Потрясенный известием о гибели талантливого поэта, Николая Степановича Гумилева, я одновременно узнал о трагическом положении, в котором находятся самые близкие ему люди, – родной брат его Дмитрий Степанович Гумилев, со своей женой Анной Андреевной.

Дмитрий Гумилев, после всех пережитых ужасов и лишений, душевно заболел и помещен в лечебницу (г.Рига, 22 Дуденгофская ул., лечебница Ротенберга). Жена его, без всяких средств и работы, измученная и больная, бедствует и не может продолжать платить за мужа в лечебницу.

Зная, как покойный поэт нежно относился к единственному брату и его жене, я полагаю, что наша обязанность и лучший способ почтить его память, это – немедленно помочь его близким людям. Не откажите дать место на страницах Вашей уважаемой газеты настоящему моему письму и открыть подписку в пользу названных лиц.

Собранное мне казалось бы целесообразным, по мере поступления, ибо помощь срочная, посылать Анне Андреевне Гумилевой, г. Рига, 46 Мариинская ул., кв. 8. Прилагаю свою посильную скудную лепту – 20 франков.

М.Гриневич

Иоганнес фон Гюнтер. ПОД ВОСТОЧНЫМ ВЕТРОМ

Печатаются отрывки из книги Гюнтера «Под восточным ветром» (Ein Leben im Ostwind. Zwischen Petersburg und München).

Около двадцати страниц из этой книги в переводе Т. Петровской было опубликовано в альманахе «Мосты», № 15, 1970, стр. 329-348. Здесь воспроизводятся отдельные страницы из этой публикации – все, что имеет непосредственное отношение к Гумилеву.

Иоганнес фон Гюнтер – немецкий поэт, прозаик, драматург, переводчик. Много переводил на немецкий язык русских авторов. В первый

свой приезд в Россию в 1906 г. познакомился с Блоком. Во второй приезд в апреле 1908 г. его круг знакомств среди петербургских писателей значительно расширился, чему особенно способствовали его визиты к Вячеславу Иванову, в квартире которого по средам собирался «весь» литературно-художественный Петербург. В третий раз он приезжает в Россию осенью 1909 г. – знакомится с Гумилевым, становится сотрудником «Аполлона». В объявлениях «Аполлона» его имя упоминается непосредственно после Гумилева в качестве сотрудника отдела «вопросов литературы и литературной критики». В декабрьском номере «Аполлона» за 1909 г. была опубликована драма Гюнтера «Маг» в переводе Петра Потемкина. Петербург и его литературная среда произвели на Гюнтера такое глубокое впечатление, что он до преклонного возраста «только и жил», по словам Дм. Кленовского, своими «воспоминаниями о России». В апреле 1964 г. Кленовский писал Страннику (Иоанну Сан-Францискому): «Был у меня недавно интересный посетитель, приехавший лично познакомиться со мной Johannes von Guenther... Интересно было с ним поговорить: он ведь в свое время вращался в самой гуще так наз. Серебряного Века, дружил с Блоком, Гумилевым, Кузминым. Он и сейчас только и живет и дышит что русской литературой и воспоминаниями о России. Патриот, каких мало: несмотря на свое немецкое происхождение, отказывается от немецкого подданства...» (Странник, «Переписка с Кленовским», стр. 140).

1. Гофман Виктор Викторович (1884-1911) – поэт, автор двух поэтических сборников – «Книга вступлений» (1904) и «Искус» (1910). Сотрудничал в «Весах». Гумилев написал о нем некролог, напечатанный в «Аполлоне», № 7, 1911 – «Свободный и певучий стих, страстное любование красотой жизни и мечты, смелость приемов и пышное разнообразие образов, им впервые намеченных и впоследствии вошедших в поэзию – вот отличительные черты этой книги» (т.е. «Книги вступлений» – В.К.). «Во второй книге эти достоинства сменяются более веским и упругим стихом, большей сосредоточенностью и отчетливостью мысли».

2. Имеется и другая версия происхождения этого названия, т.е. «молодая редакция «Аполлона». Придумано оно было секретарем редакции Е.Зноско-Боровским как будто по образцу известной в истории литературы и журналистики «молодой редакции «Москвитянина».

3. Этого стихотворения нет в наиболее полном на сей день собрании стихотворений Анненского, подготовленном к печати А.В. Федоровым (Л., 1959, Большая серия Библиотеки поэта).

4. Статья М. Кузмина «О прекрасной ясности» была напечатана как самый важный материал номера на открытии январского выпуска (1910) «Аполлона».

5. Именно так в тексте.

6. Кроме Гюнтера об этой истории писали в своих воспоминаниях С. Маковский, М. Волошин, А. Толстой, а также Е. Дмитриева, печатавшаяся под псевдонимом Черубина де Габриак.

7. С. Маковский в книге «На парнасе серебряного века» пишет, что

встретил Гумилева и Ахматову в Париже во время их свадебного путешествия: «Затем мы вместе возвращались в Петербург».

8. Здесь хронологическая путаница. «Бродячая собака» открылась 31 декабря 1911 г. Гумилев женился на Ахматовой 25 апреля 1910 г. Словом, Гюнтер не мог увидеть Ахматову через полгода после венчания в несуществовавшей еще «Бродячей собаке».

Георгий Адамович. ВЕЧЕР У АННЕНСКОГО.

Печатается по журналу «Числа», книга 4, 1930-1931, стр. 214-216 (за подписью Г.А.). В журнальной публикации имелся подзаголовок: «Отрывок».

Адамович Георгий Викторович (1894-1972) – поэт, критик.

Визит к Анненскому Адамовичем не датирован. Впрочем, датировка не представляется трудной. Этот вечер у Анненского мог иметь место только в октябре или в ноябре 1909 г. Об отношениях Гумилева и Анненского Адамович рассказал также в письме к Уильяму Тьялзме от 18 авг. 1971 г., опубликованном в кн.: В. А. Комаровский, «Стихотворения и проза» под ред. Ю. Иваска. «В августе 1921 года, – пишет Адамович, – я в последний раз видел Гумилева дней за десять до его расстрела. (Здесь, конечно, явная хронологическая путаница, так как Гумилев был арестован в ночь на третье августа и до самого расстрела, около трех недель, его держали в тюрьме – В.К.). ...В то время я очень увлекался Анненским... Гумилев заговорил об Анненском и сказал, что изменил свое мнение о нем. Это поэт будто бы «раздутый» и незначительный, а главное – «неврастеник». Единственно подлинно великий поэт среди символистов – Комаровский. Теперь, наконец, он это понял и хочет написать о К. большую статью... Хорошо помню, с каким преклонением он о нем говорил, ставил выше всех его современников, подчеркивая мужественный достойный характер его поэзии. Гумилеву случалось изменять свои суждения. Вполне возможно, что проживи он дольше, к Анненскому он вернулся бы. Но в последние дни жизни он его отверг и противопоставил ему именно Комаровского».

Эти воспоминания об охлаждении Гумилева к поэзии Анненского находят подтверждение и в стихотворении Георгия Иванова, опубликованном в «Новом журнале» в 1954, а в 1958 вошедшем в книгу Иванова «1943-1958 Стихи»:

Я люблю безнадежный покой,
В октябре – хризантемы в цвету,
Огоньки за туманной рекой,
Догоревшей зари нищету...
Тишину безымянных могил,
Все банальности «Песен без слов»,
То, что Анненский жадно любил,
То, чего не терпел Гумилев.

В тринадцатой главе своих «Петербургских зим» (второе издание – Нью-Йорк, 1952) Г. Иванов рассказывает о ночной поездке группы поэтов в Царское Село и последующей (той же зимней ночью в 1914 г.) встрече с Василием Комаровским. Инициатором этой поездки был Гумилев. «После какого-то литературного обеда, где было порядочно выпито, поехали куда-то еще – «пить кофе». Потом еще куда-то. В первом часу ночи оказались на Царскосельском вокзале. От «кофе», выпитого и здесь и там, головы кружились.

– Поедем в Царское... Смотреть на скамейку, где любил сидеть Иннокентий Анненский.

– Едем, едем...

Гумилев с Ахматовой (им что – царскоселы) впереди – указывают дорогу. Мандельштам на моих с Городецким коленях замерзает, стал тяжелый, как мешок, и молчит. За нами на третьем извозчике еще два «акмеиста», стараются не отстать...

У каких-то чугунных ворот останавливаемся. Бредем куда-то по колено в снегу... Гумилев оборачивается. Пришли! Это и есть любимое место Анненского. Вот и скамья. Снег, деревья, скамья. И на скамье горбатой тенью сидит человек. И негромким, монотонным голосом читает стихи. Человек ночью, в глухом углу Царскосельского парка, на засыпанной снегом скамье глядит на звезды и читает стихи. Ночью, стихи, на «той самой» скамье. На минуту становится жутко, – а ну, как... Но нет, это не призрак Анненского. Сидящий оборачивается на наши шаги. Гумилев подходит к нему, всматривается... Василий Иванович, – вы? Я не узнал было. Господа, позвольте вас познакомить. Это – цех поэтов: Городецкий, Мандельштам, Георгий Иванов. – Человек грузно подымается и пожимает нам руки. И рекомендуется:

– Комаровский.

Сергей Маковский, впрочем, утверждал, что страницы о Комаровском у Г. Иванова – сплошная выдумка. Однако известный журналист Петр Пильский в рецензии на «Петербургские зимы» (газета «Сегодня», Рига, 9 авг. 1928 – П. Пильский, «Петербург перед кончиной») подтверждает достоверность этих воспоминаний о поездке Гумилева с группой поэтов в Царское Село и о встрече их с Комаровским: «Конечно, я хорошо знал и Сергея Городецкого и Н.С. Гумилева. Теперь Г. Иванов рассказывает, как они неожиданно ночью отправились в Царское Село взглянуть «на скамейку, где любил сидеть поэт Иннокентий Анненский». На ней уже произошло несколько случаев самоубийства. На этой засыпанной снегом скамье и в ту ночь сидел человек – сидел и бормотал стихи. Это был Комаровский...».

У Комаровского к одному из его стихотворений, в его единственном сборнике «Первая пристань», предпослан эпиграф из Гумилева – из его «Фра Беато Анжелико» (вошло в «Колчан», но ранее публиковалось в «Гиперборее»).

Возвращаясь к отношениям Гумилева и Анненского, следует отметить, это и Анненский в конце своей жизни не вполне принимал поэзию Гу-

милева, о чем свидетельствует его пронизанный тонкой иронией, упрятанной за похвалами, отзыв в «Аполлоне»: «Николай Гумилев кажется чувствует краски более, чем очертания, и сильнее любит изящное, чем музыкально-прекрасное... Интересно написанное им недавно стихотворение «Лесной пожар» («Остров», № 1, стр. 8 сл.). Что – это жизнь или мираж? Лиризм Н. Гумилева – экзотическая тоска по красочно-причудливым вырезам далекого юга. Он любит все изысканное и странное, но верный вкус делает его строгим в подборе декораций» («О современном лиризме»). В устах Анненского слова о том, что кто-то «изящное» предпочитает «музыкально-прекрасному» – менее всего похвала, сколь бы беспристрастно это утверждение ни преподносилось читателю. Отношения двух поэтов сложны, и воспоминания Адамовича, в частности, ценны в том плане, что они, при внимательном прочтении, давно могли бы покончить с легендой о безоговорочном приятии Гумилевым поэзии Анненского. В критике по этому вопросу всегда существовали острые расхождения. В стихах Гумилева, – писал в 1916 г. криктик И. Оксенов, – «нет ни России, ни античности – ибо поэт блестяще поверхностен, и совсем не по плечу ему Инн. Анненский, учеником которого он себя считает» («Новый журнал для всех», № 2-3, 1916, стр. 74). Кривич, сын Анненского, еще в 1909 г., намекает, что Гумилев-прозаик в своей «Скрипке Страдивариуса» подражает «Фамире Кифарэду» Анненского («Аполлон» № 1, 1909, стр. 25). Более определенно о том же писал уже после смерти Гумилева знавший его лично Юрий Верховский: «Характерна литературная модернизация мифа, идущая от Анненского». И далее он говорит о сходстве пьесы Гумилева «Актеон» с сюжетом «Фамиры Кифарэда». «Но в «Фамире», – писал Верховский, – развернута глубокая трагедия, в «Актеоне» на нее нет и эскизного намека» («Путь поэта. О поэзии Н. С. Гумилева» – «Современная литература», изд. «Мысль», Л., 1925, стр. 111). Однако память об Анненском. насколько можно судить по многим источникам, для Гумилева долгое время была священной. В мемуарах Александра Кондратьева упоминается, что рабочий кабинет Гумилева был заставлен книгами, среди которых было много французских журналов, ранее принадлежащих Анненскому. Ученик Анненского, Кондратьев часто навещал своего учителя в Царском Селе и хорошо знал его библиотеку. Словом, в данном случае не приходится заподозрить сообщение Кондратьева в неточности.

В «Вечере у Анненского» Адамович, по всей видимости, говорит о своей первой встрече с Гумилевым. Знакомство возобновилось в 1912 г. Встречи с Гумилевым участились, когда Адамович был принят в «Цех поэтов», собиравшийся в сезон 1912-1913 г. по два-три раза в месяц. Но в это время достоинство поэзии Анненского не вызывает у Гумилева никакого сомнения. Летом 1911 г. Гумилев написал несколько стихотворений, в которых явно выступает влияние Анненского. В том же году в «Аполлоне» было напечатано стихотворение Гумилева «Памяти Иннокентия Федоровича Анненского». Позднее, готовя к печати книгу «Кол-

чан», Гумилев поставил это стихотворение первым в сборнике. В 1912 г. он писал С. Маковскому в ответ на приглашение заведовать литературным отделом «Аполлона»: «Да поможет мне в этом деле одинаково дорогое для нас с Вами воспоминание о Иннокентии Анненском!» Отношение к Анненскому у Гумилева претерпело изменение где-то после 1916 г. и, вероятнее всего, после 1919 г., когда заботами Гумилева был переиздан «Фамира Кифарэд» – издание почти роскошное, особенно же в эпоху военного коммунизма.

Одно из самых интересных сообщений в настоящих воспоминаниях Адамовича – рассказ о чтении Анненским своей «Баллады». Адамович не упоминает названия этого стихотворения, ни того, что оно посвящено Гумилеву. Из «Баллады» он цитирует полторы строки и говорит, что Анненский «только что прочел свои новые стихи». Стихи не были совсем новыми, так как «Баллада» написана 31 мая 1909 г., месяцев за пять до этого «вечера у Анненского». В сохранившемся в ЦГАЛИ автографе посвящение Гумилеву отсутствует. Но оно есть в «Кипарисовом ларце», вышедшем через четыре-пять месяцев после смерти Анненского. Его сын, В. Кривич, издавая «Кипарисовый ларец», следовал указаниям отца. Посвящение Гумилеву, отсутствующее в автографе от 31 мая, было добавлено позднее – скорее всего в память о том разговоре, который описывает Адамович. На вопрос Гумилева «к кому обращены ваши стихи» Анненский отвечает: «Я никогда об этом не думал». Гумилев навел его на очень существенную мысль, и в память об этом разговоре Анненский поздней оченью 1909 г., за несколько недель до смерти, посвятил свою «Балладу» Гумилеву. Напрашивается именно такая реконструкция, если воспоминания Адамовича достоверны. И если они таковы, то мы, наконец, получаем объяснение, почему пожилой маститый поэт посвящает свое траурное, поистине похоронное стихотворение юному, переполненному «конквистадорскими» планами Гумилеву, бывшему на тридцать лет моложе «последнего царскосельского лебедя». В биографиях и одного и другого нет решительно ничего, что указывало бы на другую причину посвящения, чем тот разговор, свидетелем которого оказался Адамович. Добавим еще, что Гумилева не было ни в Царском Селе, ни в Петербурге, когда писалась «Баллада». Он уехал 25 мая вместе с поэтессой Е. Дмитриевой (будущей Черубиной де Габриак) сначала на два дня в Москву, затем в Коктебель к Волошину.

Все же остается вопрос, почему Адамович не упоминает, что «Баллада» посвящена Гумилеву? Забыть он не мог. В своей книге «Облака» к одному из стихотворений он взял в качестве эпиграфа именно ту строку из «Баллады», которую цитирует в своем очерке: «День был ранний и молочно-парный».

Была и еще одна причина, исключающая забывчивость. Не кто иной, как Гумилев писал в «Аполлоне» об «Облаках», о зависимости Адамовича от Анненского, и в частности, об этом эпиграфе: Адамовичу «для одного стихотворения пришлось даже взять эпиграф из

«Баллады» Иннокентия Анненского – настолько они совпадают по образам».

Максимилиан Волошин. ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕРУБИНЕ ДЕ ГАБРИАК

Здесь печатается только отрывок, имеющий отношение к дуэли Гумилева и Волошина в ноябре 1909 г. Эти воспоминания давно стали известны читателям самиздата. В 1983 г. они были опубликованы А.Н. Тюриным в «Новом журнале», № 151, стр. 188-208. Через короткое время, независимо от публикации Тюрина, отрывок из этих воспоминаний напечатан был в Wiener Slawistischer Almanach, том 15, стр. 104 и 105.

Волошин Максимилиан Александрович (1877-1932) – поэт, переводчик, критик, искусствовед, художник. Точных сведений о дате знакомства Гумилева с Волошиным, кажется, не сохранилось. Впервые они могли встретиться в Париже во второй половине 1906 г. или в 1907 г. Оба бывали в салоне художницы Кругликовой, у которой по четвергам собиралось большое русское общество. В начале 1908 г., если Гумилев и не встречался в это время с Волошиным лично, все же слышал о нем от Алексея Толстого, который в тот период жил в Париже, встречался с Волошиным и смотрел на него как на литературного мэтра. Несколько встреч Гумилева и Волошина имели место в Петербурге в период с мая 1908 г. по май 1909 г. Волошин напечатал свои стихи в созданном по инициативе Гумилева журнале «Остров» (№ 1). Июнь, и возможно, часть июля 1909 г. Гумилев проводит у Волошина в Коктебеле. Встречи возобновились осенью 1909 г. – в «Аполлоне» и в Академии стиха при редакции этого журнала. В конце ноября 1909 г. произошла дуэль между Гумилевым и Волошиным. По словам Волошина, с тех пор они не встречались до июня 1921 г., когда Гумилев в поезде командующего морскими силами приезжал в Крым. По словам же С. Маковского, два поэта продолжали встречаться в Академии стиха, но делали вид, что друг друга не замечают. В критических выступлениях Гумилева имя Волошина упоминается дважды. В рецензиии на «Антологию» издательства «Мусагет» (1911) о стихах Волошина говорится без всякой оценки. Читателю этой рецензии видно лишь, что рецензент заметил стихи Волошина, но абсолютно никак не отметил. В 1916 г. в «Аполлоне», № 1 была напечатана рецензия Гумилева на книгу М. Лозинского «Горный ключ». В ней Лозинский сравнивается с Волошиным в том отношении, что оба следуют принципу символизма, который побуждает поэта говорить таинственно о таинственном – «в неведомых доселе сочетаниях слов».

1. В своей «Исповеди» Е. Дмитриева (Черубина де Габриак) писала о поездке вместе с Гумилевым в Коктебель в конце мая 1909 г.: «Все путешествие туда я помню как дымно-розовый закат, и мы вместе у окна вагона. Я звала его «Гумми», не любила имени Николай, а он меня как зовут дома – Лиля, «имя, похожее на серебристый колокольчик», как

говорил он. В Коктебеле все изменилось. Здесь началось то, в чем больше всего виновата я перед Н.С.» (Гумилев, «Неизданное и несобранное», стр. 170-171).

2. Дмитриева вышла замуж за врача В.Н. Васильева. В словаре Козьмина «Писатели современной эпохи» статья о ней под фамилией Васильева (урожд. Дмитриева).

3. Борис Алексеевич Леман – известный петербургский антропософ, также критик и поэт; печатался под псевдонимом Борис Дикс.

4. Описание дуэли, оставленное А. Толстым, во многом расходится с описанием Волошина. См. в настоящем издании мемуарный очерк А.Толстого «Н.Гумилев». Волошин перепутал год, когда состоялась дуэль. В своих воспоминаниях он пишет: «За год до этого, в 1909 г., летом, будучи в Коктебеле...» Речь идет о времени разоблачения псевдонима Черубина де Габриак и последовавшей дуэли. Волошин, работая над этими воспоминаниями (дата их написания не установлена), думал, что дуэль произошла в 1910 г. В «Гумилевских чтениях» дан неверный комментарий относительно присутствия И.Ф. Анненского в мастерской Головина, где Гумилев вызвал Волошина на дуэль. «И.Ф. Анненский умер 30 ноября 1909 г., – пишет комментатор, – и поэтому никак не мог находиться весной 1910 г. в Мариинском театре. Возможно, Волошин вспомнил ранее произнесенные или написанные им по какому-то другому поводу слова». На самом деле, эта встреча в Мариинском театре произошла в начале двадцатых чисел ноября 1909 г. Комментатор же в своей хронологии следовал ошибочной дате, сообщаемой Волошиным в его «Воспоминаниях о Черубине де Габриак».

Андрей Белый. БАШЕННЫЙ ЖИТЕЛЬ

Печатается по книге А. Белого «Начало века», М.-Л., 1933, стр. 321, 322, 323, 324. Название главы, из которой взяты настоящие отрывки, – «Башенный житель».

«Проакадемия», которая возникла по инициативе Гумилева на «башне» Вячеслава Иванова, собиралась регулярно весной 1909 г. Эти собрания, наконец, решено было перенести в редакцию только что основанного журнала «Аполлон». Теперь этот кружок получил название «Общество ревнителей художественного слова». В обиходе же его называли Академией стиха. С открытием этой поэтической Академии в начале октября 1909 г. стиль жизни на «башне» мало переменился, хотя одной из целей Вячеслава Иванова было разгрузить квартиру от наплыва многочисленных гостей. Заседания в «Аполлоне» на Мойке продолжались параллельно с «радениями» в квартире Иванова на Таврической улице, 25, т.е. на «башне».

В данном отрывке Белый говорит о пяти неделях кряду, проведенных у «Вячеслава Великолепного» в 1909-1910 гг. Если хронология Белого верна, то речь может идти только о декабре 1909 и январе 1910 г.

Но Гумилев уехал из Петербурга в самом конце ноября, через неделю после дуэли с Волошиным. К этому времени знаменитые «среды» Иванова превратились уже в «четверги». Но Гумилева Белый здесь мог застать не только в «день открытых дверей» – по четвергам. Гумилев, по словам Белого, считался на башне своим и оставался иногда ночевать, когда было поздно возвращаться домой в Царское Село. В деталях башенного быта в воспоминаниях Белого существенных добавлений к биографии Гумилева, увы, не много. Иное дело – описанные им отношения с Вяч.Ивановым. Уже тогда они не прямые и не легкие. В период работы «Проакадемии» отношения были определеннее: с одной стороны – учитель, с другой – ученик; вещающий мэтр и внимающий последователь. К началу 1910 г. ситуация меняется. Внешний респект остается, но ученика уже нет. Гумилев сам определяет литературную линию нового журнала. Однако Иванов, в силу иных – внежурнальных заслуг занимает в аполлоновской иерархии место олимпийца. Место Гумилева, вполне понятное для сотрудников журнала, в первом номере «Аполлона» формально никак не определяется. В объявлении, приложенном к первому номеру, сотрудниками литературного отдела названы Анненский, Брюсов, Волошин, Волынский, Зелинский, даже Гюнтер и Л.Гуревич и, конечно, Иванов, но фамилии Гумилева среди них нет. Его имя вообще не фигурирует в списке с о т р у д н и к о в журнала. Упоминается оно лишь в связи с «литературным альманахом», т.е. в числе у ч а с т н и к о в. На основании воспоминаний редактора «Аполлона» С. Маковского напрашивается вывод, что невключение Гумилева в перечень сотрудников явилось результатом настойчивости Иванова. Но уже во втором номере журнала Маковский проявил независимость: теперь имя Гумилева было указано в числе сотрудников литературного отдела.

Примечательно, что в первом – программном – номере «Аполлона», утверждавшем ясное аполлонийское начало над дионисийским символизмом, была помещена статья Иванова, утверждавшего роль художника как «ремесленника Дионисова». Таков был авторитет «таврического мудреца», и в этой его позиции уже тогда намечен и будущий раскол, и споры о символизме, и бунт Гумилева против Иванова в 1911 г.

В конце 1909 – начале 1910 г. будущая полемика проявляется еще лишь в частных разговорах, и в воспоминаниях Белого мы видим лучшее описание эмбриональной стадии этой полемики, принявшей вскоре довольно широкий характер, с подключением к ней даже такого крупного журнала, каким была «Русская мысль».

Наибольшее недоумение вызывает в этих страницах воспоминаний Белого хронология. 29 ноября 1909 г. Гумилев уже в Киеве (возможно, 30-го). 1 декабря он прибыл в Одессу. Оттуда он едет в Варну. Пятого января он пишет из абиссинского порта Джибути Вячеславу Иванову: «Здесь уже настоящая Африка. Жара, голые негры, ручные обезьяны». Так далеко на юг он еще не забирался. Из Джибути он поехал по единственной в стране железной дороге в город Дире Дау. Это была конечная станция. Дальше на юг можно было проехать по вполне сносной

по эфиопским стандартам караванной дороге. Британская энциклопедия 1910 г. упоминает эту дорогу длиною «около тридцати миль» как едва ли не лучшую в стране. Об этом путешествии, занявшем целый день, Гумилев писал Кузьмину: «Дорогой Миша, пишу уже из Харрара. Вчера сделал двенадцать часов (семьдесят километров) на муле». Харрар, крупнейший в ту пору город Абиссинии, ничем в особенности его не впечатлил: «здесь только один отель, и цены, конечно, страшные». Из Харрара он собирается отъехать на расстояние приблизительно пятидесяти миль и там попытать свое охотничье счастье.

В Царское Село Гумилев вернулся в феврале. По возвращении его ждали тяжелые новости. Его отец был болен, фактически при смерти. Итак, в свете всех этих хронологических подробностей, неизвестно, каким образом Белый сумел встречаться и беседовать с Гумилевым в конце 1909 – начале 1910 г. Но и при этих неувязах не возникает сомнений, что Белый встречался с Гумилевым на «башне» и вступал с ним в споры. По видимому, это было уже в ту пору, когда открылся «Аполлон» и уже начала свою деятельность Академия стиха.

Вера Неведомская. ВОСПОМИНАНИЯ О ГУМИЛЕВЕ И АХМАТОВОЙ

Опубликовано в «Новом журнале» № 38, 1954, стр. 182-190.

1. Знакомство Неведомской с Гумилевым и Ахматовой произошло вскоре после их свадебного путешествия в Париж. Во Франции они оставались около месяца. Ахматова вспоминала о своих парижских впечатлениях 1910-го года: «Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию».

(«Коротко о себе», в кн.: «Тайны ремесла», М., «Сов.Россия», 1986). В той же короткой автобиографии находим описание окрестностей Слепнева: «Это не живописное место: распаханные ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, «воротца», хлеба, хлеба...»

2. В рассказе о «цирковых представлениях» находим разгадку – почему свое стихотворение «Бродячие актеры» Георгий Иванов посвятил именно Гумилеву. Стихотворение первоначально было опубликовано в «Гиперборее», 2, 1912, стр. 13-14 и затем вошло в сборник «Горница», изданный «Гипербореем» в 1914 г.

Бродячие актеры

Н. Гумилеву

Снова солнечное пламя
Льется знойным янтарем.
Нагруженные узлами
Снова мы подошвы трем.

Придорожная таверна
Уж далеко за спиной.
Небо медленно, но верно
Увеличивает зной.

Ах, бессилен каждый мускул.
В горле – словно острия.
Потемнела, как зулуска,
Берта, спутница моя.

Но теперь уже недолго
Жариться в огне небес:
Встречный ветер пахнет елкой,
Недалеко виден лес.

Вот пришли. – Скорее падай,
Узел мой, с усталых плеч.
Осененному прохладой
Сладко путнику прилечь.

Распаковывает Берта
Тюк с едою и вином.
Край лилового конверта
Я целую за стволом.

Имеется также воспоминание о «цирковом представлении» Ахматовой на «башне» Вяч. Иванова в 1911 г. Дочь Иванова вспоминает: «Один раз на ковре посреди собравшихся Анна Ахматова показывала свою гибкость: перегнувшись назад, она, стоя, зубами должна была схватить спичку...» (Л. Иванова. «Воспоминания о Вячеславе Иванове» – «Новый журнал», № 147, 1982, стр. 153-154).

3. Ср. с «Биографическим очерком» Павла Лукницкого в книге М.Баскера и Ш. Греем: Николай Гумилев. «Неизданное и несобранное». Лукницкий утверждает, что лето 1911 г. Гумилев провел в усадьбе Слепнево.

4. Артистический кабачок «Бродячая собака» был открыт под новый 1912-ый год. Соответственно воспоминания в данном абзаце относятся, должно быть, к 1913 или 1914 г.

5. О том, что Гумилев чувствовал себя одиноко в современной ему литературной среде, находим указания в воспоминаниях Оцупа и Г. Иванова. Но о близости к Блоку решительно не существует сколько-нибудь достоверных свидетельств.

6. Тема перевоплощения, переселения душ, метампсихоза, чрезвычайно настойчивая в русской поэзии, остается вполне неизученной. Ее слегка лишь коснулся поэт Дмитрий Кленовски в своей статье в журнале «Грани», № 20. У Гумилева интерес к проблеме перевоплощения

оформился, очевидно, на основании ряда глубоко интимных переживаний в Париже в 1906-1907 гг. под влиянием чтения французских оккультистов. Как пример других стихотворений Гумилева, в которых речь идет о перевоплощении, назовем «Прапамять» и «Унижение».

Бенедикт Лившиц. ПОЛУТОРАГЛАЗЫЙ СТРЕЛЕЦ

Книга воспоминаний «Полутораглазый стрелец» вышла в свет в 1933 г. в «Издательстве писателей в Ленинграде». В настоящем издании приводятся отрывки, в которых говорится о Гумилеве и его окружении (стр. 260, 264, 269, 270 и 277 первого издания).

Бенедикт Константинович Лившиц (1886-1939) поэт-футурист и переводчик. Родился в Одессе. По окончании Одесской Ришельевской гимназии учился на юридическом факультете в Новороссийском университете. Закончил в 1912 г. Киевский университет. Жил в Петербурге, сотрудничал в «Аполлоне», сблизился с футуристами «Гилеи». Участвовал в изданиях футуристов «Пощечина общественному вкусу», «Дохлая луна», «Рыкающий Парнас», «Молоко кобылиц», «Союз молодежи», «Садок судей» и др. Его ранние стихи (1907-1910) составили книгу «Флейта Марсия». Гумилев писал, что эта книга «ставит себе серьезные и, что важнее всего, чисто литературные задачи и справляется с ними, если не всегда умело, то вдохновенно. Темы ее часто нехудожественны, надуманы: грешная любовь каких-то девушек к Христу (есть вещи, к которым, хотя бы из эстетических соображений, надо относиться благоговейно), рассудочное прославление бесплодия и т.д. Такое незаражение поэта своими темами отражается на однотонно-ярких, словно при электрическом свете найденных эпитетах. Но зато гибкий, сухой, уверенный стих, глубокие и меткие метафоры, уменье дать почувствовать в каждом стихотворении действительное переживание – все это ставит книгу в разряд истинно ценных и делает ее не только обещанием, но и достижением».

В рецензии на «Садок Судей II», напечатанной в «Гиперборее» (февраль 1913), Гумилев посвящает Лившицу лишь одно предложение: «Дешевая красивость Б. Лившица иногда неприятна». Еще одно упоминание имени Б. Лившица находим в рецензии Гумилева на «Антологию современной поэзии», составленную Ф.М. Самоненко (Киев, 1912). Рецензия была опубликована в «Аполлоне» № 2, 1913 и воспроизведена в т. 4 Собр. соч. В этом отзыве на «Антологию» Гумилев ставит Лившица рядом с именем О. Мандельштама: «Как можно было помещать г. Животова, если не нашлось места для Георгия Чулкова, Зенкевича, Мандельштама, Лившица!»

Повсюду, где встречается в «Полутораглазом стерльце» имя Гумилева, о нем говорится холодно и, пожалуй, с антипатией. В 1914 г. Лившиц был призван в армию, получил ранение, жил в Киеве и вновь поселился в Петрограде лишь в 1922 г. С большой вероятностью можно предположить, что более поздних встреч, чем те, что описаны в «Полутора-

глазом стрельце», у Лившица с Гумилевым не было. Помимо «Флейты Марсия», которую рецензировал Гумилев, вышли еще книги Лившица: «Волчье солнце. Стихи 1911-1914»; «Из топи блат. Стихи 1914-1918»; «Патмос», М., 1926; «Кротонский полдень», М., 1928. Позднее появилось две книги его переводов: в 1934 г. – «От романтиков до сюрреалистов» и в 1937 г. – «Французские лирики» XIX и XX веков». В конце тридцатых годов Б.Лившиц был репрессирован, был подвергнут жестоким пыткам. Точная дата смерти не известна; он погиб – предположительно – в 1939 г., оставив не только оргинальные стихи, но и первоклассные переводы и одну из наиболее ценных мемуарных книг о русских поэтах начала двадцатого века.

1. Б. Пронин – хозяин «Бродячей собаки», открывшейся под новый 1912-ый год. О «Бродячей собаке» писали многие: Г. Иванов в «Петербургских зимах» и в нескольких мемуарных очерках, не вошедших в «Петербургские зимы»; Ахматова – в своих стихах; В. Шкловский в «Жили-были»; Одоевцева в «На берегах Невы» и другие.

Позднее Пронин открыл «Привал комедиантов», который занял на петербургской сцене место отжившей свое «Бродячей собаки». В «Привале» Гумилев бывал неоднократно. Здесь в форме вольноопределяющегося, по воспоминаниям мемуариста, читал он свои стихи. Его стихотворение «Разговор», посвященное Г. Иванову, читается с более точным пониманием, если знать, что этот «разговор» между душой и телом происходит в Пронинском «Привале комедиантов».

2. Палладе посвящена последняя строфа в гимне «Бродячей собаки» (автор – М.Кузмин):

А!..
Не забыта и Паллада
В титулованном кругу,
Словно древняя дриада,
Что резвится на лугу,
Ей любовь одна отрада,
И, где надо и не надо,
Не ответит (3 раза) «не могу!»

О ней же писал в очерке «Прекрасный принц» Г. Иванов («Сегодня», № 99, 1933).

Георгий Адамович.
МОИ ВСТРЕЧИ С АННОЙ АХМАТОВОЙ

Впервые напечатано в альманахе «Воздушные пути» (Нью-Йорк), № 5, 1967. В настоящем издании приводятся из этого очерка Адамовича лишь два небольших отрывка, имеющих непосредственное отношение к биографии Гумилева.

Об Адамовиче см. в примечаниях к его воспоминаниям «Вечер у Анненского».

В соответствии с «Матрикулом студента историко-филологического факультета С.-Петербургского университета Н.С. Гумилева», он прослушал у профессора Шляпкина курс истории литературы петровской эпохи. Тот же документ (известный нам по публикации Е.Вагина в альманахе «Russica–81 » упоминает еще следующие курсы: логику, психологию, античную словесность, семинары по латинскому и греческому языку, введение в языкознание (профессор Бодуэн-де-Куртане), семинар по русской литературе, русскую историю, историю древней филологии, семинар «Панегирик Исократа» и семинар «Шестая песнь Энеиды» и, как видим, ни одного курса по специальности романо-германская филология. По-видимому, этот матрикул перечисляет курсы, «прослушанные Гумилевым в 1909-1910 учебном году. С конца ноября (примерно со времени дуэли с Волошиным) и по февраль 1910 г. в университете Гумилев не появляется. Именно в этот период состоялась его первая поездка в Абиссинию. Возвратившись в феврале в Петербург, Гумилев опять недолго ходит в университет. Пятого апреля он подал прошение на имя ректора университета с целью получения официального разрешения «вступить в законный брак с дочерью статского советника Анной Андреевной Горенко». Разрешение было получено Гумилевым 14 апреля, и с этого времени он был «уволен в отпуск заграницу сроком по 20 августа». Через несколько дней он уезжает в Киев к Горенко (Ахматовой); 25 апреля состоялось венчание «студента С.-Петербургского университета Н.С. Гумилева» с «потомственной дворянкой» Анной Горенко в Николаевской церкви в селе Никольская Слободка Остерского уезда Черниговской губернии. После этого Гумилев и Ахматова на месяц уехали в Париж. Следующий учебный год Гумилев или вообще не бывал в университете или появился там считанное число раз. По словам Ахматовой, он уехал из Петербурга 25 сентября 1910 г. и вернулся 25 марта 1911 г. Седьмого мая 1911 г. Гумилев был исключен из университета. Двадцать пятого сентября 1912 г. Гумилев вновь подает прошение о зачислении его на историко-филологический факультет. Очевидно, к осени 1912 г. и относятся воспоминания Адамовича о «романо-германском» семинарии. Пятого марта 1915 г. Гумилев окончательно был «уволен из числа студентов университета как не внесший плату за осень 1914 г.»

Владимир Б. Шкловский.

«КОСТЕР»

Эта рецензия мемуарного характера была опубликована в журнале «Книга и революция», № 7 (19), 1922, стр. 57.

1. Лет пятнадцать тому назад... Гумилев поступил в Петербургский университет в августе 1908 г., причем сначала на юридический факультет. На историко-филологический он перевелся в сентябре 1909 г. Рецензия Вл. Шкловского была написана в 1922 г. и, следовательно, речь идет не о пятнадцатилетней давности, а сроке не-

сколько меньшем. «Среди молодых романо-германистов» Шкловский мог встретить Гумилева не раньше осени 1909 г.

2. отмечен Эйхенбаумом в его статьях. В статье «О камерной декламации» Б. Эйхенбаум писал: «Лирическое стихотворение есть замкнутая в себе речь, построенная на ритмико-мелодической основе. Вне ритма оно не существует... Естественно, что в чтении поэтов, по опыту знающих силу ритма и не смешивающих его, как это делают наивные декламаторы, с размером или метром, выдвинулась и заняла господствующее положение именно эта ритмико-мелодическая основа. Несмотря на индивидуальные различия (Блок, Гумилев, Мандельштам, Ахматова, А.Белый), у них есть одна общая для всех манера – подчеркивать ритм особыми нажимами (иногда даже с помощью жестов, но ритмического, а не психологического характера) и превращать интонацию в распев. Логические ударения затушеваны, эмоции не выделены – никакой инсценировки нет» (Б. Эйхенбаум. Литература. Теория. Критика. Полемика. Л., «Прибой», 1927, стр. 232).

Николай Минский. «ОГНЕННЫЙ СТОЛП»

Эта рецензия, включающая несколько строк мемуарного характера, появилась в берлинском журнале: «М. Кузмин. Эхо. Стихи. Петербург. 1921. Н. Гумилев. Огненный Столп. Изд. «Петрополис». Петербург. 1921». В настоящее издание включена вторая часть рецензии – относящаяся к Гумилеву.

Николай Максимович Минский (1855-1937) – поэт, философ, журналист. В 1905 г. издавал большевистскую газету «Новая жизнь» и был изгнан из редакции большевиками, которых сам же и приютил. Газета была запрещена, и Минскому грозил суд. Освобожденный под залог, он эмигрировал во Францию. Он жил в Париже в то же самое время, когда туда приехал Гумилев, только что окончивший Николаевскую Царскосельскую гимназию. Более того, они посещали тех же самых людей, бывали, например, в салоне Кругликовой, и удивительно, как они не познакомились в Париже еще в 1906 г. Во всяком случае, Минский пишет, что познакомился с Гумилевым в Петербурге в 1914 г. Следовательно, это случилось в первой половине 1914 г., так как Минский вернулся из эмиграции только в 1913 г., а летом 1914 г. он снова уехал за границу.

В начале двадцатых годов об «Огненном столпе», вышедшем в 1921 г., появилось несколько рецензий – за границей, в Петрограде, в Москве и в провинции. В «Сибирских огнях», № 4, 1922 некий В.И. после краткого невразумительного отзыва на «Огненный столп» и другие книги Гумилева позднего периода писал: «Значение Гумилева и его влияние на современников огромно. Его смерть и для революционной России останется глубокой трагедией».

В «Современных записках» в Париже была напечатана статья К. Мочульского «Классицизм в современной русской поэзии». В этой статье

Мочульский писал об «Огненном столпе»: «Волевой строй души определяет собой всю его поэзию. Предметы и люди существуют для него только как возбудители воли. То, что достойно желания, находит динамическое выражение в его стихах. Отсюда неизбежная дидактика его творчества. Гумилев хочет заразить своей волей читателя, научить его, зажечь и подвигнуть на дело. В этом отношении особенно показательны его последние стихи «Мои читатели»... В том же сборнике «Огненный столп» Гумилев рассказывает о душах, перебывавших в его теле, ибо

Только змеи сбрасывают кожи,
Мы меняем души, не тела.

...«Поэзия воли» должна создать себе новый энергический язык, в котором все слова «просты и мудры». И Гумилев освобождает фразу от аксессуаров, выделяя ее стержень – глагол. Экзотика и стилизация служат ему средствами нового оформления поэтической речи. И через примитивизм он приходит к классицизму. Все молодые поэты учились у Гумилева. Печально, что задуманной большой «Поэтике» его не суждено было быть написанной» («Современные записки», № 11, 1922, стр. 369-370).

Георгий Иванов, один из тех немногих, кто основательно знал все творчество Гумилева, а также долго знаком был с ним лично, в статье «О поэзии Н. Гумилева» писал об «Огненном столпе»: «Огненный столп» Н. Гумилева более чем любая из его предыдущих книг полна напряженного стремления вперед по пути полного овладения мастерством поэзии в высшем (и единственном) значении этого слова. ...Стать мастером – не формы, как любят у нас выражаться, а подлинным мастером поэзии, человеком, которому подвластны в с е тайны этого труднейшего из искусств, Гумилев стремится с первых строк своего полудетского «Пути конквистадоров», и «Огненный столп» – красноречивое доказательство того, как много уже было достигнуто поэтом и какие широкие возможности перед ним открывались... Можно сказать, что это характернейшая, но вряд ли самая сильная из книг Гумилева. Зная все его творчество, мы знаем, что он почти всегда находил удачное разрешение поставленных себе задач» («Летопись Дома литераторов», № 1, 1921, стр. 3, 4).

Николай Оцуп. Н.С. ГУМИЛЕВ

Печатается по книге: Николай Оцуп, «Современники», Париж, 1961, стр. 23-33. Ранее эти воспоминания публиковались в «Последних новостях» (Париж), 1926. В книге «Литературные очерки» Оцуп писал по поводу своих воспоминаний в «Последних новостях»: «Ни от одной строчки моей статьи я не отказываюсь».

Николай Авдеевич Оцуп (1894-1958) – поэт, прозаик, литературный

критик, литературовед, основатель журнала «Числа» (вышло десять номееров, один из них сдвоенный). О Гумилеве Оцуп писал много. О месте Гумилева в его жизни хорошо сказал Александр Бахрах: «Собственно, Бергсон и Гумилев... были двумя полюсами, между которыми простирался духовный опыт Оцупа» («Мосты», № 9, 1962, стр. 204). Бахрах имел здесь в виду ранний период эмиграции. Но значение Гумилева в духовной жизни Оцупа вряд ли когда-нибудь шло на убыль. Об этом свидетельствуют некоторые страницы его монументального (в 12 тыс. строк) поэтического дневника. До конца жизни Оцуп остался верен ряду принципов акмеизма, который хотел он возродить под названием «персонализм». С Гумилевым Оцупа объединял не только акмеизм, не только Цех и работа в издательстве «Всемирная литература». Оба поэта были царскоселами, и это обстоятельство играло известную роль в их отношениях. Оба в ранние годы испытали влияние поэзии Анненского. Оба учились в той же самой гимназии, хотя и в разные годы, и по окончании оба отправились в Париж. В разных литературных кругах у Гумилева и Оцупа было много общих знакомых. Вскоре после гибели Гумилева в третьем сборнике «Цех поэтов» была опубликована статья Оцупа «О Гумилеве и классической поэзии». Впоследствии, живя в Париже, Оцуп написал о Гумилеве докторскую диссертацию.

1. Зиму 1915-1916 Гумилев провел в Петрограде. «Привал комедиантов», хотя и не названный по имени, упоминается в стихотворении Гумилева «Разговор». Таким образом облегчается датировка этого стихотворения, оставленного не датированным в четырехтомнике. «Привал» был открыт в 1915 г. В «Разговоре» о нем сказано в стихах, начинающихся строкой: «Как хорошо сидеть в кафэ счастливом...» Словом, это стихотворение не могло быть написано ранее 1915 г. Подробности – в нашей книге «Петербургский период Георгия Иванова».

2. Александр Толмачев печатался вместе с Северяниным в сборнике «Острова очарований» (1917); в альманахе «Винтик» (1915); в литературном сборнике «Полон» – вместе с Гумилевым, Садовским, Сологубом, Блоком, Л. Столицей и другими. В «Очарованном страннике» его стихи напечатаны вместе со стихами Северянина.

3. Здесь какая-то неточность: когда Гумилеву было пятнадцать лет, он жил в Тифлисе. М.б., эта встреча имела место в 1903 г. или даже чуть позднее.

4. Родственники Анненского, жившие в Царском Селе.

5. Из стихотворения Гумилева «Памяти Анненского», первое стихотворение в сборнике «Колчан» (1916).

6. О посещении Ахматовой Анненского см. в настоящем издании очерк Г.Адамовича «Вечер у Анненского».

7. О пиэтете, который испытывал Оцуп по отношению к Гумилеву, упоминает в своих мемуарах А.Элькан, жена известного коллекционера и одного из основателей издательства «Аквилон». Рассказывая о костюмированном бале в январе 1921 г., Элькан вспоминает: «Гумилев стоял в углу и ухаживал за зеленоглазой поэтессой (И.Одоевцевой –

В.К.). Николай Оцуп суетился, кого-то искал, у него было лицо подростка, чем-то радостно взволнованное, может быть близостью Николая Степановича» (Анна Элькан, «Дом Искусств» – «Мосты», № 5, 1960, стр. 295).

8. Об этой же черте характера писал в «Петербургских зимах» знавший его на протяжении девяти лет Георгий Иванов: «Девиз Гумилева и в жизни и в поэзии был – «всегда линия наибольшего сопротивления». Это мировоззрение делало его в современном ему литературном кругу одиноким, хотя и окруженным поклонниками и подражателями, признанным мэтром и все-таки непонятым поэтом» (2-ое изд., стр. 216). О том же писал и сам Гумилев в своем манифесте акмеизма: «Акмеистом труднее быть, чем символистом, как труднее построить собор, чем башню. А один из принципов нового направления – всегда идти по линии наибольшего сопротивления» («Наследие символизма и акмеизм» – «Аполлон», январь, 1913).

9. Газеты с сообщением о расстреле Гумилева вышли 1 сентября 1921 г. «Красная газета» от 1 сентября поместила отчет о собрании совета Петроградской губернии, заседавшего 31 августа. Председатель Губчека Семенов сделал доклад о ликвидации «заговоров». «Совет открылся в переполненном зале, – сообщается в «Красной газете». – Пожалуй, со времени кронштадтских событий не наблюдалось вчерашней картины: все проходы, ступеньки лестниц, хоры заполнены членами Петросовета и представителями организаций. Открывает собрание Евдокимов, предлагающий почтить вставанием третью годовщину смерти Урицкого. Затем начинается доклад Семенова... «Вы понимаете, – обращается Семенов к Петросовету, – чем грозило это нам и всей России, когда в самую страду, когда пуд за пудом собираются и шлются в местности, где 20 миллионов людей вопиют о корке хлеба, белогвардейцы мечтали сорвать организацию сбора продналога... чтобы воспользовавшись недовольством голодных и на их костях и крови воздвигнуть старое здание монархии... Здесь и поэт Гумилев, вербовавший кадровых офицеров...»

В тот же день петроградская газета «Правда» напечатала официальное сообщение ВЧК об убийстве в чекистских застенках 61 человека. Все они были расстреляны без суда, включая Гумилева. «В настоящее время, – говорится в этом сообщении, – в виду полной ликвидации белогвардейских организаций в Петрограде, представляется возможным опубликование более полных данных о подготовлявшемся восстании... Объединенные организационными связями и тактическим объединением своих центров, находящихся в Финляндии, белые организации представляли собою единый заговорщический фронт, подготовлявший вооруженное восстание в Петрограде к моменту сбора продналога... В распоряжении ВЧК находится письмо парижского шефа петроградской боевой организации ген. Владимирова... «Убедительно прошу кустарно не делать. Необходимо сочетать ваши намерения с какими-либо крупными беспорядками». Со времени раскрытия в июне первой

боевой организации деятельность заговорщиков не прекращалась ни на минуту. Через финляндскую границу продолжали прибывать агенты для пополнения разбитых рядов... Борьба стоила не мало жертв органам ЧК. Белыми террористами за последние 2 месяца убиты в Петрограде 7 и тяжело ранены 8 коммунистов... Наиболее значительной организацией является петроградская организация «ВОЗСТАНИЯ» (так в тексте – В.К.). Во главе ее стоял комитет из трех лиц: главы организации проф. В.Н. Таганцева, бывшего подполковника В.Г. Шведова и агента финской разведки быв. офицера Ю.П. Германа... При ликвидации организации обнаружено оружие, динамит, типографии, печати, бланки многих советских и военных учреждений, литература и прокламации... Были приняты меры ко взрыву поезда Красина, в котором, по сведениям ПБО, были золото и ценности, но террористы, посланные с бомбами на вокзал, опоздали к отходу поезда... Подготовлялись взрывы Нобелевских складов и поджог лесозаготовительного завода... Получено 2 млн. рублей от владельца кожевенного завода Давида Лурье на организацию восстания в Петрограде. Центр этой организации в Париже составляли: ген. Владимиров, кадеты Карташев, Струве, Коковцев, Иваницкий и др.... После съездов национального объединения... во главе парижского центра становится ген. Врангель. ...Таганцев стоял за ограниченную монархию... Учитывая отрицательное отношение масс... к лозунгам Учредительного собрания, организаторы предпочли укрыться под сень кронштадтских лозунгов «беспартийных советов»... ПБО является кадетской организацией правого толка...» Далее по методу, очень рано разработанному ЧК, на «организацию» валились сотни других фантастических грехов, как например связь с Антантой, германофильская ориентация (это у Гумилева-то!), переговоры с германскими общественными организациями и с министерством иностранных дел, связь с редакцией газеты «Руль» (это также считалось преступлением), связь с французской разведкой и многое, многое другое.

Затем шел список расстрелянных. Фамилия Гумилева стоит тридцатой, как раз посредине (список не алфавитный). Это место в списке выбрано преднамеренно. О Гумилеве здесь сказано: «ГУМИЛЕВ Н.С. 33 л. филолог, поэт, член коллегии издательства «Всемирной литературы», беспартийный, б.офицер. Содействовал составлению прокламаций. Обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов. Получал от организации деньги на технические надобности». Итак, по официальной версии, против него выставлено три обвинения: обещание, получение денег и участие в составлении прокламаций. Относительно же получения денег, мнимых или реальных, здесь уместно было бы напомнить, что царский довоенный рубль в августе 1921 г. равнялся 20.000 советских рублей. В это время на Кубани пуд картофеля стоил 100.000 рублей, пуд муки – 400.000 рублей, в Петербурге же еще дороже.

10. В среду, т.е. 31 августа. В связи с этим очень странным

кажется ответ, услышанный Оцупом от служащей тюрьмы на Шпалерной: «Ночью взят на Гороховую». Ночью – значит в ночь с 30-го на 31-ое августа. По мнению большинства современников, писавших о Гумилеве, он был расстрелян 25 августа. В предислови к книге Н.Гумилев «Избранное» Оцуп писал: «7 августа 1921 г. умер в страшных мучениях Блок. 24 августа того же года расстрелян Гумилев». Возможно, Оцуп имеет в виду среду 23 августа, однако доклад председателя пертроградской чека о расстреле Гумилева и др. был зачитан на заседании Петросовета в среду 31 августа. В 1921 г. в одной эмигрантской газете сообщалось, что приговоренным к высшей мере о расстреле объявлялось за минуту до казни.

Николай Оцуп. НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЕВ

Очерк был напечатан в журнале «Опыты» (Нью-Йорк), № 1, 1953. стр. 117-142. Оцуп написал лучшую из существующих кратких биографий Гумилева. Ценность ее повышается и благодаря тому, что эта биография основана на личных впечатлениях. Его знакомство с Гумилевым продолжалось в течение трех лет. С некоторыми изменениями этот же очерк был напечатан как предисловие к книге под ред. Оцупа: Н.Гумилев, «Избранное», 1959. Текст этого предисловия влючен в изданную посмертно книгу Оцупа «Литературные очерки» (1961).

Оцуп Николай Авдеевич (1894-1958) – поэт, эссеист, биограф Гумилева, член Цеха поэтов, редактор журнала «Числа». См. о нем также в примечаниях к его воспоминаниям «Н.С. Гумилев» в настоящем издании. Здесь же мы воспроизводим отрывок из его автобиографии, которая не перепечатывалась с 1922 г. Написана она была для журнала «Новая русская книга» и была опубликована в № 11/12, 1922, стр. 42-43.

«После окончания курса в Царскосельской гимназии, заложив за 32 рубля золотую медаль, я уехал в Париж. Я с отвращением учился в Ecole de droit и предпочитал слушать Бергсона. Как поэта, любил тогда и до сих пор Иннокентия Федоровича Анненского. Так и не узнал его лично, хотя в доме Хмара-Барщевских, моих лучших друзей гимназического времени, был подлинный культ поэта.

За два-три месяца до войны впал в крайнюю бедность и питался бананами. Это было в Париже.

Период войны и революции для меня соответствует живописи супрематистов: линии, плоскости, круги, спирали. Шведский пароход, Руан, Гетеборг, Петербург и казармы, запасный полк, 5-ая Армия и снова Петербург уже с красными флагами, ошалевшими броневиками, я тоже ошалел. Потом, когда дело стало серьезнее, мне стало ясно, что надо заниматься серьезно своим делом. Стал работать в издательстве «Всемирная Литература».

С Н.Гумилевым, Георгием Ивановым и М.Лозинским основали но-

вый Цех Поэтов. Георгий Иванов приехал из Новоржева позднее. Новый Цех, конечно, не похож на первый, основанный в 1911 году. Несколько поэтов договорились основательно, и Цех существует и работает, несмотря на тяжелую потерю одного из лучших вдохновителей поэзии Цеха, незаменимого поэта и друга, Н.С. Гумилева. Теперь уже стало традиционным цитировать строчки его стихов:

И в Евангельи от Иоанна
Сказано, что Слово - это Бог.

Вероятно, поэзия единственное священное дело на земле».

Вскоре после гибели Гумилева Н. Оцуп написал о нем интереснейшую статью («О Гумилеве и классической поэзии»), не утратившую своего значения до настоящего времени. Статья была напечатана в выпуске 2-3 альманаха «Цех поэтов», Берлин, 1922.

1. Имеется в виду Био-библиографический словарь русских писателей XX века» «Писатели современной эпохи» под редакцией Б.П. Козьмина (вышел только первый том - М., 1928). В статье о Гумилеве сказано: «В Тифлисе Г. увлекся левыми соц. течениями, читал Маркса, в усадьбе Березки Ряз. губ., где он жил летом, вел агитацию среди мельников, навлекшую на него осложнения со стороны ряз. губернатора».

2. Все мемуаристы, кроме В.С. Срезневской, писали о возвращении семьи Гумилевых в Царское Село в 1903 г. Подруга Ахматовой Срезневская пишет в своих воспоминаниях, что Гумилев и Горенко (Ахматова) познакомились в Царском в 1902 г. См. Николай Гумилев, «Неизданное и несобранное» ред. М. Баскер и Ш. Греем, YMCA-Press, 1986. Эти же воспоминания в отрывках были напечатаны в филадельфийском журнале «Мир», № 114, 1986 стр. 118-120. Фрагменты опубликованы под заголовком «О Гумилеве» и авторство их приписано какому-то Николаю Андрееву, хотя по тексту видно, что писала женщина. - Например: «Я раньше БЫЛА с ними знакома через общую учительницу музыки... которая учила музыке и меня и Гумилевых». Во всяком случае, в этих воспоминаниях сказано: «С Колей Гумилевым, тогда еще гимназистом VII класса, Аня познакомилась в 1902 году под Рождество». Павел Лукницкий в своем «Биографическом очерке» писал, что Гумилевы переехали в Царское в 1903 г. (см. ук.кн. «Неизданное и несобранное», стр. 153; этот очерк Лукницкого с подзаголовком «Биографическая справка» напечатан также в кн. Николай Гумилев. Стихотворения. Составитель В.П. Бетаки. YMCA-Press, 1986). Г. Струве в предисловии к первому тому четырехтомника Н.Гумилев «Собрание соч.» следует Б. Козьмину, давая дату: 1903. Та же дата и в биографии Гумилева, включенной Г. Струве в вышедшую под его ред. книгу «Неизданный Гумилев», 1952. В воспоминаниях Анны Андреевны Гумилевой, жены Дмитрия Гумилева, старшего брата поэта, сказано: «В 1903 г. семья вернулась в Царское Село» (см. настоящее издание).

3. См. воспоминания Голлербаха в настоящем издании.

4. Оцуп не указывает, где об этом говорит А. Левинсон. В его очерке «Гумилев», напечатанном в «Современных записках», о поэме «Мик» сказано лишь, что она вся «изложена рифмованными четырехстопными стихами, бодрыми путниками с легкой поклажей». И далее: «Как описать мудрую д е т с к о с т ь этой эпики, где радость от тривиальных подробностей экзотического быта граничит с жутью тропической чащи, Майн Рид – с седым мифом». О влиянии Фенимора Купера Левинсон не говорит совсем; о Густаве Эмаре сказано им в совершенно ином контексте: «У этого профессора поэзии была душа мальчика, бегущего в мексиканские пампасы, начитавшись Густава Эмара».

5. «Надменный, как юноша, лирик» – первая строка стихотворения «Любовь», включенного в «Чужое небо». Георгий Иванов написал на это стихотворение пародию или, может быть, пародирующее подражание – «Осенний фантом», вошедший в его сборник «Горница» (1914):

Отчаянною злостью
Перекося лицо,
Размахивая тростью,
Он вышел на крыльцо.
Он торопливо вышел,
Не застегнув пальто,
Никто его не слышал,
Не провожал никто.
Разбрызгивая лужи,
По улицам шагал,
Одно другого хуже
Прокляться посылал.

Жестоко оскорбленный,
Тебе отрады нет:
Осмеянный влюбленный,
Непризнанный поэт!
А мог бы стать счастливым,
Веселым болтуном,
Бесчинствовать за пивом,
Не зная об ином.
Осенний ветер – грубым
Полетом тучи рвал,
По водосточным трубам
Холодный дождь бежал, –

И мчался он со злостью
Намокший ус крутя, –
Расщипленное тростью
По лужам колотя.

Особенное сходство заметно между последней строфой у Г.Иванова и следующей строфой у Гумилева:

Я из дому вышел со злостью,
Но он увязался за мной,
Стучит изумительной тростью
По звонким камням мостовой.

«Изумительная трость» в пародии становится «расщепленной» и загадочный лирический герой Гумилева – в пародии Иванова – бешено колотит своей тростью по лужам. Поводом для написания пародии явилась, вероятно, последняя строфа в стихотворении Гумилева:

И стал я с тех пор сумасшедшим.
Не смею вернуться в свой дом
И все говорю о пришедшем
Бесстыдным его языком.

Отсюда у Иванова строки:

Одно другого хуже
Проклятьcя посылал.

6. В первоначальной публикации (в «Аполлоне», № 9, 1912) стихотворение «Памяти Иннокентия Федоровича Анненского» кончалось строфой:

То муза отошедшего поэта,
  Увы! безумная сейчас,
Беги ее: в ней нет отныне света
  И раны, раны вместо глаз.

Стихотворение в журнальном тексте носило подзаголовок «По случаю второй годовщины смерти, исполнившейся 30-го ноября». На основании этого подзаголовка обычно и датируется это стихотворение. Летом 1911 г. Гумилев вновь пережил увлечение Анненским, но выводы из этого увлечения были для Гумилева мало вдохновляющими. Это переосмысление Анненского сказалось в цитированной выше заключительной строфе его стихотворения. Подбирая в 1915 г. свои стихи для книги «Колчан», Гумилев написал заново заключительную строфу:

Журчит вода, протачивая шлюзы,
  Сырой травою пахнет мгла,
И жалок голос одинокой музы,
  Последней – Царского Села.

Знаменательно, что это стихотворение в «Колчане» идет первым:

по-видимому его взгляд на Анненского опять претерпел изменение. Отношение это было двойственным – приятие и отталкивание. О расхождении с эстетикой Анненского отчетливо сказано в одном стихотворении Г. Иванова, который с Гумилевым познакомился в 1912 г. и с промежутками, порой длительными, встречался с ним вплоть до лета 1921 г.

Я люблю безнадежный покой,
В октябре – хризантемы в цвету,
Огоньки за туманной рекой,
Догоревшей зари нищету...

Тишину безымянных могил,
Все банальности «Песен без слов»,
То, что Анненский жадно любил,
То, чего не терпел Гумилев.

7. Ахматова утверждала, что «Пятистопные ямбы» – о ней. См. «Стихи и письма. Анна Ахматова. Н. Гумилев.» Публикация, составление, примечания и вступительное слово Э.Г. Герштейн – «Новый мир» № 9, 1986.

8. Б. Эйхенбаум был первым, кто отметил в печати духовную силу стихов Гумилева о войне. Его «военные стихи, – писал Эйхенбаум в феврале 1916 г. в «Русской мысли», – приняли вид псалмов об «огнезарном бое». ...Не замечтально ли самое стремление поэта – показать войну как мистерию духа?»

9. Речь идет о неоконченной повести Гумилева «Веселые братья», опубликованной в книге «Неизданный Гумилев» под ред. Г.П. Струве, изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1952, стр. 159-200.

10. Не точно цитируется предисловие Г. Иванова к составленной им книге Н. Гумилев «Письма о русской поэзии». Предисловие датировано им самим: сентябрь, 1922 г. Он пишет: «Если бы жизнь Гумилева не прервалась, и он написал бы задуманную им теорию поэзии, мы бы имели наконец столь необходимую нам «L'art poétique». Но теперь русские поэты и русские критики еще долго будут учиться по этим разрозненным письмам своему трудному «святому ремеслу». И образ Гумилева, поэта и критика, навсегда останется в русской литературе прекрасным и возвышенным образом, к которому так хорошо могут быть обращены Пушкинские стихи:

С Гомером долго ты беседовал один.
Тебя мы долго поджидали.
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали...»

11. «Заблудившийся трамвай» напечатан был в журнале «Дом Искусств», № 1, 1921. Здесь строфа, о которой говорит Н. Оцуп, от-

сутствует. Впервые она появляется в печати в вышедшем через несколько дней после убийства Гумилева его сборнике «Огненный столп».

Леонид Страховский. О ГУМИЛЕВЕ 1886-1921

Напечатано в «Современнике» (Торонто), № 4, 1961, стр. 59-61.

Страховский Леонид Иванович (1898-1963) – автор трех поэтических сборников, литературовед. В 1922 г. в Берлине вышел его первый сборник стихов «Ладья» (под псевдонимом Леонид Чацкий). Второй сборник «У антиквара» вышел в Брюсселе в 1927 г. Сборник «Долг жизни» с подзаголовком «Третья книга стихов» напечатан в Торонто в 1953. Стихи крайне слабые, и этот сборник нам интересен только своим посвящением:

«Памяти
безукоризненного поэта,
совершенного кудесника русского слова,
дорогого и уважаемого
Друга и Учителя
НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА
с чувством
глубочайшего смирения
посвящаю я
эти стихи.
Л.С.

Его стихи, статьи и рецензии появлялись в русских зарубежных журналах («Возрождение», «Грани», «Новый журнал»), чаще всего в русско-канадском «Современнике». В 1949 г. он опубликовал по-английски небольшую книгу «Craftsmen of the World. Three Poets of Modern Russia», в которую включена глава о Гумилеве. Об этой книге Георгий Иванов опубликовал в «Возрождении», № 9, 1950 небольшую рецензию мемуарного характера: «В начале 18 года Гумилев познакомил меня с молодым поэтом Леонидом Страховским. Поэт был очень молод, был в сущности еще подростком – революция застала его на школьной скамье, и теперь в большевистском Петербурге он беспечно «донашивал» «контрреволюционную форму» Александровского лицея. Несмотря на юность, он был сдержан, серьезен и много говорил о поэзии, обнаруживая настоящие познания и вкус. Гумилев явно ему покровительствовал. Стихи молодого Страховского нравились Гумилеву – он называл их «акмеистическими» – в устах Гумилева серьезная похвала».

1. Эти же строки из неизвестного нам письма цитируются в воспоминаниях Н. Оцупа и Г. Иванова.

2. Чтение стихов поэтов-участников кружка «Арзамас» происходило в зале Тенишевского училища (того самого, где учились Ман-

дельштам и Набоков и преподавал Владимир Гиппиус) 13 мая 1918 г., т.е. через несколько дней после возвращения Гумилева в Петроград после годичного пребывания за границей, во Франции и в Англии. Сологуб, Пяст и Ахматова отказались от участия из-за чтения «Двенадцати». Блок на этом «утреннике» читал свои «Скифы» и несколько стихотворений.

За десять лет до публикации настоящих воспоминаний Страховским была опубликована в «Возрождении» (№ 16, 1951) статья «Рыцарь без страха и упрека (Памяти Н.С. Гумилева)». Начало этой статьи – мемуарное, причем эти воспоминания перенесены почти слово в слово в позднейшую статью 1961-го года, которую мы приводим в настоящем издании. Единственное существенное отличие между двумя статьями состоит в датировке «утренника» в Тенишевском училище. В более ранней статье Страховский отнес это событие к апрелю 1918 г., в более поздней – к маю.

Отношения Гумилева и Блока – тема, привлекавшая внимание довольно многих мемуаристов и нескольких исследователей. И тем не менее эта весьма существенная для историков литературы тема остается не разработанной. Многое до сих пор не публиковалось. Например, лишь частично опубликованы дневники К. Чуковского, М. Кузмина и др. По дневникам Чуковского можно проследить, например, где и при каких обстоятельствах встречались Гумилев и Блок в последние годы жизни. Приводим некоторые выдержки из записей Чуковского:

«5 марта 1919. Вчера у меня было небывалое собрание знаменитых писаталей: М. Горький, А. Куприн, Д.С. Мережковский. В. Муйжель, А. Блок, Слезкин, Гумилев и Эйзен... Решено устроить заседание у меня – заседание Деятелей Художественного Слова... Гумилев с Блоком ведают у нас стихи. Блок Гумилеву любезности, Гумилев Блоку: Вкусы у нас одинаковые, но темпераменты разные».

«14 марта. Вчера во Всемирной литературе (Невск. 64) было заседание нашего Союза. Собрались: Мережковский, Блок, Куприн, Гумилев и др. ...Блок прочел свои три рецензии о поэзии Цензора, Георгия Иванова и Долинова».

«26 марта 1919 г. Вчера на заседании «Всемирной литературы» Блок читал о переводах Гейне, которые он редактирует». Далее Чуковский приводит графическую схему заседания: слева сидят Горький, Чуковский, Гумилев и Лернер; напротив – Блок, Лозинский, Волынский; присутствуют также Андрей Левинсон, Тихонов, Батюшков и Браун .

«5 июля. Вечер в Институте Зубова. Гумилев читал о Блоке лекцию – четвертую. Я уговорил Блока пойти. Блок думал, что будет бездна народу, за спинами которого можно спрятаться, и пошел. Оказались девицы, сидящие полукругом. Нас угостили супом и хлебом. Гумилев читал о «Двенадцати» – вздор – девицы записывали. Блок слушал, как каменный. Было очень жарко... Когда кончилось, он сказал

очень значительно, с паузами: Мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Но он цельный, не приклеенный. Он с поэмой одно целое».

28 октября... На заседании Всемирной литературы произошел смешной эпизод. Г у м и л е в приготовил для народного издания Соути – и вдруг Горький заявил, что оттуда надо изъять... все переводы Жуковского, которые рядом с переводами Г у м и л е в а страшно теряют! Блок пришел в священный ужас, я визжал ...Горький стоял на своем».

«13 ноября... Сегодня должно было состояться заседание по поводу продовольствия. Но – Горький забыл о нем, не пришел. Был Сазонов – проф. Алексеев, Батюшков, Гумилев, Блок, Лернер... Мы ждали полтора часа. ...И мы начали заседание без него. Потом пошли к Гржебину. По дороге Сазонов спрашивал, что Г у м и л е в – хороший поэт? Стоит ему прислать дров или нет. Я сказал, что Г у м и л е в – отличный поэт».

«19 ноября... Теперь мы собираемся уже не на Невском, а на Моховой, против Тенишевского училища. Нам предоставлены два этажа барского особняка... Там за круглым длинным столом мы заседаем в таком порядке: Г у м и л е в, Замятин, Лозинский, Браудо, Левинсон... Блок, я, Сильверсван, Лернер».

«23 ноября... Очень забавен эпизод со стихами... служащему нашей конторы ...Левину. Когда-то он снабдил Блока дровами, всех остальных обманул... Теперь Левин завел альбом, и ему наперебой сочиняют стишки о дровах – Блок, Г у м и л е в, Лернер».

«27 ноября. Третьего дня заседание во «Всемирной» ...После заседания Горький с Ольденбургом уезжают в «Асторию». Потом я, Блок, Гумилев, Замятин, Лернер... начинаем обсуждать программу ста лучших писателей. Г у м и л е в представил импрессионистскую: включил Дениса Давыдова (потому что гусар) и нет Никитина. Замятин примкнул к Г у м и л е в у. Блок стоит на исторической точке зрения... Мы спорили долго. Г у м и л е в говорит по поводу моей: это провинциальный музей, где есть папироса, которую курил Толстой, а самого Толстого нет... На следующий день (вчера) мы встретились на заседании «Дома искусств». Блок продолжал: «Г у м и л е в хочет дать только хорошее, абсолютное. Тогда нужно дать Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского».

«3 декабря 1919... Вчера день сплошного заседания... Во время чтения программы Иванова-Разумника произошел инцидент. Иванов-Разумник сказал: «Одну книжку бывшим акмеистам». Г у м и л е в попросил слова по личному поводу и спросил надменно: кого именно Иванов-Разумник считает бывшими акмеистами. Разумник ответил: вас, С.Городецкого и других. – Нет, мы не бывшие, мы... Я потушил эту схватку».

7 декабря... Третьего дня Блок и Гумилев в зале заседаний сидя друг против друга внезапно заспорили о символизме и акмеизме. Очень умно и глубоко. Я любовался обоими. Гумилев: символисты в большинстве аферисты. Специалисты по прозрениям в нездешнее. Взяли гирю,

написали 10 пудов, но выдолбили всю середину. И вот швыряют гирю и так и сяк. А она пустая. Блок осторожно, словно к чему-то в себе прислушиваясь, однотонно: «Но ведь это делают все последователи и подражатели – во всех течениях. Но воообще – вы как-то не так: то, что вы говорите, – для меня не русское. Это можно очень хорошо сказать по-французски. Вы как-то слишком литератор. Я – на все смотрю сквозь политику, общественность...»

Дневник Чуковского цитируется по «Литературному наследству», т. 92, книга вторая, изд. «Наука», М. 1981, стр. 244-251. (Все разрядки – наши, В.К.). Эпизод на «утреннике» в Тенишевском училище обретает более глубокое значение, когда мы читаем о нем в контексте многолетней усложненности отношений между Гумилевым и Блоком. Спор о символизме, начатый еще в 1910 г., фактически до конца жизни двух поэтов оставался для них актуальным феноменом. Этот спор, в дополнение ко всему, осложнялся личными темпераментами и эстетической ориентацией. В этих тянувшихся годами спорах, которым способствовали частые встречи в последние годы жизни, находим также и отголосок старинного русского раскола на западничество и славянофильство. Каждый из двух поэтов воспринимал другого как «чужого», но Блок чувствовал эту «чуждость» Гумилева, вероятно, острее. В воспоминаниях К. Лабутина о Блоке, напечатанных в 1931 г. в ленинградском журнале «Звезда» (№ 10) содержится несколько строк, подчеркивающих эту отчужденность: «О Гумилеве сказал, – пишет этот мемуарист, – он чужой, хотя тут же попросил прочитать названные мною стихотворения «Капитаны» и «Туркестанские генералы». Между прочим, слово «чужой» в устах Блока принимало особенный характер. В одном этом слове, чувствовалось, было заключено многое. Чужой значило: отрезанный раз навсегда, находящийся за какою-то гранью, которую не преступить».

Параллельное высказывание находим и в воспоминаниях близкого друга Блока – поэта Вильгельма Зоргенфрея: «И одно осталось мне непонятным, – пишет Зоргенфрей, – как за акмеизмом, за поэтическим профессорством, за цеховой фразеологией Н.С. Гумилева, явно наигранною, не чувствовал он поражающей силы художественного творчества. К поэзии Гумилева относился он отрицательно до конца и даже, когда. по настоянию моему, ознакомился с необычным «У цыган», сказал мне, правдиво глядя в глаза: «Нет, все-таки совсем не нравится» («Записки мечтателей», № 6, 1922).

Примечательно, что отношение Гумилева к Блоку заметно позитивнее, терпимее, готовнее к большему приятию и широте. Блок загипнотизировал целое поколение. Несомненно, что это «всеобщее» преклонение повлияло и на отношение Гумилева к Блоку. «А вот мы втроем, – вспоминала А.Ахматова, – (Блок, Гумилев и я) обедаем (5 августа 1914 года) на Царскосельском вокзале в первые дни войны (Гумилев уже в солдатской форме)... Когда мы остались вдвоем, Коля сказал: «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев».

Как вспоминает К. Чуковский. статья Блока «Без божества, без

вдохновенья», направленная против акмеизма, явилась результатом его споров с Гумилевым. Статья вышла, – пишет Чуковский, – излишне язвительной. В одних воспоминаниях встретился нам некий прямой вопрос, заданный Гумилеву о его отношении к Блоку. – А что бы вы делали, если бы перед вами был живой Лермонтов? Подобное же сопоставление находим в рецензии Гумилева на сборник стихотворений Вяч.Иванова: «Неизмеримая пропасть отделяет его от поэтов линий и красок, Пушкина или Брюсова, Лермонтова или Блока. Их поэзия – это озеро, отражающее в себе небо...» (Собр. соч., т. 4, стр. 266). Разумеется, эта оценка целиком зависит от своего времени, когда имя Брюсова – не одним только Гумилевым – могло быть поставлено рядом с именем Пушкина. Единственную несколько двусмысленную в устах Гумилева оценку находим в его рецензии на «Антологию», выпущенную издательством «Мусагет» в 1911 г.: «Александр Блок является в полном расцвете своего таланта: достойно Байрона его царственное безумие, влитое в полнозвучный стих». Сопоставление Блока с Лермонтовым встречается также и в рецензии Гумилева на «Ночные часы»: «Перед А.Блоком стоят два сфинкса... Первый некрасовский, второй – лермонтовский. И часто, очень часто Блок показывает нам их слитых в одно... Невозможно? Но разве не Лермонтов написал «Песню про купца Калашникова»? И далее: «В чисто лирических стихах и признаниях у Блока – лермонтовское спокойствие и грусть...» В этой же рецензии Блок назван «чудотворцем русского стиха».

В 1912 г. Гумилевым написана еще одна рецензия о Блоке – на его «Собрание стихотворений в трех книгах». Как и во всех гумилевских высказываниях о Блоке, здесь также чувствуется пафос справедливости во всяком суждении. В соответствии с этой рецензией, Блок «обладает чисто пушкинской способностью в минутном давать почувствовать вечное, за каждым случайным образом – показать тень гения, блюдущего его судьбу».

Поучительно и, безусловно, интересно сравнить этот очерк Страховского с описанием «литературного утра» 13 мая 1918 г. в Тенишевском училище (т.е. тех же самых событий), принадлежащим перу Всеволода Рождественского. Он присутствовал на чтении стихов и даже читал сам, но Гумилева вообще «не заметил».

Владислав Ходасевич. ГУМИЛЕВ И БЛОК

Вошло в книгу Ходасевича «Некрополь». Впервые этот очерк под заголовком «О Блоке и Гумилеве» был напечатан в парижской газете «Дни», № 1069, 1926. Окончание очерка было напечатано через несколько дней – в воскресном номере, 8-го августа. Очерк был приурочен к пятилетию со дня смерти Блока и Гумилева. Текст в настоящем издании (с небольшими сокращениями) печатается по «Некрополю» Ходасевича, однако разница между газетным и книжным вариантами этих воспоминаний такова, что речь здесь идет более, чем просто о «разночтениях». В после-

днем варианте оказались выпущены целые абзацы. Вот некоторые из этих опущенных в последнем издании строк:

«...Гумилев был порой даже блестящ. Не меньше, а больше Брюсова, притом неизмеримо благородней и бескорыстней любил он поэзию. В суждениях он старался быть беспристрастным, это встречается не так часто».

«Здесь в эмиграции мне несколько раз доводилось читать и слышать о Гумилеве безвкусное слово «рыцарь-поэт». Те, кто не знал Гумилева, любят в таком духе выражаться о его смерти. Это, конечно, вздор и – говоря по-модному – лубок. Рыцари умирают в борьбе, в ярости боя. В смерти же Гумилева – другой, совсем иного порядка трагизм, менее «казистый», но гораздо более страшный. Гумилев умер (я не нахожу других слов) подобно тем, что зовутся «маленькими героями». Есть рассказы о маленьких барабанщиках, которые попадают в плен – и их убивают за то, что они не хотят выдать своих. Есть рассказ о Маттео Фальконе. Вот где надо искать аналогий со смертью Гумилева. Конечно, он не любил большевиков. Но даже они не могли поставить ему в вину ничего, кроме «стилистической отделки» каких-то прокламаций, не им даже написанных. Его убили ради наслаждения убийством вообще, еще – ради удовольсвия убить поэта, еще – «для острастки», в порядке чистого террора, так сказать. И соответственно этому Гумилев пал не жертвою политической борьбы, но «в порядке» чистого, отвлеченного героизма, ради того, чтоб «не дрогнуть глазом», не выказать страх и слабость перед теми, кого он гораздо более презирал, нежели ненавидел. Политическим борцом он не был. От этого его героизм и жертва, им принесенная, – не меньше, а больше».

«Гумилев любил жест и позу. Мне казалось, что и в этом он юношески подражает Брюсову. Но смысл этого жеста, смысл его позы был изысканнее, чем у Брюсова. Подобно Брюсову, он любил всяческую официальность и представительство, но это выходило у него несравненно простодушнее и бескорыстнее. Он весело и невинно радовался почетному званию «синдика» в воссозданном им «Цехе Поэтов» и самодержавствовал в нем – без грубого начальствования. Как всякий ребенок, он больше всего любил быть взрослым. Подражая порокам взрослых, он оставался собою».

«Помню святки 1920 года. В Институте Истории Искусств – бал. Весь литературный и художественный Петербург налицо... Он играет в бал... Во всей этой толпе играла в ту же игру еще одна семидесятилетняя старуха – не знаю кто. Серая, сильно декольтированная, в шелковом сером платье, накрашенная. с голыми плечами, густо обсыпанная голубоватой пудрой, оня вся казалась жемчужной и страшной. Сидела в пунцовом шелковом кресле, обмахиваясь дымчатым страусовым веером и молча шевеля поддельными челюстями, как лошадь – мундштук. Казалось, сейчас ворвутся кожаные и потащат вон старуху и Гумилева вместе».

1. В отличие от многих авторов, писавших о Гумилеве, Ходасевич (как и Г.Иванов) считал датой смерти 27-ое, а не 25-ое августа. А.

Ахматова, А.Гумилева, Л.Страховский говорят, что убийство произошло 25 августа. Н.Оцуп в предисловии к «Избранному» Гумилева называет датой смерти день 24 августа.

2. Ср. со словами Амфитеатрова: «Поэзия была для него не случайным вдохновением, украшающим большую или меньшую часть жизни, но всем ее существом». О том же неоднократно писал Г.Иванов, знавший Гумилева дольше, ближе и лучше, чем В.Ходасевич.

3. Первая известная нам публикация Гумилева – стихотворение «Я в лес бежал из городов» была напечатана в «Тифлисском листке» 8 сентября 1902 г. Первая книга – «Путь конквистадоров» – была отпечатана в 1905 г. Первая публикация Ходасевича относится к марту 1905 г. (стихи в альманахе «Гриф». Первая его книга – сборник «Молодость» – вышла в свет в 1908 г.

4. Эта квартира на Ивановской улице принадлежала редактору «Аполлона», историку искусства и поэту Сергею Константиновичу Маковскому. В его воспоминаниях читаем: «Затем он переехал на мою бывшую квартиру на Ивановской улице, вероятно, с разрешения М.Л. Лозинского, секретаря «Аполлона», которому я предоставил право распоряжаться ею». Не вполне точно пишет об этой квартире А. Гумилева: «Художник Маковский предложил Коле временно свою квартиру...»

5. «Настоящая собственница» – Марина Маковская, ранее бывшая замужем за Ходасевичем. Ее девичья фамилия – Рындина. Ходасевич женился на Марине Эрастовне Рындиной в апреле 1905 г. Их совместная жизнь продолжалась до декабря 1907 г. Позднее Рындина вышла замуж за Маковского.

6. Ходасевич переехал в Петербург 17 ноября 1920 г.

7. Есть основания предположить, что эти пятеро были – Г. Иванов, Г. Адамович, И. Одоевцева, Н. Оцуп и М. Лозинский.

8. Сергей Нельдихен – член Цеха поэтов, его стихотворение «Праздник» было напечатано в первом альманахе Цеха. Его книга «Органное многоголосье» (1922) привлекла внимание критики. За ней последовал целый ряд небольших книжек: «Праздник (Илья Радалет) Поэмороман», «С девятнадцатой страницы», «Веселый стишок учебе впрок», «Он пришел и сказал», «Он пошел дальше». В литературе о послереволюционном Цехе поэтов имеется забытый очерк Надежды Павлович, в котором содержится не лишенное интереса наблюдение: «В Москве не мог бы органически возникнуть наивный акмеизм, рождающийся из ощущения прочности мира вещей, – ибо какая уж тут прочность, если двигательные силы мира разбужены катастрофически и, может быть, готовят нам такие сюрпризы, которые и не снились никому! Невозможно и поклонение Западной Европе, свойственное, например, Цеху, потому что мы, москвичи, знаем, заглянули уже туда, куда она взглянуть не осмеливается, – скорей обернемся мы лицом к Азии... И, наконец, Петербургу свойственна дисциплина, в прочных путах ее и спокойнее, может быть, и красивее ее красивостию. Цех держится на дисциплине. Москва свободна. Москва это город или одиночек или свободных со-

дружеств, но не цехов» (Н.Павлович, «Московские впечатления» – «Литературные записки», № 2, 23 июня 1922). О лучшей книжке Нельдихена («Огранное многоголосье») писал в весьма развязных тонах коммунистический критик Э.П. Бик: «Межеумки. Ни футуристы, ни символисты, ни акмеисты – а просто черт знает что: Оцуп и Нельдихен. Они знают, что они одно и то же, так этот Оцуп и пишет... Порядочный человек после этого запил бы горькую на тему «простите православные»... Но ведь этому Нельдихену собирать бы коллекцию перышек (до марок он еще явно не дорос) и выпрашивать у мамы двугривенный на резину для рогатки – нет он, оказывается, п о э т. А ведь это слово все-таки, как-никак не ругательство же... У нас в Москве такие малютки папиросами торгуют и в голос от них воют несчастные учительницы подобающих ступеней; в Питере эта братия стихи пишет. Удобный город. Почему-то Оцуп куда-то еще пыжится, пробует там под Кузмина, под Северянина... Нельдихену на все это чихать, товарищи; да ведь это сам «румяный Лука» из умницы-Кантемира, который «трижды рыгнув», изъясняется с изумительной простотой. У меня есть прямая кишка, карточка литера «Б» и адрес – а следовательно, я человек. ...А ведь у беговой лошади, пожалуй, больше прав называться человеком, чем у Нельдихена, ежели подумать...» (Э.Бик. «Литературные края» – «Красная новь», кн. 2, март–апрель, 1922, стр. 352). Статья Бика как нельзя лучше показывает атмосферу, в которой приходилось работать Цеху поэтов.

9. Намек на Н.Оцупа. Корней Чуковский, вспоминая об этом времени, писал: «Оцуп был замечателен тем, что временами исчезал из столицы и, возвратившись, привозил откуда-то из дальних краев такие драгоценности, как сушеная вобла, клюква, баранки, горох, овес, а порой – это звучало, как чудо – двадцать или тридцать кусков сахару. Не все привезенные яства поглощал он один. Кое-какие из них он приносил в красивых пакетиках, перевязанных ленточками, высокодаровитым, но голодным писателям, получая от них в обмен то балладу, то сонет, то элегию» («Чукоккала», М., «Искусство», 1979, стр. 265-266).

Более сведущий свидетель тех лет, лучше знавший и Н. Оцупа и вообще обо всех петербургских литературных делах, справедливо относит эту хозяйственную деятельность Оцупа к более раннему времени и связывает ее начало не с «Союзом поэтов», а с «Всемирной литературой»: «Однажды в «Всемирной литературе» на общем собрании после долгих дебатов, суть которых сводилась к тому, что «все что-то получают, потому что хлопочут, а мы никогда ничего, так больше нельзя» – это «общее собрание», составленное из цвета петербургского «литературного мира» (ибо «Всемирная литература», основанное Горьким издательство всяческих переводов – было единственным местом, где можно было «не теряя чести», если не печататься, то заниматься литературным трудом, получая гонорар) ...это общее собрание, после дебатов, единогласно постановило основать «хозяйствен-

ный комитет», который что-нибудь бы доставал. И так же единогласно председателем этого комитета решили выбрать поэта Оцупа. Почему именно Оцупа? На это были веские причины. Во-первых, у него был оставшийся от военных времен полушубок и желтый портфель, в котором во «Всемирную литературу» носили рукописи переводов, а оттуда сахар и всякую подозрительную гастрономию нашей маркитантки Розы. ...От этих полушубка и портфеля, соединенных вместе, действительно так и разило «завоеваниями революции». Уполномоченный, так декорированный, имел, конечно, шанс, которого не давал ему мандат, нащелканный на нашем жалком бланке, шанс пролезть через игольные уши приемных, сквозь очередь и секретарей, добиться аудиенции у какого-нибудь «зава» и что-нибудь у него выпросить. Кроме того, у Оцупа, несмотря на то, что он, как и все остальные, питался картошкой и продуктами Розы, – была от Бога «сытая» внешность, какая и полагается настоящему, способному внушить к себе доверие «предхозкому».

Собрание все это учло. Бедный поэт вздохнул, положил мандат в портфель, надел свой «комиссарский» полушубок и отправился в «Петрокоммуну». Добившись приема у грозного «заведующего распределительной частью», он с удивлением и блаженством узнал в нем старого знакомого – Анатолия Серебряного.

Далее «было все очень просто, было все очень мило». Пучков (незначительный поэт, он же – Анатолий Серебряный. – В.К.) прочел «венок сонетов». Оцуп одобрил рифмы. Пучков просиял и, оторвавшись на минуту от приятной беседы, прокричал в телефон распоряжение немедленно приготовить ордера «на все» – шапки, пальто, муку. Потом этот способ – разыскивать в советских учреждениях графоманов и при их помощи устраивать железнодорожный билет или калоши – стал общеизвестным, опошлился, так сказать. Но честь его открытия – принадлежит Н. Оцупу». (Г.Иванов, «Анатолий Серебряный. «Сегодня», № 57, 1933, стр. 4).

10. Второй Цех поэтов возник в конце 1920 г. Вот что писали участники этого Цеха в предисловии к первому берлинскому выпуску альманаха «Цех поэтов»: «В конце 1920 г. в Петрограде некоторые поэты, в том числе и несколько членов первого Цеха, объединились под старым цеховым знаменем. В основу были положены принципы работы и строгой дисциплины. Основателями второго Цеха были Г. Адамович, Н. Гумилев, Георгий Иванов, М. Лозинский и Ник. Оцуп». Цитируемое предисловие было написано в Берлине 11 октября 1922 г., т.е. по довольно свежим следам, когда память о подробностях еще не изгладилась. Кроме того, это предисловие написано самими участниками Цеха – Г. Ивановым, Г. Адамовичем, Н. Оцупом. Подпись под предисловием – «редакционная коллегия» – подчеркивает, что предисловие было результатом коллективного обсуждения.

11. О Гумилеве в период его жизни в Доме Искусства имеется несколько строк в «Сентиментальном путешествии» В. Шкловского: «Вни-

зу ходил, не сгибаясь в пояснице, Николай Степанович Гумилев. У этого человека была воля, он гипнотизировал себя. Вокруг него водилась молодежь. Я не люблю его школу; но знаю, что он умел по-своему растить людей. Он запрещал своим ученикам писать про весну, говоря, что нет такого времени года. Вы представляете, какую гору слизи несет в себе массовое стихотворство. Гумилев организовывал стихотворцев. Он делал из плохих поэтов неплохих. У него был пафос мастерства и уверенность в себе мастера».

В «Сумасшедшем корабле» Ольги Форш, книге, рассказывающей о Доме Искусств, о Гумилеве сказано: «Под вечер один поэт, с лицом египетского письмоводителя и с узкими глазами нильского крокодила, шепелявя сказал обитателям «Сумасшедшего Корабля»: «У кого есть что-нибудь для секции детской литературы, принесите мне завтра».

Ночью его арестовали. Никто не знал, почему, но думали – конечно, пустяки». (О. Форш, «Сумасшедший корабль», Вашингтон, 1964, стр. 155).

Андрей Левинсон. ГУМИЛЕВ

Андрей Яковлевич Левинсон (1887-1933) – театральный, художественный, литературный критик, журналист и переводчик. Сотрудничал в «Аполлоне». В воспоминаниях немецкого поэта Иоганнеса фон Гюнтера, хорошо знавшего «аполлоновцев», о нем сказано: «К театральным сотрудникам принадлежал еще симпатичный Андрей Яковлевич Левинсон, несомненно, лучший знаток европейского балета. Мы с ним скоро сошлись в восторженном поклонении балерине Тамаре Карсавиной, которую мы обожали, тогда как над ее прославленной соперницей, знаменитой Анной Павловой, несправедливо и глупо подшучивали». Еще до своего сотрудничества в «Аполлоне» Левинсон издал книгу «Аксель Галлен. Суждения о характере творчества и произведениях художника» (изд. «Пропилеи», СПБ., 1908). Несколько позднее в газете «Речь» начали появляться его еженедельные (по средам) талантливые фельетоны. После революции он был приглашен в издательство «Всемирная литература» и вошел в его редакционную коллегию. Вместе с Гумилевым был ответственным за французский отдел издательства. В сохранившихся архивах «Всемирной литературы» имеются рукописи переводов, которые редактировал Левинсон. В 1920 г. бежал за границу. О его берлинском периоде, длившемся год, вспоминала известная в довоенной эмиграции журналистка А. Даманская: «Помню, как томился в Берлине А.Я. – спокойной и даже обеспеченной жизнью. – «Но ведь это не жизнь. Только сытой и покойной жизни ради не стоило уезжать из России». – Его тянуло в Париж, во Францию, в страну, литературу, искусство которой он знал и любил» (А.Даманская. «Рыцарь литературы», – «Сегодня» (Рига), № 343, 1933). Во Франции он пишет по-прежнему очень много. Его имя появляется в крупнейших французских художественных периодических изданиях. Он

печатается также во многих русских эмигрантских газетах и журналах.

Настоящая статья была напечатана в «Современных записках», № 9, 1922, стр. 309-315.

Левинсон обратил внимание на творчество Гумилева в 1909 г., и тогда же им была написана рецензия на «Романтические цветы», напечатанная в петербургском журнале «Современный мир», № 7, стр. 188-191. Но Левинсон не прав, когда он утверждает в своих воспоминаниях, что он «был, помнится, первым из русских критиков, с волнением откликнувшихся на эти его «Романтические цветы». За год до этой рецензии в другом петербургском журнале «Образование» был напечатан отзыв за подписью некоего Л.Ф. В этой рецензии отмечался «хороший художественный вкус и серьезная эстетическая воспитанность» автора «Романтических цветов». «На его стихах и на его маленьких критических заметках, – писал автор рецензии, – лежит печать явной культурности. Но и те и другие, особенно стихи, выдают не только литературную молодость, но и неопытность. Это сказывается в ненужной, запоздавшей приверженности к вычурам декадентства, к сгущению романтической атмосферы, к излишней изукрашенности». В целом же рецензия Левинсона толковей и глубже.

1. Имеются и другие свидетельства о физических пытках, которым подвергался Гумилев.

2. Об этом см. выше. Добавим также, что о «Романтических цветах» гораздо раньше написал Брюсов – в № 3 «Весов» за 1908 г. Эта рецензия в дальнейшем была перепечатана в книге Брюсова «Далекие и близкие», М., 1912.

3. Отнюдь не все стихотворения, вошедшие в первое издание «Жемчугов», можно отнести к петербургскому периоду. Некоторые из них были написаны во Франции до возвращения Гумилева в Россию в мае 1908 г., т.е. до того времени, которое Левинсон называет «петербургской порой» его деятельности.

4. Первым «исключительно стихотворным журналом» был, конечно не «Гиперборей», а «Остров». Журнал возник по инициативе Гумилева. Напечатано было только два номера. В первом номере (1909) были опубликованы стихи Гумилева, Вяч. Иванова, Кузмина, Потемкина, Волошина. «Гиперборей» начал издаваться осенью 1912 г. Кроме стихов, этот журнал имел отдел критики, в котором печатались рецензии, писавшиеся Гумилевым, Мандельштамом, Г. Ивановым, Городецким и Лозинским. Издательство «Гиперборей», о котором упоминает Левинсон, возникло при журнале. Издательство выпускало только сборники стихов: «Четки» Ахматовой, «Горницу» Г.Иванова, «Облака» Адамовича, «Камень» (2-ое издание)Мандельштама. Журнал выходил чуть более двух лет. Издательство просуществовало дольше. Последними в нем вышедшими книгами были «Четырнадцать стихотворений» М.Зенкевича, поэма «Мик» Гумилева и его же «Фарфоровый павильон». В 1916 г. рецензент «Нивы» писал о деятельности этого издательства: «оно избрало своей специальностью труды мо-

лодых и подарило нас уже многими более или менее ценными сборниками».Этот отзыв, впрочем, не был положительным. Рецензента «Нивы» не устраивал «благородный холод» и эмоциональная сдержанность, присущие стихам акмеистов. «Теплая задушевная лирика, – писал этот критик, – вообще... упразднена нашими молодыми, и может быть, именно поэтому молодости в их творениях меньше всего». Лучшая статья о поэтах «Гиперборея» принадлежит перу В.Жирмунского. Опубликованная в 1916 г. в «Русской мысли», она по сей день не утратила своего значения. Жирмунский рассматривает не журнал «Гиперборей», а лишь поэтические сборники, выпущенные одноменным издательством. В своей статье Жирмунский показал, что не случайная близость объединила поэтов «Гиперборея», но особое чувство жизни, отличавшее их от поэтов предшествующего поколения. «Наиболее явные черты этого нового чувства жизни – в отказе от мистического восприятия и в выходе из лирически погруженной в себя личности поэта-индивидуалиста в разнообразный и богатый чувственными впечатлениями внешний мир». В начале 1917 г. в газете «Русская воля» появилась рецензия Жирмунского на «Вереск» Г.Иванова. И хотя «Вереск» был издан не «Гипербореем», а «Альционой», Жирмунский в этой рецензии, которая может быть рассмотрена как продолжение статьи в «Русской мысли», уточнил некоторые свои положения об эстетике «гиперборейских» поэтов.

5. Гумилев поступил добровольцем в уланский полк. В гусарский полк он был переведен весной 1916 г.

6. Речь идет о пьесе «Отравленная туника», впервые опубликованной Г. Струве в 1952 г. в книге «Неизданный Гумилев». Однако Струве в комментариях к этой пьесе в СС, т. 3, стр. 245 ошибочно утверждает, что «первые сведения о пьесе попали в зарубежную русскую печать в 1931 г.» Как видим, задолго до этой даты об «Отравленной тунике» писал Левинсон в «Современных записках», а в 1931 г. о ней писал Г.Иванов независимо от сообщений об этой пьесе в газете «Россия и славянство», на которую ссылался Струве.

7. Об аресте Гумилева «за должностное преступление» говорит так же и Н. Оцуп в своей книге «Современники» (очерк из этой книги включен в настоящее издание). О том, что председатель петроградской «чрезвычайки» не знал, за что арестован Гумилев и сделал предположение об аресте «за какое-нибудь должностное преступление», рассказывает также и Амфитеатров (см. настоящее издание).

8. О существовании рижского издания сборника «Шатер» ничего не известно; вероятно, автор перепутал с ревельским изданием: «Шатер», второе издание, П.-Ревель, «Библиофил», 1922.

Андрей Левинсон. БЛАЖЕННЫ МЕРТВЫЕ

Напечатано в «Последних новостях» (Париж), № 464, 20 октября 1921 г., стр. 2.

О Левинсоне см. в примечаниях к его воспоминаниям «Гумилев» в на-

стоящем издании. Статья «Блаженны мертвые» дает лишь несколько штрихов по памяти из жизни Гумилева в последние годы. Однако она представляет собою несомненную историческую ценность как статья, написанная именно по поводу смерти Гумилева человеком лично его знавшим. Вместе с тем в ней встречается (причем только в этой одной статье) свидетельство о намерении Гумилева обратиться к писателям мира за поддержкой. Только из этой статьи Левинсона мы узнаем также, какою была реакция Гумилева на письмо Мережковского, предназначенное для печати, в котором из своего безопасного далека Мережковский клеймил работников «Всемирной литературы» за их сотрудничество с новыми хозяевами. Любопытное совпадение: Мережковский, причиняющий духовное страдание Гумилеву в самом начале его пути (1906) и затем – в самом конце.

Левинсон выступил также на митинге протеста против красного террора, устроенном русской общественностью в Париже 26 сентября 1921 г. В отчете об этом митинге, опубликованном 28 сентября в «Последних новостях», находим несколько строк из его выступления: «Н.С. Гумилев был прежде всего поэт. «Солнце мира, – говорил он, – это поэзия». Он свято чтил престиж и достоинство писателя и с бесстрастной дерзостью выступал в его защиту».

Петр Рысс. У ТУЧКОВА МОСТА

Печатается по № 452 «Последних новостей» (Париж), 6 октября 1921. Рысс Петр Яковлевич – журналист, печатался в «Последних новостях» и в «Иллюстрированной России». Автор книг «О людях, о вещах», Берлин, 1923 и «Портреты», Париж, 1928 (в эту книгу включены воспоминания о В. Короленко, Н. Анненском, Ф. Сологубе, А.Н. Чеботаревской, С. Юшкевиче и др.).

Осенью 1921 г. «Последние новости» печатали многочисленные материалы, относящиеся к так называемому «таганцевскому процессу». В частности, помещены были заметки о расстрелянных скульпторе Ухтомском и профессорах Тихвинском и Лазаревском. Воспоминания Рысса об импровизированном поэтическом вечере, на котором читал стихи Гумилев, появились в «Последних новостях», как один из многочисленных откликов на таганцевское дело. Самый первый отклик появился в номере от 8 сентября в двух коротких информационных сообщениях на первой странице. В информации под заголовком «Массовые аресты» сообщалось, что «в Петрограде арестовано 600 человек, из которых около 400 человек офицеры Балтийского флота. Аресты эти являются результатом раскрытия монархического заговора...» В другой заметке, озаглавленной «Расстрелы», говорится: «Стокгольм, 7 сентября. (Гавас). Вследствие сильного увеличения красного террора, в Петрограде, Киеве и Одессе царит среди населения паническое настроение. Подтверждаются сведения о массовых арестах, явившихся следствием раскрытия антисоветского заговора. Среди главных организаторов этого

заговора находился профессор Таганцев, который расстрелян одновременно с другими 60-ю руководителями, в числе которых находился князь Туманов и несколько советских чиновников».

Имени Гумилева еще не упоминается. Сообщение о его смерти поступило в редакцию лишь на другой день и было опубликовано на первой странице под заголовком «Жертвы террора». В том же номере «Последних новостей» была напечатана статья С. Познера «Памяти Н.С. Гумилева» (см. настоящее издание).

В номере от 20 сентября «Последние новости» перепечатали из «Новой русской жизни» воспоминания А.Амфитеатрова о Гумилеве (см. настоящее издание). Помимо этого печатаются его воспоминания о других жертвах красного террора. Например, вот что он пишет о Таганцеве: его «погубили какие-то большие деньги, которые он хранил и которых при первых весенних обысках в его квартире Чрезвычайка не нашла, а потом до них докопались. По первому следствию вина супругов Таганцевых была признана настолько сомнительной, что ему дали двухлетние принудительные работы, жене (уже вовсе неизвестно за что привлеченной) – один год. Но как раз перед тем престарелый отец В.Н., знаменитый юрист Н.С. Таганцев обратился к Ленину с ходатайством за сына. Ленин ответил любезною телеграммой с предписанием пересмотреть дело. Телеграмма сошлась с уже готовым было приговором и механически его остановила. Следственная канитель возобновилась... Тогда чрезвычайка, обозленная вмешательством премьера в ее самовластную компетенцию, особенно постаралась превратить В.Н.Таганцева в ужасного государственного преступника. Другие с большим скептицизмом и с большей вероятностью утверждают, что вся эта история с телеграммой – незамысловатое повторение старой комедии с расстрелянием великих князей. Как тогда М. Горький привез в Петроград письменное разрешение взять их на поруки, а покуда он ехал, Москва приказала по телефону поскорее расстрелять, так и теперь циническая телефонограмма – засудить во что бы то ни стало, обогнала и отменила лицемерную телеграмму – судить по совести».

В том же номере «Последних новостей» опубликовано четырехстрочное сообщение, добавляющее существенную подробность к фабрикации дела, по которому был обвинен и расстрелян Гумилев. Приводим полностью текст этой информации: «Гельсингфорсские газеты сообщают, что по делу о так называемом заговоре Таганцева в действительности расстреляно не 61 человек, а 350».

Корреспондент «Руля» сообщал о настроениях в Москве после расстрела Гумилева и других, шедших по делу Таганцева: «Для чего вы думаете была принесена в жертву питерская гекатомба? Вы, может быть, полагаете, что это было необходимо испорченным общим развалом жрецам коммунистического Молоха? Вовсе нет. – У нас ведь стерлась всякая разница между возможным и невозможным, а поэтому Г у м и л е в, Лазаревский, Таганцев и Тихвинский были пущены «в расход», как ци-

нично у нас это называется, только для того, чтобы напугать москвичей.

Видели, дескать, чем пахнет? Теперь это ни для кого уже не секрет, ибо ЧК так просто и говорит: «Виноваты или нет – неважно, а урок сей запомните!»

Так было сказано в полупубличном месте самим т. Менжинским. А ведь это не удалой матрос Балтфлота вроде Дыбенки, а человек, окончивший петроградский университет...»

Всеволод Рождественский. БЛОК И ГУМИЛЕВ

Название дано составителем настоящего издания. Здесь печатаются отрывки из воспоминаний Рождественского «Александр Блок (из книги «Повесть моей жизни»)», опубликованных в журнале «Звезда». № 3, 1945, стр. 107-115.

Рождественский Всеволод Александрович (10 апреля 1895 – 31 августа 1977) – поэт и переводчик. Родился в Царском Селе, учился в той же гимназии, которую окончил Гумилев. По окончании первой петербургской гимназии поступил в университет на историко-филологический факультет, студентом которого числился Гумилев. В университете Рождественский познакомился с поэтами-акмеистами и как начинающий поэт подпал под их влияние и не в малой степени под влияние Гумилева. Встречался с Гумилевым в Союзе поэтов, где одно время Рождественский был секретарем (на этой должности его сменил Г.Иванов). Непродолжительное время Рождественский был членом второго Цеха поэтов (до 1921 г.). Два его сборника, напечатанных в 1921 г. («Лето» и «Золотое веретено»), обнаруживают связь с акмеизмом. Не иначе как под влиянием Гумилева начал переводить Готье. Книжка «Избранных стихотворений» Готье в переводе Рождественского вышла вскоре после смерти Гумилева. В своих воспоминаниях о Блоке, напечатанных в 1945 г., он еще говорит о Гумилеве. В позднейших воспоминаниях, вошедших в книгу «Страницы жизни» (1962), он избегает самого имени Гумилева. Здесь можно привести лишь одну краткую цитату из этой книги – именно из той ее части, где рассказывается о Доме Искусств: «Рыжий павлин» (Валериан Чудовский, критик, печатавшийся в «Аполлоне» – В.К.) в своем эстетическом неприятии действительности почти всегда оказывался одиноким. Тщетно пытался он искать сочувствия у своих прежних соратников по «Аполлону». Даже суховато-корректный и всегда вежливый с собеседниками Гумилев иронически приподнимал брови и торопился миновать опасную зону спора» (ук. соч., стр. 195).

1. Возможно, речь идет о сборнике «Костер», который Гумилев подарил Блоку со следующей надписью: «Дорогому Александру Александровичу Блоку в знак уважения и давней любви Н.Гумилев. 14 декабря 1918 г.». Известна также и другая дарственная надпись Гуми-

лева, относящаяся к этому же периоду: «Дорогому Александру Александровичу Блоку последнему лирику первый эпос. Искренно его Н.Гумилев. 21 марта 1919». (Надпись на книге «Гильгамеш». Перевод Н.С.Гумилева. СПб., Изд. З.И. Гржебина, 1919. – См. Гумилевские чтения, Вена, 1984). Судя по тому, что в ответ Блок подарил Гумилеву «Седое утро», описываемый обмен книгами с дарственными надписями не мог иметь места ранее 23 октября 1919 г., когда «Седое утро» вышло в свет.

2. Например,в дневнике Блока от 16 января 1920 г. читаем: «Продолжаются споры о «Жизни Будды» Ольденбурга и Гумилева. Затем от 20 января: «Гумилев читал свои сценарии. «Щекотливое» заседание «Всемирной литературы». 3 марта: «Заседание у Гржебина (с Горьким; критика Ал.Толстого гумилевского)» – т.е. подготовленных Гумилевым к печати и с его предисловием избранных произведений А.К.Толстого. 20 апреля: «Редактирование «Атта Троль» Гейне (перевод Гумилева». 30 мая: «Окончена редакция Атта Троль». 5 июня: «Германия» Коломийцева до конца XII главы (все, что он дал пока). Насколько это ближе к Гейне, чем Гумилев»! «Далее о разногласиях, имевших место в Союзе поэтов, – 28 сентября: «Гумилев и другие фрондируют против Павлович и Шкапской». Последний раз в дневнике 1920 г. имя Гумилева встречается в краткой записи от 14 декабря: «Заседание на Моховой и «Картины» – «Актеон» Гумилева».

В. И. Немирович-Данченко.
РЫЦАРЬ НА ЧАС (ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГУМИЛЕВЕ)

Василий Иванович Немирович-Данченко (1844 или 1845-1936) – один из двух самых плодовитых русских писателей, по словам Блока. (Второй, по его же словам, – Ясинский). Очерк «Рыцарь на час» был опубликован в журнале «Воля России» № 8/9, 1924, стр. 249-256.

Сборник «К синей звезде» с подзаголовком «Неизданные стихи 1918 г.» вышел посмертно – в 1923 г. в Берлине. О «затерянной могиле убитого поэта» можно найти очень краткий комментарий во «Второй книге» Надежды Мандельштам: «Они говорили о Гумилеве, и она (Ахматова – В.К.) рассказывала, будто нашли место, где его похоронили (вернее бы сказать – закопали)».

Рассказывал мне о приключениях в Абиссинии. Многие мемуаристы говорят об устных рассказах Гумилева о его поездках в Африку. Например, дочь Вяч. Иванова пишет о посещениях Гумилевым «башни»: «Среди разговоров за столом были такие, которые увлекали одинаково и меня и моего отца. Это были рассказы Гумилева об Африке, которые он чередовал чтением своих стихов» (Л.Иванова. «Воспоминания о Вячеславе Иванове». – «Новый журнал», № 147, 1982).

Горький на Моховой устроил колос-

сальное предприятие. Речь идет об издательстве «Всемирная литература», которое с пропагандистской целью объявило о своих планах издать в ближайшее время 800 томов классиков и в дополнение 2000 книжек серии народной библиотеки. Разумеется, эти циклопические планы не были выполнены и на одну десятую. Гумилев вошел в редколлегию «Всемирной литературы» по рекомендации Блока. Он заведовал вместе с А. Левинсоном французской секцией, а также состоял членом поэтической комиссии. Под его руководством и им лично было подготовлено значительное количество переводов. Издательство оказалось во многом мертворожденным предприятием: оно прекратилось в 1924 г. Важнейшим его достижением было то, что оно поддерживало материально петроградских писателей в годы разрухи.

«Жемчужной раковины». Здесь Немирович-Данченко не точен. Речь должна бы идти о кружке «Звучащая раковина». Действительно в разных городах России под влиянием гумилевского Цеха поэтов образовалось несколько провинциальных «цехов». О тифлисском цехе существуют воспоминания Г. Эристова, напечатанные в «Современнике» (Канада) № 5, 1962. Этот «цех» бвл организован Городецким. В 1918 г. цех выпустил альманах «Акмэ». «Запомнилось два исключительных события, – пишет Г. Эристов, – приезд Осипа Мандельштама и получение экземпляра «Огненного столпа» Гумилева». Деятельность Тифлисского цеха поэтов прекратилась в 1921 г.

Как-то говорю о них К. И. Чуковскому. О дате знакомства Гумилева с Чуковским неизвестно. Вероятно, об обстоятельствах этого знакомства имеются записи в дневнике Чуковского, но дневник этот до сих пор полностью не опубликован. Первое упоминание Гумилева в опубликованных выдержках из дневника относится к 5 марта 1919 г. Но существует много подтверждений, что эти два писателя познакомились раньше. Дочь Чуковского – Лидия Корнеевна в своих «Записках об Анне Ахматовой» упоминает, что видела Гумилева и Ахматову в детстве, когда они приезжали к ее отцу. Знакомство Гумилева с Немировичем-Данченко при посредстве Чуковского произошло либо во второй половине 1918 г., либо в первой половине 1919 г.

Я был несколько раз у Гумилева, кажется на Ивановской. Квартира на Ивановской принадлежала покинувшему Петербург С.Маковскому.

Об этом писали и Амфитеатров и Волковысский. Мемуары Амфитеатрова включены в настоящее издание. Волковысский Николай Моисеевич (1881-?) – журналист, литератор. Об участии Волковысского вместе с Оцупом, академиком Ольденбургом и Волынским в делегации писателей, к председателю чека Бакаеву с попыткой спасти Гумилева рассказал Оцуп в парижских «Последних новостях» и позднее о том же он упоминает в своем предисловии к вышедшей под его редакцией книге: Н. Гумилев, «Избранное», Париж, 1959.

Эпиграфом к своим «Жемчугам». Этот эпи-

граф к разделу «Жемчуг черный» взят из поэмы де Виньи «Самсонов гнев».

И снова властвует Багдад. Строфа из стихотворения «Ослепительное», вошедшего в сборник «Чужое небо». Третью строку Немирович-Данченко цитирует неточно. У Гумилева: «Вступает с демонами в ссору». Подстрочное примечание Немировича о том, что эти стихи «написаны в прошедшем времени», не подтверждается ни публикацией в «Чужом небе», ни предшествующей публикацией в альманахе «Мусагет».

С. Познер. ПАМЯТИ Н.С. ГУМИЛЕВА

Печатается по тексту в газете «Последние новости» (Париж) № 429, 9 сентября 1921. Это самый ранний известный нам мемуарного характера отклик на смерть Гумилева. Следующим по времени (опять же из числа нам известных) следует считать отклик А.Амфитеатрова (см. настоящее издание); затем, говоря о хронологическом порядке, следует статья Андрея Левинсона «Блаженны мертвые» и очерк Алексея Толстого – оба представлены в настоящем издании.

Познер Соломон Владимирович (1880-1946) – автор воспоминаний «Дела и дни в Петрограде. Воспоминания и размышления, 1917-1921 г.», Берлин, 1923. (Эта информация о нем заимствована из книги Людмилы А.Фостер «Библиография русской зарубежной литературы. 1918-1968», т. 2).

1. О Доме Литераторов было написано немало. Приведем, однако, некоторые дополнительные сведения из малоизвестного источника. «Дом Литераторов: приют-убежище для голодных, зимой ночлежка для замерзающих. Люди, приходящие в «Дом» кормиться, производят тяжелое впечатление: жадные, грязные, опустившиеся внешне, с потухшими глазами. Для публики, для внешнего декорума «Дом» устраивает лекции, чествует юбиляров, оплакивает покойников, устраивает торжественные годовщины, Пушкинские дни, вечера Достоевского, – словом, держит раскрытой золотую книгу русской литературы». («В стране смерти» – письмо из России, опубликованное в «Последних новостях», № 458, 15 ноября 1921 г., стр. 2). Об авторе этого письма говорится в примечании от редакции: «Одним из членов нашей редакции получено письмо из Москвы от известного литератора... Печатаем выдержки из этого письма, по понятным причинам опустив ряд фамилий, в письме упоминающихся»).

Александр Амфитеатров. Н.С.ГУМИЛЕВ

Этот очерк вошел в книгу Амфитеатрова «Горестные заметы», Берлин, изд. «Грани», 1922, стр. 37-43. Глава о Гумилеве написана была в сентябре 1921 г. В сокращенном виде печаталась также в газете «Последние новости» (Париж) осенью 1921 г.

Амфитеатров Александр Валентинович (1862-1938) – писатель и журналист, автор многих книг. Когда состоялось его знакомство с Гумилевым – нам не известно. Амфитеатров жил в Париже и издавал там журнал «Красное знамя» как раз в то время, когда Гумилев по окончании гимназии поселился в Париже. Вряд ли что-нибудь могло объединить двух писателей. Амфитеатров был на 24 года старше. Гумилев был правых убеждений, в то время как Амфитеатров издавал радикальный журнал, в котором Бальмонт печатал свои «Песни мстителя». Между прочим, А.Биск, воспоминания которого приводятся в настоящем издании, напечатал в «Красном знамени» свои революционные «Песни юродивого», – публикация, из-за которой он до 1910 г. не мог вернуться в Россию. Сверх того, эстетические взгляды Амфитеатрова и Гумилева представляются диаметральной противоположностью. Однако Амфитеатров в это время был членом правления кассы взаимопомощи русских литераторов за границей. Возможно, на этом поприще ему приходилось встречать в Париже стесненного в финансовом отношении юного поэта. Однако о парижских встречах с Гумилевым в этой книге Амфитеатрова ничего не сказано. Книга была отпечатана в середине или во второй половине 1922 г.

1. Петроградский Союз поэтов был основан в 1920 г. по инициативе из Москвы. С этой целью от московского Союза поэтов, организованного ранее, была послана в Петроград поэтесса Надежда Павлович. Первое организационное заседание состоялось в «Вольной философской академии» (Вольфила) 27 июня 1920 г. Общее собрание поэтов Петрограда состоялось 4 июля. Председателем Союза поэтов был Блок, секретарем Вс. Рождественский. Но вскоре начались и в сентябре обострились разногласия между Блоком и Гумилевым. 5 октября Блок сложил с себя обязанности председателя, Гумилев входит в правление Союза поэтов, а позднее становится председателем.

2. Ср. со словами Оцупа в его предисловии к «Избранному» Гумилева: «Он был арестован неожиданно даже для своей жены. Скрывал от друзей, учеников. почитателей свое участие в заговоре Таганцева».

3. «Депутация» состояла из Н. Оцупа, Н. Волковысского, А. Волынского и С. Ольденбурга.

Георгий Адамович. ПАМЯТИ ГУМИЛЕВА

Напечатано в «Иллюстрированной России», № 34, 1929 под рубрикой «Литературная неделя». Это была постоянная рубрика в журнале, в котором Адамович интенсивно сотрудничал. Ранее под аналогичной рубрикой – «Литературные беседы» – он часто печатал аналогичные несколько болтливые фельетоны в парижском «Звене». В тридцатые годы под общим заголовком «Литературные заметки» Адамович опубликовал ряд подобных же статей в «Последних новостях».

Краткие или попросту миниатюрные воспоминания о Гумилеве разбросаны по разным литературным «заметкам» и «беседам» Адамовича.

Например, в заметке о Есенине, напечатанной в «Последних новостях», №№ 5390, 1935 Адамович вспоминает, что однажды во время чтения Есениным своих стихов Гумилев громко и демонстративно заговорил с кем-то из сидевших рядом, чтобы показать свое пренебрежение к поэзии Есенина. В «Иллюстрированной России» через два года был напечатан Адамовичем еще один небольшой очерк о Гумилеве (13 июня 1931).

Гумилев писал об Адамовиче, насколько это известно в настоящее время, только однажды. Это была небольшая рецензия на первую книгу Адамовича «Облака», вышедшую в январе 1916 г. (возможно, в декабре 1915 г. в издательстве «Гиперборей»). Рецензия появилась в «Аполлоне», № 1 за 1916 г. За нею следовал отзыв Гумилева на «Вереск» Георгия Иванова. Последний не мог не читать этой рецензии, помещенной в журнале, в котором сам Г. Иванов был постоянным сотрудником. Но по очевидным причинам Г. Иванов не включил это гумилевское «Письмо о русской поэзии» в напечатанную посмертно книгу его статей. Эта книга под редакцией Г. Иванова вышла в свет в Петрограде в 1923 г. Рецензии на «Облака» Адамовича в ней нет. В своей заметке Гумилев писал, что автор «Облаков» является поэтом «во многом неустановившимся». Его стихи бледны, «типично юношеские», подражательные. В них слышны «перепевы строчек Ахматовой», а в одном стихотворении настолько виден Анненский, что Адамовичу, чтобы спасти это стихотворение, пришлось взять к нему эпиграф из «Баллады» Анненского. Вместе с тем Гумилев отметил лирическое дарование начинающего поэта, «хорошую школу и проверенный вкус». В этой заметке Гумилев оказался настолько проницательным критиком, что с большой точностью предсказал направление развития Адамовича: «иногда проглядывает своеобразие мышления, которое может вырасти в особый стиль и даже мировоззрение».

Адамович встречался с Гумилевым, когда тот вернулся весной 1918 г. в Петроград после годичного пребывания за границей. Затем в начале 1919 г. Адамович уехал в Новоржев, где и оставался до весны 1921 г. С этой весны встречи с Гумилевым возобновились. Адамович вступает во вновь организованный Гумилевым Цех поэтов, участвует в альманахах Цеха, а также работает в издательстве «Всемирная литература». Для этого издательства совместно с Гумилевым и Г. Ивановым Адамович подготовил перевод «Орлеанской девственницы» Вольтера. Книга вышла в свет в 1924 г. Впрочем, по сообщению И.Одоевцевой («На берегах Сены») основная часть перевода была сделана Г.Ивановым.

«Колчан», о котором говорит Адамович в этой заметке, вышел в 1916 г. О нем появилось большое количество отзывов: Иннокентия Оксенова в «Новом журнале для всех», Б.Эйхенбаума в «Русской мысли», М.Тумповской в «Аполлоне», Е.Зноско-Боровского в литературных приложениях к «Ниве» и др. Известность Гумилева после публикации «Колчана» чрезвычайно возросла, но это еще не была истинная популярность, о чем и пишет Адамович в конце своей заметки. Второе изда-

ние «Колчана» вышло не в Петрограде, а в Берлине (изд. Гржебина, 1922). Второе петроградское издание, о котором пишет Адамович, очевидно, было остановлено, когда книга уже была готова к печати.

1. На Гороховой (теперь улица Дзержинского) в здании, которое ранее занимало петербургское градоначальство, в это время находился центр Петрочека. В том же здании на верхних этажах была тюрьма, в которой, в частности, провел короткое время Блок. На Шпалерной – другая чекистская тюрьма.

2. О просьбе Гумилева прислать ему в тюрьму Гомера и Евангелие рассказывают также Н.Оцуп и Г.Иванов. По словам Г.Иванова (в «Петербургских зимах», 2-ое изд., стр. 211) одна записка Гумилева из тюрьмы была передана его жене. Письмо это до сих пор не опубликовано, местонахождение его не известно.

3. Г.Иванов, который лично знал Гумилева дольше и лучше, чем Адамович, пишет о Гумилеве, как о поэте, к концу жизни «становившемся знаменитым». О «знаменитости» Гумилева говорит и К.Чуковский в дневниковой записи от 5 марта 1919 г. «Вчера у меня было, – пишет Чуковский, – небывалое собрание знаменитых писателей». И рядом с Горьким, Куприным, Мережковским, Блоком К.Чуковский называет имя Гумилева. (см. «Литературное наследство», т. 92, кн. 2, стр. 245).

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГИ ТОГО ЖЕ АВТОРА

Восьмигранник. Стихи. Изд. «Эффект», 1986
Зеленое окно. Стихи. Изд. «Эффект», 1987
Петербургский период Георгия Иванова. Изда. »Эрмитаж», 1989
О русском стихе. Antiquary, 1988
Прапамять. Антология русских стихотворений. О реинкарнации. Antiquary, 1988
Гумилев (Библиография). Antiquary, 1988
Георгий Иванов. Несобранное. Под ред. и с комментариями Вадима Крейда. Antiquary, 1987
Георгий Иванов. Третий Рим.
Под редакцией, с предисловиями и комментариями Вадима Крейда
Антология русской духовной лирики. Изд. SGA, 1989



КОРОЛЬ УМЕР... ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ! ТАК ИССТАРИ ПРОВОЗГЛАШАЛОСЬ. И МЫ ПОВТОРИМ: «СТРЕЛЕЦ» УМЕР... ДА ЗДРАВСТВУЕТ «СТРЕЛЕЦ»! НА СМЕНУ ЕЖЕМЕСЯЧНИКУ «СТРЕЛЕЦ», КОТОРЫЙ ИЗДАТЕЛЬСТВО НЕ МОЖЕТ БОЛЬШЕ ВЫПУСКАТЬ ПО ФИНАНСОВЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ, ПРИХОДИТ АЛЬМАНАХ «СТРЕЛЕЦ», ОБЪЕМОМ В 320 СТРАНИЦ. В НОВОМ ИЗДАНИИ СОХРАНЯТСЯ ВСЕ РУБРИКИ ПРЕЖНЕГО «СТРЕЛЬЦА».